

Мария Андреевна Бекетова

**Шахматово. Семейная  
хроника**



# Мария Андреевна Бекетова

## Шахматово. Семейная хроника

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3021715](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3021715)

### Аннотация

«Шахматово сыграло большую роль в истории и развития творчества Блока. И, конечно, не одно только Шахматово, а весь уклад той семьи, которая проводила в нем лето многие годы подряд. На месте уютной шахматовской усадьбы теперь зеленая заросль, нет ни дома, ни служб, ни того флигеля, где жил когда-то Блок-ребенок, а позднее юный поэт со своей женой. Куртины розового шиповника на широком дворе слились с кустами алых прованских роз, окружавших флигель, – сад, примыкавший к дому, заглох, и старые липы уже начинают рубить. Многих из обитателей и посетителей бывшего поместья Бекетовых уже нет на свете. Сама я не была там с 1917 года, но знаю о постепенном его разорении от моих племянников Кублицких, которые время от времени посещают Шахматово и сообщают мне все новости об этом уголке, столь любимом когда-то Блоком...»

# Содержание

Предисловие	5
Вступление	7
Глава I	8
Глава II	24
Глава III	48
Глава IV	86
Глава V	103
Глава VI	119
Сад	125
Глава VII	137
Колодезь	140
Соседи	142
Орешник	144
Прогоулки за пределами Шахматова	149
Глава VIII	152
Глава IX	164
Глава X	193
Глава XI	213
Гудино	213
Шепляково	223
Ананьевна и Романыч	225
Осинки и Тараканово	230
Глава XII	237

Глава XIII	248
Леля Мазурова	268
Глава XIV	274
Глава XV	284
Глава XVI	291
Глава XVII	303
Глава XVIII	323

# Мария Андреевна Бекетова

## Шахматово.

### Семейная хроника

#### Предисловие

Шахматово сыграло большую роль в истории и развития творчества Блока. И, конечно, не одно только Шахматово, а весь уклад той семьи, которая проводила в нем лето многие годы подряд. На месте уютной шахматовской усадьбы теперь зеленая заросль, нет ни дома, ни служб, ни того флигеля, где жил когда-то Блок-ребенок, а позднее юный поэт со своей женой. Куртины розового шиповника на широком дворе слились с кустами алых прованских роз, окружавших флигель, – сад, примыкавший к дому, заглох, и старые липы уже начинают рубить. Многих из обитателей и посетителей бывшего поместья Бекетовых уже нет на свете. Сама я не была там с 1917 года, но знаю о постепенном его разорении от моих племянников Кублицких, которые время от времени посещают Шахматово и сообщают мне все новости об этом уголке, столь любимом когда-то Блоком.

Теперь уже Шахматово с его прошлым становится легендой. Вот это-то прошлое и хочу я восстановить во всей его

жизненной правде, отразив окружение Блока, которое способствовало развитию его таланта. Я начну свой рассказ с той поры, когда Шахматово стало достоянием семьи Бекетовых, за пять лет до появления на свет будущего поэта.

# Вступление

Шахматово куплено моим отцом А. Н. Бекетовым в 1875 году<sup>1</sup>. То было время назревающего балканского вопроса. Русские добровольцы стремились на Балканы за генералом Черняевым. Достоевский был занят «Дневником писателя» и тоже балканским вопросом, Толстой печатал в «Русском Вестнике» «Анну Каренину». Тургенев царствовал в «Вестнике Европы». «Отечественные записки» с жадностью читались либералами и народниками. Главным образом поглощались щедринские очерки, с упоением расшифровывался знаменитый эзоповский язык, повторялись словечки... Тургенева многие предпочитали даже Толстому и Достоевскому. То было время передвижных выставок и направленства во всех искусствах, не исключая и музыки.

---

<sup>1</sup> Шахматово было куплено осенью 1874 г., а лето 1875 г. – первый сезон, проведенный Бекетовыми в имении (см.: Станислав Лесневский. Путь, открытый взорам. М., с. 29–30).

# Глава I

## Сестры Бекетовы

*В те дни под петербургским небом  
Живет дворянская семья...*

*(А. Блок. «Возмездие»)*

Состав семьи Бекетовых, дух которой великолепно схвачен в «Возмездии», фактически рознился от того, что представлено в поэме. «В семье не чопорно росли» не три, а четыре дочки. Четырех трудно бы было втиснуть в ямбы. Старшая – Катя (Екатерина Андреевна), будущая писательница, умерла, когда поэту было 11 лет, от нее остался у него в памяти бледный облик, не попавший в поэму. Вторая – Соня (Софья Андреевна) попала в старшие сестры, третья – Ася или Аля (будущая мать поэта, Александра Андреевна) превратилась в меньшую, а четвертая – Маня или Маля (Мария Андреевна), автор этой книги, оказалась старше предыдущей Аси.

Последнее, т. е. перестановка двух младших сестер, имело полное основание, так как и в детские, и в молодые годы я часто играла роль старшей сестры для Аси. Я была солиднее, выдержаннее, серьезнее, а она сорванец и всеобщий баловень. Характеристики трех сестёр в общем очень верны,



но вот как было на самом деле.

Четыре сестры Бекетовых составляли две неразлучные пары. В первой были Катя и Соня, во второй Ася и Маня. Каждая пара являла собой два разных типа, связанных дружбой. Катя и Ася были живые, кокетливые, откровенные девушки с ярко выраженной индивидуальностью и склонностью к деспотизму или, по меньшей мере, к преобладанию. Обе, не стесняясь, говорили о своих увлечениях и неудержимо стремились к завоеванию жизни. Ася, с более сильным темпераментом, была непосредственнее, добрее и ласковее Кати. Мы с Соней были менее горячи, менее яркие, но более постоянны, глубоки и скромны. Романтичны были все четыре. Я соприкасалась с Катей своей любознательностью и склонностью к точному знанию. Нам с ней обоим было «всегда не лень учиться». Ася и Соня учиться не любили и способностями уступали нам с Катей. Всех заметнее и способнее была старшая сестра, у которой была блестящая память. Все давалось ей чрезвычайно легко, но не оставляло глубоких следов на ее мирозерцании и вкусах. Кроме того, она быстро охладевала к своим занятиям. У нее были изрядные способности к рисованию, она несколько раз принималась брать уроки живописи, но вскоре бросала их и, овладев рисунком, остановилась на плохой акварели. К языкам она была тоже очень способна, из нее вышла хорошая переводчица, менее яркая, но более точная и литературная, чем наша мать, так как у матери был настоящий талант, а у нее только известная

даровитость.

Следующая по способностям была я. Я вообще хорошо училась, но брала не памятью, а сметкой и рвением. У меня была сильная склонность к математике и к музыке, но мои способности к языкам были гораздо слабее. Все мы отличались даром слова и любовью к литературе и были сильны в русском языке.

Сестра Соня была вообще довольно ленива, но ей легко давались языки. Она хорошо говорила по-французски и по-английски, причем отличалась необыкновенно изящным выговором.

Катя знала также немецкий, итальянский и даже испанский языки. Ася училась очень неровно, к языкам была не более способна, чем я, что не помешало ей в будущем сделаться хорошей переводчицей, но она знала только французский язык, а я переводила с французского, немецкого и польского. Самая блестящая из нас была Катя, а самая оригинальная Ася.

По наружности сестры Бекетовы тоже представляли два типа. Соня и Ася были очень женственны, с волнистыми линиями тела и округленными лицами. Мы с Катей худые, с угловатыми фигурами. Катя была совсем не женственна, но, что называется, интересная. У нее был нежный цвет лица, живые и переменчивые глаза с темными бровями и длинными ресницами, довольно тонкий профиль и пышные пепельные волосы, которые она разнообразно и красиво при-

чесывала. Соня была белокурая, розовая, очень свежая и миловидная девушка небольшого роста. Талия в рюмочку, английские локоны и мечтательный вид – такова она на портрете невестой за двадцать лет. Асю я уже описывала не раз.

Одни находили, что всех красивее Катя, другие предпочитали Асю, но Ася была, несомненно, привлекательнее Кати и больше нравилась мужчинам. Соня была очень миловидна и привлекала своей целомудренной тихой женственностью. Единственная несомненная дурнушка была я, хотя очевидцы уверяют, что я была не так дурна, как казалась себе самой. Прибавлю однако, что я никогда не завидовала сестрам, всегда восхищалась их наружностью и гордилась их победами. Зато Катя и Ася вечно соперничали между собой по части успехов. Катя, что называется, затирала младших сестер, не давая им ходу. Мы с Соней не предъявляли никаких протестов – отчасти по миролюбию, отчасти по скромности и из гордости, но Ася была не из тех, кто способен был уступить в том случае, если хотели ее затушевать и отодвинуть на задний план. Она не отбивала чужих поклонников, но за свое право веселиться и нравиться очень держалась и порядочно воевала с Катей. Положение Кати в семье было особое. Ее сильно отличали от других дочерей родители, особенно отец. Ей внушено было, что она существо высшего порядка: и умнее, и красивее, и крупнее сестер. Он прямо говорил нам, что по сравнению с ней мы «мелко плаваем». Отец наш нежно любил и баловал нас всех, но его пристрастие к Кате

было уже выше всякой меры. Это портило наши отношения с ней, а главное – сильно вредило ей самой, т. к. дурно влияло на ее характер и манеру себя держать и выставляло ее в невыгодном свете. Все это со временем сгладилось, но в молодые годы было очень остро.

В заключение скажу о том, где и как учились сестры Бекетовы. Сестра Катя получила почти целиком домашнее воспитание. Ей нанимали учителей истории, географии, математики и т. д. . . . Русскому языку она училась больше по книгам, а французскому – у матери, остальным научилась впоследствии собственными силами: немецкому – во время заграничной поездки, уже за двадцать лет, без всяких уроков; итальянскому и испанскому – при помощи грамматики и словаря, а читала в подлиннике «Божественную комедию» Данте и испанских классиков; систематически училась она только английскому языку, для чего, уже взрослой, брала уроки у англичанки. Сестра Соня училась французскому языку у матери и в гимназии, английскому – только в гимназии, а говорила на обоих языках лучше Кати, которая тоже на них говорила. Мы с Асей, гораздо менее способные к языкам, плохо говорили по-французски, учась сначала у матери, а потом в гимназии. Ася дальше французского языка не пошла, а я, учась только в гимназии, читаю и совсем плохо говорю по-немецки, могу читать с грехом пополам английские книги и самые легкие итальянские. Еще выучилась польскому языку – свободно читаю и плохо говорю. Все сестры, кроме Кати,

учились в гимназиях – Соня в частной, мы с Асей в частной и в казенной. Можно смело сказать, что отец своим непомерным баловством всячески мешал нам учиться. При малейшем дожде он отговаривал нас идти в гимназию и совершенно не признавал авторитета учителей. Когда мы рассказывали, что кто-нибудь из них сделал нам замечание или в чем-нибудь нас не одобрил, он тут же объявлял, что они дураки и ничего не понимают. Мать же, напротив, всегда поддерживала авторитет учителей и гимназического начальства и требовала от нас исполнения долга – насколько это было возможно при столь баловливым отце.

В конце шестидесятых годов открылась в Петербурге первая частная женская гимназия Спешневой. Она помещалась в скромном деревянном домике с небольшим садом в 4-ой линии Васильевского Острова, откуда перешла вскоре в довольно роскошное помещение во второй линии близ Большого проспекта. Содержательница гимназии (урожденная Черепанова) была женщина просвещенная и не глупая, но слишком самолюбивая и властная. В гимназии была большая программа, близкая к размерам программ мужских гимназий, особенно напирала на математику, физику и химию. В старших классах ввели даже для желающих классические языки, которые могли быть полезны для поступающих на открывшиеся в то время Высшие женские курсы. Французский, немецкий и английский языки преподавали иностранки. Учителей нанимали с большим разбором, впрочем все-

таки не всегда удачно. В приготовительном классе было введено наглядное обучение и другие приемы немецких педагогов, о чем я скажу подробнее ниже. Между прочим, преподавалось чистописание, и введена была гимнастика, причем некоторые движения мы проделывали под собственное пение примитивных мотивов, с банальными словами вроде следующих: «Утро проснулось, солнце взошло. Все встрепенулось и все ожило». Танцы не преподавались, но уроки пения давал известный в то время Горянский, плохие песни которого мы часто исполняли в классе, но взрослые ученицы, близкие к выпуску, пели такие сложные вещи, как хоры из «Stabat Mater» Россини. Были введены и специальные уроки картонажного и переплетного мастерства, из-за которых нас держали до 5-ти часов вечера. Я, между прочим, очень любила эти уроки, тем более, что преподаватель был очень симпатичный.

В гимназии были всевозможные пособия вроде чучел птиц и зверей, которые приносились на уроки зоологии. Классы были обставлены уютно, не на казенный лад: у маленьких были парты, а в средних и старших классах длинные столы, покрытые зеленым сукном, за которыми сидели ученицы, которых, особенно вначале, было немного. Рисованию обучали, конечно, тоже. Во время большой рекреации девочек младших классов выпускали в сад, введены были вначале, конечно, за плату, сытные завтраки с горячим молоком и мясными блюдами.

Сестры Соня и Ася поступили в гимназию лет 9-ти и 11-ти. Я так приставала к матери, скучая без сестер, особенно без Аси, что и меня отдали в гимназию в возрасте семи лет, когда старшие гимназистки принимали меня по росту за пятилетнюю и ласкали, как маленькую. Я была довольно бойка и порядочная попрыгунья, читала совсем свободно и осмысленно, умела писать и считать, а, главное, была гораздо развитее своих подруг. Помню, как какой-то педант, учитель с немецкой фамилией, заставлял нас точно формулировать, где стоит, например, данный стул. На этот вопрос в требуемой форме могла ответить одна только я. Класс повторял за учителем и за мной раз 10 одно и то же, что было невыносимо скучно и вряд ли полезно. Учитель русского языка, поживее того, заставлял нас описывать что мы видим на картине, где изображено было в красках – на верхнем плане поле и пахущий крестьянин, на нижнем – ржаное поле со жнищами. Мы должны были повторять 20 раз кряду в одних и тех же выражениях эти нехитрые описания в самом сухом, буквальном изложении. Я от души возненавидела все эти картины и упражнение, явно заимствованное из немецкой педагогики, а позднее связала с ними пошловатое стихотворение Майкова:

Пахнет сеном над лугами.  
Песней душу веселя,  
Бабы с граблями рядами  
Ходят, сено шевеля.

Стихи эти я невзлюбила тем более, что учитель заставлял нас произносить их, нарушая ритм, т. е. останавливаясь с ударением после слова «ходят».

Марья Петровна Спешнева была женщина еще молодая и обаятельная. Все гимназистки ее обожали и смертельно боялись. Таково было ее моральное воздействие без применения каких бы то ни было наказаний. Помню, как я, девочка далеко не робкая и в то время довольно самоуверенная, от смущения не могла петь в ее присутствии, когда меня вызвал Горянский, сказав предварительно Марье Петровне, как я хорошо пою для своих лет (мне было в то время лет восемь, и я отличалась особенно верным слухом). Обязанности инспектрисы исполняла приятельница Марии Петровны, розовощекая старая девица с локонами, очень добрая, но глупая и педантка Мария Дмитриевна. В гимназии был очень строгий режим. Требовалось не только прилежание и хорошее поведение, но и строгость в костюме. Ученицы носили форму: коричневое платье с черным передником, но если девочка надевала, например, брошку, Мария Дмитриевна делала ей выговор в мягкой, но скучной форме, вроде следующего: «Ты хочешь показать, что у тебя есть брошка, Ляля? Аня Иванова, пойдй сюда». Аня подходила. «Скажи, Аня, у тебя дома есть брошка?» – «Есть, Мария Дмитриевна». «Вот видишь, Ляля, у Ани тоже есть брошка, а вот она ее не надела. Никогда не носи в гимназии брошку, сними ее». Таким пу-



тем преследовалось тщеславие.

К числу особенностей этой гимназии относилось такое, например, правило: девочки должны слушаться не родителей, а гимназическое начальство. Однажды у сестры Сони заболело горло. Опасного ничего не было, мать отпустила ее в гимназию, завязав ей горло белым полотняным платком. Увидав Соню, Мария Дмитриевна немедленно начала допрос: «Почему у тебя завязано горло, Соня?» – «У меня болит горло, Мария Дмитриевна». – «Сними сейчас же платок». – «Мне мама велела его носить». – «Это все равно. В гимназии ты должна слушаться меня, а не маму. Если я говорю, чтобы сняла платок, ты должна его снять». При этом Мария Дмитриевна выговаривала не «гимназия», а «гимназдия», а голос у нее был как из бочки. Ее не боялись, но не любили.

Кстати, о педагогических упражнениях Марии Дмитриевны я могу сообщить, что сестра Катя тоже пробыла в гимназии Спешневой около года в одном из старших классов. Она училась, конечно, прекрасно, благодаря своим блестящим способностям, но у нее произошел неприятный инцидент с Марией Дмитриевной, которая ее, далеко не плаксу и очень гордую девочку, довела до слез, отчитывая за то, что она пришла в гимназию в черном платье с красными бантами. Дома она не привыкла к выговорам, а Мария Дмитриевна порядком ее распушила. После этого случая Катя уже не вернулась в гимназию.

Не этот ли эпизод с красными бантами послужил Блоку, вероятно, слыхавшему о нем от матери, прототипом к той красной косоплетке, о которой говорится на страницах «Возмездия» при обрисовке характера младшей сестры:

...Велит ей нрав живой и страстный  
Дразнить в гимназии подруг  
*И косоплеткой ярко-красной*  
Вводить начальницу в испуг...

Однажды в гимназии Спешневой произошел случай, очень характерный для нравов начальницы и ее отношения к ученицам. Пригласили новую учительницу французского языка, мадмуазель Б. Я хорошо ее помню: брюнетка средних лет с желчным и злым лицом. Она оказалась очень неприятной, так что девочки ее невзлюбили. Само собой разумеется, что они рассказывали дома про эту учительницу, жалуясь на ее несправедливости и резкий характер. Через несколько месяцев после ее поступления в «Петербургском листке» появилась статейка на ее счет. Кажется, даже была названа ее фамилия и гимназия, в которой она преподавала. Газетка попала в руки Марии Петровны. В тот же день она созвала после классов всю гимназию. Ученицы почувствовали, что готовится что-то необычайное, и сразу пришли в нервное состояние. Среди гробового молчания Мария Петровна, бледная и взволнованная, спросила значительным тоном: «Дети, кто из вас рассказывал дома про m-lle Б?» Разумеется, та-

ких было много, но все до того боялись Марии Петровны, а обстановка была столь торжественная, что гимназистки молчали, и одна только я, со свойственной мне преувеличенной добросовестностью, решилась признаться в том, что явно считалось предосудительным. Я выступила вперед из рядов прочих девочек и пропищала: «Я рассказывала, Мария Петровна». Мне было в то время лет 8, а на вид не больше шести, но неумолимая начальница не только не похвалила меня за честность, но, наоборот, наказала своим презрением, объявив, что она не подаст мне руки (!). Я была в отчаянии от этого проявления ее гнева и по дороге домой горько плакала. Но эпизодом со мной еще не кончилась эта сцена, которую устроила Мария Петровна. Она подошла к одной из старших девочек и сказала патетическим тоном, показав на нее пальцем: «Я знаю, кто больше всех рассказывал дома про m-lle Б. Это вы, Мейнгардт». Эффект был поразительный. Румяная и обычно спокойная девушка с милым лицом и двумя прекрасными косами упала в истерику, после чего во многих углах послышался плач и рыдание. Мария Петровна объяснила всю чудовищность поведения Мейнгардт. Что было дальше, не помню. Должно быть, нас с Асей поскорей увела домой рассудительная Соня, которая вообще опекала нас, как старшая сестра. Хорошо помню, как в дождливую погоду она брала нас с Асей с двух сторон под руку, а сама держала над всеми тремя большой дождевой зонтик.

Помимо многих недостатков Спешневской гимназии ее

можно все-таки помянуть добром. Там много, и по большей части хорошо, учили. Общий недостаток был тот, что многие учителя слишком много задавали уроков, чем сильно утомляли учениц. Лучше всего преподавалась почему-то математика во всех ее областях. Особенно хороши были учитель геометрии Страннолюбский и учительница арифметики Таганцева, сестра известного юриста и профессора, в руки которой перешла впоследствии гимназия Спешневой, которую она вела в том же строгом духе, но без истерических сцен. Из иностранок самая талантливая была уже старая, но все еще красивая m-lle Дюбю, а всего милее англичанки, которые все, как на подбор, были хорошенькие. Особенно две из них напоминали ангелов со старинных картин: высокие, белокурые, стройные, с прелестными, бледными лицами и тонкими чертами. Хуже всего преподавалась география. Помню двух учителей. Один из них – литвин или белорус Махвич-Мацкевич – был очень живой, но мало сведущий и, кроме того, замучил нас, заставляя заучивать наизусть цифры, обозначающие точки, где скрещивались меридианы и параллели главных пунктов той ломаной линии, которая обозначала очертания материков. Другой учитель, Обломков, был крайне сух и преподавал свой предмет с чисто внешней стороны, вследствие чего география казалась мне невыносимо скучной.

В четвертом классе у меня начались такие головные боли, что меня взяли из гимназии Спешневой, прихватив за

компанию уж и Асю, и обоих нас отдали в соответствующий класс Василеостровской казенной гимназии, помещавшейся в IX-ой линии, где нам сначала почти нечего было делать. Единственный предмет, к которому пришлось серьезно готовиться, был Закон Божий, т. е. собственно катехизис, до которого мы еще не дошли у Спешневой. Сестра Соня, дойдя до последнего класса гимназии Спешневой, ушла оттуда, не кончив экзаменов; Асю взяли из последнего класса казенной гимназии по нездоровью: у нее оказался, как следствие скарлатины, бывшей в раннем детстве, порок сердца, который в то время был еще в зачаточном состоянии, так что она отлично могла бы кончить курс в легкой гимназии и, вероятно, не так рано бы вышла замуж и была бы счастливее и здоровее, а, впрочем – тогда не было бы, пожалуй, и всего последующего, т. е. Ал. Блока и его стихов...

Веселая и шаловливая Ася, конечно, не противилась воле родителей и охотно покинула гимназию. Таким образом, вышло, что курс в гимназии кончила только я, невзирая на головные боли, которые продолжались, и это было только потому, что мне так хотелось и нравилось.

Казенная гимназия оказалась полной противоположностью частной; программа была бесконечно меньше: после арифметики проходили только начатки геометрии и алгебры, естественные науки преподавались в минимальном размере и т. д. Вместо гимнастики, разумеется, были танцы, которым учил балетмейстер. Хороших учителей, т. е. талантли-

вых, было мало, лучшим из них был В. Диковский, который преподавал историю и русский язык, причем иногда прекрасно читал нам вслух кого-нибудь из классиков и заставлял нас читать, например, отрывки из пушкинской «Полтавы», распределяя по ролям диалог Марии и ее матери, пришедшей к дочери перед казнью Кочубея.

Начальница была представительная дама с изящным французским языком. Она была умная и тактичная женщина и не донимала нас принципами и строгостями. Девочки одевались, как хотели – не без бантиков и брошек, при встречах с начальством и учителями должны были делать глубокие реверансы по всем правилам танцевального искусства. В этой специальности особенно преуспевала Ася, которая была очень грациозна. Перед началом и концом классов мы пели молитву, чего не было в частной гимназии. Раз в год бывали ученические концерты с пением и декламацией. Вообще в этой гимназии жилось легко, не то, что <у> Спешневой, но все же гимназическая учеба смертельно мне надоела. Так что я была очень рада, когда распростилась с гимназией. Я была бы очень не прочь поступить на Бестужевские курсы, но родители меня туда не пустили по слабости моего здоровья, которое действительно было сильно расстроено. Вместо того я усиленно занялась чтением, а главное – музыкой. К сожалению, я вскоре бросила уроки рисования, которые брала в школе Общества поощрения художеств. Я сделала это главным образом потому, что мне трудно было ходить

пешком из ректорского дома на Б. Морскую, где помещалась школа, а денег на извозчиков у меня не было. А между тем способности к рисованию у меня были: из меня бы не вышла настоящая художница, но живопись, хотя бы акварельная, принесла бы мне очень много радостей. Но я углубилась в музыку, то есть стала брать уроки игры на фортепьяно, что принесло небольшие результаты, но еще больше расстроило мое здоровье. На Бестужевские курсы поступила Катя, предварительно выдержав в специальной комиссии, как и Соня, экзамен на домашнюю учительницу. Начав с блеском, Катя, по обыкновению, бросила это дело, на полдороге и ушла с курсов. А уж мечтала вместе с отцом о будущем профессорстве и о том, как она появится на кафедре в черном шелковом платье. Причиной ухода сестры моей с курсов на этот раз было нечто, не от нас зависящее: ее злостно травила некая курсистка, которая имела виды на одного из молодых профессоров, читавших на курсах. Он был очень близок у нас в доме, и она думала без всякого основания, что он Катин поклонник и будущий жених, и потому подстраивала сестре моей такие каверзы, которые действительно трудно было переносить. Из всего сказанного видно, сколько слаб был к своим дочерям мой отец, так ревностно насаждавший высшее женское образование.

# Глава II

## Отец

Родители мои были люди выдающихся и разнообразных дарований, а характерами своими создавали тот светлый, радостный тон, которым окрашена была наша деревенская жизнь. В 1875 году, с которого начинается моя летопись, отцу нашему было 50 лет. Он был очень крепкий и здоровый человек, почти не знавший болезней. В молодости он был некрасив, но в зрелом возрасте его наружность приобрела привлекательность и приятность. Его находили даже красивым. Такую счастливую перемену нередко замечала я в людях, перешедших юношеские тревоги, но только в том случае, если они вели умеренный образ жизни и не знали ни бурь, ни разрушительных страстей, к одной из которых я причисляю болезненное самолюбие, так как, по моему наблюдению, большие эгоисты и большие самолюбцы никогда не хорошеют к старости. Мой отец не страдал ни излишним эгоизмом, ни болезненным самолюбием. Темперамент у него был сильный, но без всякой склонности к патологии, и при этом большие семейные склонности. В 50 лет он сохранил прекрасную мужественную фигуру, держался прямо, был неутомимый ходок. Его привлекательность происходила главным образом от выражения лица – открытого, доб-



рого и вообще симпатичного. Хорош у него был только умный, спокойный лоб и пышные седины. Он поседел очень рано, и его густейшие курчавые волосы, а также мужественные длинные усы и борода, несомненно, скрадывали недостаток черт и овала лица. Живая речь и быстрые движения делали облик его молодым, несмотря на раннюю седину; откровенный, непосредственный и пылкий характер придавал ему что-то детское. Он был веселый, нежный отец, всегда готовый не только потакать всем шалостям своих детей, но даже сам иногда в них участвовать. Очень вспыльчивый, но чрезвычайно добрый, он способен был накричать на своих домашних или на собеседника, после чего часто каялся и просил прощения совершенно по-детски. Терпимость была не из его добродетелей, хотя вообще добродетелей у него было много. Об его общественных заслугах я скажу ниже. Что касается дарований отца, то они были разнообразны. Он был талантливый ученый, в своей второстепенной науке – ботанике (систематика растений) сделал довольно много, но успел бы еще гораздо больше, если бы не отвлекала его широкая общественная деятельность и многообразные семейные обязанности. Книги его написаны хорошим литературным языком, описание растений метко и образно. Его лекции чрезвычайно охотно посещались. Слушателей у него всегда было много. Не обладая красноречием, он привлекал широтой научных взглядов и обобщений. Особенно любили и ценили студенты его общий курс и вступительные лек-

ции. Подробности он иллюстрировал на доске бойкими талантливыми рисунками, очень точно и художественно изображавшими части цветка или же все растение. К живописи у него было настоящее дарование. Он рисовал только акварелью, но его рисунки с натуры и наизусть карандашом и пером поражают смелостью и настоящей художественной правдой. Рисунки растений, предназначенные для его курса ботаники, удивительно тонки, изящны и точно воспроизводят натуру. В несколько минут он мог нарисовать все, что угодно: человеческую фигуру, животных, деревья, здания – все выходило у него характерно и живо. Надо заметить, что он учился рисовать только в гимназии, другими словами, совсем не учился. У меня сохранились кое-какие его рисунки. Остались после него и литературные опыты, к сожалению – все обрывки. Есть целые главы романа из времен его детства и юности, некоторые сцены несомненно талантливы. Стихов он почти не писал, если не считать тех шуточных виршей, которые он иногда сочинял для нашей потехи. Прибавлю еще, что он был не узкий специалист: он живо интересовался историей, которую хорошо знал, увлекался политикой, был далеко не чужд литературе и любил изобразительные искусства. К числу приятных легких талантов можно отнести его большую способность к языкам (он знал французский и итальянский языки) и умение живо и весело рассказать любой эпизод из действительной жизни. Вообще он был обаятельный человек. Одной из причин этого обаяния бы-

ла полная бесхитростность и детская доверчивость. Иногда он бывал резок и раздражителен, но груб никогда. Будучи истым баринoм и белорукой, выращенный в богатом помещичьем доме и в крепостном быту, он называл горничных «сударыня» и никогда не бранился. К женщинам относился с величайшей симпатией и высоко их ставил. «Мужчины любят самоотвергаться с треском, – говаривал он, – а женщины делают это незаметно». Недаром так ратовал он за высшее женское образование. Но я уверена, что курсовые комитетские дамы – красавица А. П. Философова, обаятельнейшая В. П. Тарновская и очень некрасивая, но аристократическая Н. В. Стасова<sup>2</sup> и другие дамы – любили его не только за горячую и энергичную поддержку в их деле, но также и за его барственную и приятную наружность и милую старинную любезность изящным французским языком и почти-тельными комплиментами, вроде следующих. Как-то летом в Шахматове одна из подруг моих сестер сказала: «Вот удивительно: ко мне на щеку села бабочка!» – «Сударыня, она приняла вас за розу», – сказал отец.

Те приятные таланты отца, о которых я говорила, часто служили к тому, чтобы забавлять собственных детей. Я помню, как в детстве, когда мне было лет 5 или 6, а остальным приблизительно 7, 9 и 11, отец рассказывал нам сказку соб-

---

<sup>2</sup> Надежда Васильевна Стасова (1822–1895) – участница женского движения, одна из организаторов воскресных школ и высшего женского образования в России; Варвара Павловна Тарковская (1844–1913) – активная деятельница женского движения. Обе были членами совета Высших женских курсов.

ственного сочинения. В ней не было ни фабулы, ни завязки. Это были различные эпизоды, которые сочинялись много дней сряду и не имели между собой никакой связи, но касались одного и того же лица. Сказка называлась «Принц Балдахон». У принца, конечно, был замок и множество слуг. То он ездил на охоту (один эпизод), то на него напали разбойники (другой эпизод), то <он> задавал пир и т. д. . . .

Помню все это очень смутно. Все эти рассказы отец тут же иллюстрировал карандашом; есть рисунок, сделанный красной краской. У меня сохранился портрет принца Балдахона в широкополой шляпе с пером, с орлиным носом, курчавыми волосами, густой бородой и с усами, лицо мужественное и энергичное. На том же месте внизу голова негритенка. Это, конечно, один из слуг Балдахона. Помню рисунок охоты: Балдахон, едущий верхом по дороге со свитой. Это было едва намечено, но очень выразительно. Эпизод с разбойниками очень приняла к сердцу моя чувствительная сестра Соня (ей было тогда 9 лет), она даже плакала. Конечно, все кончилось полным благополучием, так что она скоро успокоилась. Кажется, у Балдахона была невеста Клотильда. Стиль не всегда соблюдался. Так, например, на маслянице вместо флага висел у Балдахона на башне замка гигантский блин. Красной краской была нарисована цапля среди болота и убитая дичь.

Во время рассказывания сказки отец лежал обыкновенно на диване, но для рисования, конечно, вставал и садился к

столу. По временам рассказывалась еще одна сказка: «Мальчик Захарчик и девочка Спиридошечка». Все дело было в том, что они жили в лесу в избушке, а при ней был огород, где росли: капуста, морковь, огурцы и т. д., или: у них был сад. Там росла малина, земляника, клубника и т. д... Не было даже никаких событий, но мы очень любили эту сказку.

Что касается домашних стихов, то тут отец придерживался какого-то особого стиля – не то архаического, не то уж не знаю какого. По большей части он разражался одностишием или двустышием вроде следующего: «Вот сер камень здесь лежит, кло которого мы были».

Но раз в жизни он написал шуточное стихотворение в 12 строк, которое было в письме, написанном мне из курорта Киссинген, где он пил воды, живя один и страшно скучая. Это было летом 1874 года, за год до нашего въезда в Шахматово. Мать наша была тогда в Содене (еще один немецкий курорт) с сестрой Катей, которую доктора послали туда лечиться от плеврита. Скажу мимоходом, что родители мои не признавали русских курортов, и, чуть что, везли детей или сами ехали за границу. Сестра Катя, конечно, отлично могла бы поправиться от обыкновенного плеврита просто в деревне у одной из тетушек, а уж в крайнем случае в Крыму, но ее повезли в Соден. Три остальные сестры проводили лето в Финляндии под присмотром очень популярной в семье «тети Сони», старшей сестры нашей матери. Мы занимали верхний этаж дачи, в которой жил приятель отца, ботаник

Воронин, со своими двумя дочерьми. Мне было в то время 12 лет, Асе 14, Соне 16. Но вернемся к письму отца из Киссингена. В начале его выражается одно из типичных для отца опасений: он боялся, как бы я не вывалилась из экипажа во время поездок на купанье, о которых я ему писала. «Ты можешь упасть в канаву и ушибиться, – писал он, – это мне представляется, когда я дольше обыкновенного не получаю от вас писем, как, например, теперь.

Здесь же давно стоит свежая и даже холодная погода, дождь, как, например, теперь, идет беспрестанно. Эта новая скука прибавляется к прежней, а потому я сочинил следующее стихотворение:

Смертна скука в Киссингене,  
Давит мя уже давно.  
Но болят мои колени,  
Что нимало не умно.  
Пью слабительную воду,  
Без нее бы обойтись,  
Но теперь вошло уж в моду,  
Чтоб в Германию все брысь.  
Во Германии же мерзко,  
Немец всюду там торчит.  
А кому же неизвестна  
Скука, коей он разит.  
и т. д., и т. д.»

Отношение к немцам у моего отца было отрицательное,

хотя он признавал великие заслуги их писателей, философов и ученых. То ли дело французы! Этих он любил страстно, а к Парижу питал особую нежность.

Деды дремлют и лелеют  
Сны французских баррикад.  
Мы внимаем ветхим дедам,  
Будто статуям из ниш:  
Сладко вспомнить за обедом  
Старый пламенный Париж.

*(Ал. Блок, т.1 стихов.*

*«Светлый сон, ты не обманешь»)*

На этот раз судьба сжалилась над отцом: из скучного немецкого курорта он попал в Биарриц, где в один сезон вылечил в океане свой ревматизм. А, впрочем, ему невесело было и во французском Биаррице. «Я буду просить, чтобы меня на море не посылали», – пишет он в приведенном письме. Доктора он, однако, послушался и таки поехал на морские купанья, что действительно было ему очень нужно, так как ревматизм донимал его не на шутку, а он не привык болеть. Это единственная болезнь, которую я помню у отца до 67-летнего возраста. К обрисовке отца как семьянина и человека я прибавлю, что в нем не было ни малейшей светскости; его любезность, радушие и привлекательность были совершенно естественны: он не способен был притворяться и лицемерить: если ему было приятно с гостем, он был очень

мил, но если ему было с ним скучно, он откровенно сердился или просто уходил от него при малейшей возможности. Вообще все его добрые качества происходили только от хорошей природы. Все, сказанное об отце, делало его любимцем и в семье, и в обществе. Очень любили его также студенты и молодые ученые, ученики его. Сам он чрезвычайно любил молодежь и в особенности детей.

Затем я должна сказать хоть вкратце об его общественной деятельности. Без этого портрет его был бы не полон, так как общественность была у него в крови. Он никогда не ограничивал свою деятельность узким кругом известных обязанностей, но всегда расширял ее, превращая всякое частное дело в общественное. Будучи профессором ботаники, он проявил энергичную организаторскую способность и совершенно преобразовал устарелые способы преподавания своего предмета. До него при университете не было никаких пособий по ботанике, и потому практические занятия сводились к нулю. Его стараниями, благодаря исключительно его инициативе и энергичным хлопотам и заботам, создан при Петербургском университете ботанический уголок, сыгравший огромную роль в деле преподавания и распространения ботанических знаний. Отец добился того, что тогдашний кадетский корпус безвозмездно уступил университету большой участок земли, находившийся за стенами учебного плаца. На этом участке разведен был ботанический сад и построен трехэтажный дом, который стоял на высоком месте



как раз посредине участка. К дому примыкали три небольшие оранжереи, где были, между прочим, прекрасные пальмы и древовидные папоротники. По одну сторону ботанического дома был разбит обыкновенный сад с искусственным прудом, аллеями и цветниками; большая часть другой стороны была занята ботаническим садом, разделенным на квадраты с образчиками всевозможных растений, по которым студенты учились систематике. В этой стороне у стены, примыкавшей к университетскому двору, оставалось довольно большое пустое пространство, где росло несколько гигантских деревьев. Это были осокори екатерининских времен, со стволами во много обхватов шириной и могучими ветками, затенявшими весь участок.

Эти великолепные деревья погибли лет 15 спустя после устройства ботанического уголка. Их корни засыпали известкой и щебнем во время постройки химического дворца, белое здание которого возвышается вдоль стены перпендикулярно той, у которой стояли осокори. Весь сад расположен против университетской галереи, по ту сторону двора.

В ботаническом доме были кабинеты профессоров, аудитории студентов, квартиры ученого садовника и лаборанта. Дом был снабжен всевозможными пособиями, в числе которых был гербарий, составленный из среднеазиатских коллекций тестя отца – Карелина, и несколько сот больших ботанических таблиц, художественно исполненных акварелью.

Помню, как в детстве моем разбирали в профессорской

квартире отца дедовский гербарий, причем мать моя делала своим четким, красивым почерком латинские надписи на полосках бумаги и наклеивала их на листы гербария. Ботанические таблицы рисовала у нас на квартире и на даче в Шувалове талантливая художница-самоучка Е. П. Ипатова. Эта оригинальная и симпатичная девушка была другом нашей семьи. Она очень любила моих родителей. С отцом она была в товарищеских отношениях, называла его «Бей среброгривый» и высоко ценила как ученого и человека. К матери нашей она относилась с восхищением и нежностью, была с ней на ты и звала ее Лизочкой. Екатерина Петровна была весела, простодушна и отличалась мужским складом характера. Большая физическая сила и звучный контральт тенорового тембра дополняли это впечатление. Она была гораздо больше мужчина, чем женщина, и мужчина очень хороший – с открытой, честной душой, великодушный и смелый. У нее был хороший голос и прекрасный слух, и я особенно любила слушать ее безыскусственное, но музыкальное пение.

Увлечшись описанием этого своеобразного существа, я отвлеклась от темы. Дело шло о ботанических таблицах. Екатерина Петровна срисовывала на большие листы ватманской бумаги наколотые кнопками на доску типичные растения какого-нибудь рода или вида, а также все его составные части в сильно увеличенном виде, а я с восторгом следила за ее работой. Кроме этих пособий, студенты пользовались также микроскопами и набором тонких инструментов для препа-

рирования растений. В то время столь тщательно обставленных ботанических аудиторий не было не только в русских, но и в зарубежных университетах. Сколько же нужно было энергии для того, чтоб добиться таких результатов у нас в России!

Создав целую школу ботаников-систематиков и ботаников-географов, отец с увлечением отдался идее поднятия общего уровня научных знаний в России. При его горячем содействии возникли Съезды естествоиспытателей и Общества естествоиспытателей при русских университетах. Первый Съезд естествоиспытателей и врачей был открыт в стенах Петербургского университета 1867 году. Андрей Николаевич был одним из делопроизводителей Съезда и председателем распорядительного комитета. Хлопот было много. Приходилось заботиться о помещении для иногородних гостей, и о программе Съезда, и об организации экскурсий для осмотра научных коллекций, лабораторий, заводов и прочего. Вслед за этим последовала работа в Обществе естествоиспытателей. Андрей Николаевич председательствовал в Ботаническом отделе, редактировал труды Общества, многие годы состоял президентом Общества естествоиспытателей – и все это со свойственной ему страстью и добросовестностью. Заседания Ботанической секции происходили обыкновенно в Красном доме Университетского ботанического сада. Помню, как весело собирались туда мой отец и один из друзей нашего дома, ботаник М. С. Воронин, известный в то вре-

мя богач, владелец Воронинских бань, но скромнейший человек, более всего заинтересованный своими научными исследованиями, составившими ему европейское имя. В этом уютном Красном доме, который отец называл по-итальянски Casa rossa, он занимался наукой и читал лекции, проводя там по несколько часов в день.

Я не могу слишком долго останавливаться на общественной деятельности отца. Она столь разнообразна и обширна, что для подробного описания ее понадобилась бы целая книга.

Приходится ограничиться краткими заметками.

Глубокий интерес Андрея Николаевича к народному образованию выразился в его деятельности в Вольно-экономическом обществе и состоящем при нем Комитете грамотности. Андрей Николаевич написал известную популярную брошюру «Беседы о земле и тварях на ней живущих», за которую получил Киселевскую золотую медаль<sup>3</sup>. Работал он также как публицист, печатая в газетах статьи о значении естествознания для общего образования и развития, защищал Университетский устав 63 года, написал большую статью о положении студентов и необходимости для них корпоративных организаций.

Великую горячность проявил Андрей Николаевич в деле насаждения высшего образования женщин. Далеко не все,

---

<sup>3</sup> В библиотеке Блока было издание этой книги: А. Н. Бекетов. Беседы о земле и тварях, на ней живущих. 7-е изд. СПб., 1898 (*Библиотека*, вып. 1, с. 27).

вероятно, помнят, что на первом Съезде естествоиспытателей и врачей была подана Евгенией Ивановной Конради записка, в которой она отстаивала право женщин на высшее образование<sup>4</sup>. Андрей Николаевич внес эту записку в Комитет съезда и прочел ее на общем собрании. На следующий год 400 женщин подали записку на имя ректора Петербургского университета, прося допустить их в университет в свободное от занятий время. Тогда коллегия профессоров организовала целую комиссию для обсуждения этого вопроса под председательством Андрея Николаевича. Его сочувствие этому делу разделяло большинство профессоров Петербургского университета. Просьба женщин была принята. Во всех дальнейших шагах, предпринятых по этому делу, Андрей Николаевич был, так сказать, застрельщиком. По его ходатайству министр народного просвещения граф Д. А. Толстой разрешил организовать популярные научные курсы для женщин, предоставив для этого нижний этаж собственной квартиры. Сначала допущены были публичные лекции для лиц обоего пола.

Во главе этого скромного учреждения стоял Андрей Николаевич. Открытие курсов состоялось в начале 1870 года, а в 1876 году было разрешено Александром II открыть Высшие женские курсы во всех университетских городах Рос-

---

<sup>4</sup> *Конради Е. И.* (1838–1898) – известная либеральная общественная деятельница. Ее записка получила в то время широкий отклик. См.: Е. Г. Бартенева. Евгения Ивановна Конради (Из воспоминаний старой знакомой) – «Женское дело», 1899, № 1.

сии. Через два года курсы были открыты в помещении Александровской женской гимназии. В течение 10 лет Андрей Николаевич состоял председателем педагогического совета Бестужевских курсов, привлекая к преподаванию лучших профессоров университета. Он же был избран председателем комитета по доставлению средств высшим женским курсам. Нечего и говорить, что он сам был в числе профессоров, читавших на курсах. Он же выхлопатывал субсидии у министра и городской Думы, ходатайствовал о расширении трехгодичного курса до размеров четырехгодичного и т. д. Словом, везде и во всем, касающемся этого начинания, он приложил свою руку и сыграл первенствующую роль. Высшие женские курсы в Петербурге по всей справедливости нужно было бы назвать Бекетовскими, но во главе их был поставлен по воле министра талантливый историк К. Н. Бестужев-Рюмин, более отвечавший тогдашним понятиям правительства о благонамеренности; отец мой считался человеком опасным и беспокойным: он беспрестанно тревожил власти по тому или иному делу учащейся молодежи. Хорошо и то, что его терпели, а иногда и слушались. И то сказать: трудно было устоять перед его неутомимой настойчивостью и горячностью. А впрочем, не последнюю роль играло тут, вероятно, и личное его обаяние, которому поддавались такие люди, как министр Д. А. Толстой, попечитель князь Волконский<sup>5</sup> и другие консервативные деятели того времени.

---

<sup>5</sup> *Дмитрий Андреевич Толстой* (1823–1889) – министр народного просвещения

Во времена своего ректорства (1876-83 гг.) отец ревностно опекал студентов от козней полиции. Горячие головы, говоруны, ораторствовавшие на сходках, карманы которых вечно были набиты прокламациями «Народной Воли», беспрестанно попадали в Дом предварительного заключения. В таких случаях отец надевал виц-мундир с заранее пришпиленной звездой и отправлялся к градоначальнику с неотступной просьбой отдать студента к нему на поруки. За шесть лет его службы на посту ректора сменилось их несколько: Гурко, Зуров и Трепов<sup>6</sup>. Студентов по большей части отпускали на свободу по просьбе ректора. Смешной случай произошел при Трепове. Отец рассказывал, что во время его градоначальства в течение одного года несколько раз сажали в знаменитую предварилку студента Штанге, бедняка и неисправимого шумилку, совершенно, в сущности, безобидного. Не знаю уж в который раз отпуская этого Штанге на поруки, Трепов воскликнул так громко, что отец все слышал, дожидаясь в приемной: «Опять ректор Бекетов!» Выслушав ходатайство Андрея Николаевича, он послал за студентом и, когда его привели, повернул его лицом к

---

в 1866–1880 гг.; *Михаил Сергеевич Волконский* (1832–1909) – попечитель Петербургского учебного округа; *Константин Николаевич Бестужев-Рюмин* (1829–1897) – историк, академик. Об истории Высших женских курсов см.: Высшие женские (Бестужевские) курсы. Библиографический указатель. М., 1966.

<sup>6</sup> Иосиф Владимирович *Гурко* (1828–1901), Александр Елпидифорович *Зуров* (1837-?), Федор Федорович *Трепов* (1812–1889) – градоначальники в 1876–1883 гг.

ректору и закричал с раздражением: «Вот он! Вот он! Целуйтесь с Вашим Штанге!» Но забавнее всего было то, что когда Штанге ехал на извозчике домой в сопровождении ректора, он был очень огорчен и пенял ему: «Андрей Николаевич, зачем Вы меня взяли? Там публика-то была какая хорошая!»

Был еще один студент несколько другого типа, из состоятельных, но такой же любитель сходов и прокламаций, как Штанге. Этого звали Бонч-Осмоловский. И его не раз выручал отец. Он благополучно кончил курс и уехал на родину. И вот однажды отец получает с почты ценную посылку: что-то тяжелое и объемистое, зашитое в рогожу. С недоумением распаковали мы эту вещь, и что же? Оказалось, что это дедушка Бонч-Осмоловского посылает из какого-то среднеазиатского города большой текинский ковер в благодарность за попечение ректора о его внуке. Ковер этот много лет украшал кабинет отца в различных квартирах. Но верхом искусства отца по части его забот об обиженных правительством студентах был тот случай, когда он добился того, что некий студент 4-го курса, посаженный в крепость, был допущен, по его ходатайству, к выпускным экзаменам. Студента привозили всякий раз из крепости в сопровождении двух жандармов, и он выдержал таким образом все экзамены, кончив курс кандидатом.

К тому времени, как отец сделался ректором (1876 год), он приобрел уже большое влияние среди товарищей – профессоров и студентов, а, кроме того, – что имело особую



важность в то время – был уже в чинах и имел несколько орденов, в том числе Владимирскую Звезду, которую он обыкновенно надевал на виц-мундир, отправляясь по делу в чиновный мир. Мундир парадный он надевал очень редко, в самых торжественных случаях. Этот куцый и узкий мундир с белыми штанами не шел к его мужественной фигуре, длинным и пышным волосам и большой бороде. Все это было очень хорошо, когда он был в сюртуке, в пиджаке и даже во фраке, так как у отца была очень красивая фигура и характерная голова, выделявшаяся в толпе. «Schoner Kopf»<sup>7</sup>, – сказал какой-то немецкий ученый, глядя на портрет отца с пышными сединами, оттененными темным фоном.

Лекции отец читал в сюртуке или пиджаке, как большинство тогдашних профессоров. В то время и студенты не имели еще формы, которая так обезличила их впоследствии и создала известный тип белоподкладочника. В 1876 году, когда отца выбрали ректором на первое 3-летие, ему был 51 год, но он был уже совершенно седой. Сделавшись ректором, отец имел чин по крайней мере действительного статского советника. Он не придавал никакого значения орденам и чинам и нисколько не важничал, но считал, что то и другое полезно для его деятельности. «Я теперь важное рыло», – говорил он про себя. В то время он бывал в Зимнем Дворце на придворных балах, а, кроме того, получил приглашение преподавать ботанику сыновьям Александра II Сергею

---

<sup>7</sup> Красивая голова (нем.).

и Павлу. Ботаника была, разумеется, самая легкая, но, конечно, нисколько не интересовала великих князей, которые занимались главным образом военными делами, лошадьми и, вероятно, танцовщицами. Но молодые люди охотно разговаривали с Андреем Николаевичем Бекетовым, который не упускал случая вернуть в разговор анекдот о царе Николае Павловиче, не рекомендуящий его с хорошей стороны. Один из этих анекдотов касался посещения Николаем Павловичем того пансиона дворянских детей, преобразованного впоследствии в первую гимназию, где учился отец. Войдя в подъезд, царь был встречен учителем французского языка, старым и глухим человеком, который разговаривал при помощи рожка. Француз подошел к царю и, не слыша, разумеется, что он сказал, наставил свой рожок, причем Николай Павлович громко прокричал ему в ухо: «Aux arrest!»<sup>8</sup> «За что же?» – спросили удивленные и еще не искушенные жизнью великие князья. Отец, разумеется, ничего не ответил и только неопределенно пожал плечами. Не помню, сколько отец получал за эти уроки. Кажется, рублей десять за час, но два раза он получил к своим именинам (30 октября стар, стиля) роскошные подарки: массивный серебряный сервиз с его инициалами и большую золотую табакерку с крупными бриллиантами и буквой N, инкрустированной на синей эмали. Сервиз сначала употреблялся, а потом часто закладывался. Табакерка, конечно, не употреблялась, но тоже была не

---

<sup>8</sup> Под арест! (фр.)

раз заложена. Эти вещи, конечно, давно уже не существуют в нашей семье: что пропало в закладе, что в сейфе во время революции<sup>9</sup>.

Итак, отец был важной персоной. Свое влияние, как ректор университета, он использовал главным образом в интересах студентов. Он был чрезвычайно любим и уважаем не только своими учениками, но и студентами других факультетов. Главным образом для сближения с ними устроил он наши еженедельные субботние вечера. В обхождении со студентами он был прост и сердечен. Во время субботних вечеров он вел в своем большом и уютном кабинете длинные горячие беседы со студентами на различные темы.

У отца было много приятелей среди самых завязанных говорунов и любителей сходов. Их выступления, а также карманы, набитые прокламациями, давали обильную пищу для шпиков, проникавших и в самый университет. Боясь и за них, и за любимое детище, университет, отец уговаривал студентов не рисковать собою и не давать полиции поводов к арестам и к закрытию университета. Репутация студентов, как известно, была в то время очень плохая. Их считали беспоконным и вредным народом. Правительство держало их в черном теле, считая университет рассадником либеральных идей; военные, правоведы и лицеисты их презирали, высшие круги их недолюбливали. Отцовские проповеди благоразу-

---

<sup>9</sup> Имеется в виду национализация ценностей, в том числе и принадлежащих частным лицам, хранившихся в банках.

мья были очень горячи, не раз удавалось ему уговорить наиболее ярких сходочников воздержаться хотя бы на время от сходов. Убежденные его доводами, студенты давали ему слово вести себя смирно и беспрестанно попадались на удочку провокаций полиции, которая, желая выслужиться к Новому году, неизменно пускала в ход различные средства, нарочно раздражая студентов какими-нибудь заведомо взрывчатыми способами, вроде незаслуженного ареста, избияения студентов и тому подобное. Когда по какому-нибудь поводу весь университет приходил в волнение и по окончании лекции студенты неудержимо стремились в самую большую XII-ую аудиторию, начиналась немедленно сходка. Ораторы один за другим всходили на кафедру, произнося возмущенные речи, требуя протеста и проч. Речи по большей части были совершенно невинные, но по тогдашнему времени считались революционными. Узнав о сходке, отец являлся в аудиторию, наполненную до тесноты взволнованной молодежью. Он всходил на кафедру и уговаривал студентов разойтись, приводя самые убедительные доводы. Помню, как отец, наскоро захватив с собой кусок булки, торопливо ушел из дому, узнав о сходке, и пробыл на ней часа три. Не помню, удалось ли ему в этот раз успокоить студентов (иногда это ему удавалось), но он пришел домой страшно усталый и охрипший от крика. По поводу сходов он часто рассказывал нам за поздним обедом разные комические подробности: вот будущий профессор Введенский, известный впоследствии сво-

ими прекрасными лекциями по философии в университете и на Высших женских курсах<sup>10</sup>. Как большинство семинаристов, он был то, что называлось тогда «красный», или «радикал». Еще до начала сходки отец видел его сидящим в вестибюле на вешалке в красной рубашке, что-то восклицавшим в полном азарте. Какой-то восточный человек, стоя на месте, повторял монотонным голосом: «Прова человека, человека прова». А один из друзей нашего дома, давший слово не выступать на сходках, сказал отцу: «Андрей Николаевич, я только скажу товарищам несколько слов», – и, взойдя на кафедру, разразился горячей, длинной речью.

Таковы были отношения отца со студентами. Его любили также и товарищи профессора. Я не скажу, чтобы е него были среди них близкие друзья, но отношения с большинством были очень хорошие. Профессора не только поддерживали его начинания, но были и лично к нему расположены, так как в трудных случаях жизни он всегда приходил к ним на помощь. Нужно ли было выхлопотать какое-нибудь экстренное пособие в случае тяжелой болезни или взять на поруки попавшего в дом предварительного заключения профессора, – отец всегда добивался нужного результата своим настойчивым и горячим представтельством перед властями. Он шел и дальше: заботился об университетских чиновниках и сторожах, выхлопатывал им награды и пособия. Не было

---

<sup>10</sup> Александр Иванович *Введенский* (1856–1925) – философ, профессор Высших женских курсов и Петербургского университета.

той прачки в университете, которая не была бы обязана ему какой-нибудь особой льготой. Я не говорю уже о его пленительно милым обхождении, которое пленяло всех, кто имел с ним дело. До сих пор еще помнят его оставшиеся в живых сторожа его времени. Один из них, узнав, что я жива, послал мне поклон через одну из моих родственниц, которая случайно с ним встретилась. Все, кто помнят моего отца, поминуют его только добром и говорят о нем с чувством особого уважения и симпатии. Большинство студентов любило и уважало отца за его смелость, доброту и горячее отношение к их интересам. Ведь он был не только всегда доступный и доброжелательный ректор, но также и инициатор многих полезных начинаний, касавшихся студентов. Он выхлопотал им многие льготы по части корпоративного начала, устроил дешевую студенческую столовую и библиотеку. Нечего говорить, что он часто ссужал их деньгами – по большей части без отдачи. Не довольствуясь всеми этими конкретными действиями, отец выступал в качестве защитника студенчества и в печати на страницах газеты «Голос», считавшейся в то время очень либеральной. Он же написал обширную статью о положении студентов. В ней есть интересные сведения об их быте. Между прочим, отец доказывал в этой статье, что причастность русских студентов к польскому мятежу – совершенный миф, созданный реакционерами во главе с Катковым<sup>11</sup>. Все это вместе создало ему большую популяр-

---

<sup>11</sup> Михаил Никифорович *Катков* (1818–1887) – публицист, редактор реакци-

ность среди студентов. Помню, как на одной из суббот, кажется, в день его именин или рождения, студенты кричали: «Да здравствует отец студентов Андрей Николаевич!» Кто-то в толпе прибавил: «И мать их – Елизавета Григорьевна!» – что встретило также всеобщий восторг. На одном из ежегодных студенческих балов, даваемых в актовом зале, присутствовали и мы, сестры Бекетовы. Помню, как появление отца вызвало всеобщее волнение. Студенты сторонились, давая ему дорогу и повторяя «Ректор!», «Ректор!» А немного погодя его подхватили на руки и начали качать. Этот безобразный и варварский обычай тогда был очень в моде. Я всегда с ужасом смотрела на тех несчастных, которых подвергали этой пытке, желая выказать им свое сочувствие.

# Глава III

## Мать

Мать моя была женщина чрезвычайно своеобразная и обаятельная. Обаяние это заключалось не в наружности, а в ее уме, характере и манере себя держать. В молодости она была миловидна и довольно стройна при среднем росте, но когда пошли дети, она очень скоро бросила корсет и всякие ухищрения. Поэтому ее фигура расплылась и потеряла всякую стройность. Лицо у нее было не красивое, но приятное, это совершенно не видно на ее фотографиях. У нее были ясные голубые глаза, гладкие каштановые волосы и очень белые зубы. Цвет лица ее портила экзема. У нее была милая улыбка, небольшие, белые, очень сильные руки, живые движения и звонкий голос. Одевалась она всегда очень просто, без всяких претензий, но была очень опрятна и любила духи и хорошее мыло с тонким запахом. Когда были деньги, душилась «Violette de Parme», вообще же мало тратила на свои наряды и носила простое белье, сшитое своими руками. Я помню в детстве несколько ее шелковых платьев, купленных в Париже во время ее пребывания там вместе с мужем в 60-х годах. Все это были цельные платья без юбок со шлейфом фасона «princesse» по тогдашней моде. Самое нарядное было черное атласное, к которому надевался отлож-



ной воротник из белого гипюра и флорентийская мозаичная брошка в золотой оправе: белая роза на черном фоне. Ни драгоценных колец, ни брошек с камнями мать не носила, она все это раздарила детям. Лет через десять остатки шелковых платьев пошли на лоскутья для краски яиц, а мать стала носить простые шерстяные платья, по большей части черные кашемировые: юбка и длинный «тюник». Она рано стала носить «шиньон» и черные кружевные косынки, которые назывались в то время «fenchons». Отец тоже одевался просто: черный сюртук и простой черный галстук.

В 60-х и 70-х годах вообще одевались гораздо проще, чем в последующие годы – до революции.

Отличительной чертой моей матери была телесная и духовная бодрость. Она не признавала уныния и скуки. Если кто-нибудь из нас в детстве жаловался на скуку и куксился, она говорила: «Как это можно скучать? Займись чем-нибудь». Сама она всегда была занята и разбивала вокруг себя праздничную и светлую атмосферу. Отец мой был тоже праздничный человек, но в матери эта черта проявлялась еще гораздо ярче. По силе характера, по яркости индивидуальности и по жизненности своей она была еще значительней отца, от нее веяло какой-то необычайной свежестью. Любо было смотреть на нее, когда она шьет, кроит, вышивает в пальцах, варит варенье. Всякую работу она делала быстро, ловко, отчетливо, смело и весело. Отчасти это происходило, разумеется, оттого, что у нее были очень сильные руки и

быстрая сметка, но тут хороша была не только внешняя сторона дела, а также и дух, которым проникнута была ее работа.

В матери поражало ее необычайное богатство природы и какая-то общая даровитость, которая выражалась во всем, что она делала. Не будучи ни писательницей, ни общественной деятельницей, она проявляла эту даровитость в жизни. У нее был редкий дар слова и большой юмор. Речь ее отличалась образностью и самым блестящим остроумием. Она сыпала острыми словцами и смелыми афоризмами, рассказывала с большой живостью и писала письма, как говорила. Способности у нее были блестящие, память изумительная: она одинаково хорошо запоминала стихи и отрывки прозы, разнообразные факты – как научные, так и житейские: названия мест, растений, зверей, имена и фамилии, цифры. Не получив никакого систематического образования, не имея понятия, например, о грамматике, она вполне правильно писала по-русски, по-французски, по-английски и по-немецки. Она свободно говорила на всех этих языках и еще по-итальянски, читала и по-испански. Французский язык ее отличался разнообразием и правильностью оборотов. Она знала по книгам много исторических и географических фактов. Имея чрезвычайно верный глаз и твердую руку, она очень точно срисовывала с оригинала и могла нарисовать сама незатейливые картинки. В детстве у меня была азбука, нарисованная ею, с раскрашенными картинками, изображавшими разные пред-

меты, на все буквы алфавита: арбуз, барана, петуха, девочку и т. д. Я очень любила эту книжку и до сих пор отчетливо помню многие рисунки: они были не художественны, но живо изображали требуемые предметы.

Литературу мать моя чрезвычайно любила, она знала русских классиков, что называется, назубок, беспрестанно их цитировала и помнила наизусть, например, весь пушкинский «Домик в Коломне» и многие мелкие стихотворения других русских поэтов. Знала она также и иностранную литературу, помнила наизусть в подлиннике некоторые баллады и лирические стихотворения Шиллера, многие стихи Гейне и Виктора Гюго. Сама она писала стихи с большой легкостью. У меня в руках было много тетрадей ее юношеских стихов. Они были гладки по форме, но лишены этой яркости и оригинальности, которой отличалась их авторша в разговоре. Я не раз замечала, что остроумные и очень умные женщины, обладавшие юмором и даром рассказывания, не обладали литературным талантом.

В зрелом возрасте мать писала только юмористические стихи, и очень удачно. Она написала раз очень милую детскую сказочку для «Вестника», издаваемого 13-летним Блоком, но это было не более как остроумная шутка в духе русифицированного Андерсена.

Литературность нашей семьи, то есть склонность к литературе, понимание ее красот и любовь к слову и форме шла целиком от матери. Она влияла в этом смысле не только на

нас, но и на отца. Многое из русской классической литературы мы узнали в ее чтении. Она мастерски читала вслух Гоголя, Островского, Слепцова, особенно юмористические места. В пору нашего детства и ранней юности еще был широко распространен в семьях обычай чтения вслух, который теперь, кажется, совершенно вывелся из употребления. Литературное чутье нашей матери выразилось, между прочим, в том, что она не возомнила себя писательницей. Она вполне довольствовалась ролью переводчицы и переводила с наслаждением и необычайной быстротой, свободно, ярко, живо, с великим разнообразием оборотов, но далеко не точно. Один из лучших и наиболее точных ее переводов – «Сентиментальное воспитание» Флобера, вышедшее в издательстве Пантелеева в 90-х годах прошлого века. Его очень ценил ее внук Александр Блок. Очень хороши ее переводы Вальтер Скотта, Диккенса и Теккерея. Стихотворные переводы тоже ей удавались.

Замечательно то, что, не имея никаких научных знаний, она каким-то верхним чутьем, по интуиции очень многое понимала. Незадолго до смерти она писала по заказу Карбасникова биографии английских механиков Стефенсона, Нэтсмита и Мотслея. Она работала по Смайильсу, имея в руках подлинник, в котором было много технических терминов. Мать моя не избегала этих трудностей, но, кончив работу, позвала знакомого специалиста, прося его проверить ее текст. «Посмотрите-ка, душечка, не наврала ли я чего-ни-

будь во всех этих кривошипях?» – сказала она. Но специалист нашел, что все вполне правильно и ясно написано.

Между прочим, мать моя была страстная музыкантша. Никогда не учась, она бойко играла на фортепьяно такие вещи, как сонаты Бетховена, ноктюрны и вальсы Шопена и прочее. Она хорошо разбирала и многое знала наизусть. Но самое замечательное – это то, что она, не имея понятия о теории музыки, даже элементарной, вполне правильно перекладывала любую пьесу в другие тона – работа, с которой далеко не всегда справляются ученики консерватории. Вкусы ее соответствовали ее времени и воспитанию, хотя некоторые из них были передовые. Из русских прозаиков она предпочитала Гоголя и Тургенева, Толстого любила меньше, Достоевский был ей во многом чужд, но она очень любила «Идиота». Из поэтов ее любимцем был Пушкин, но она ценила и знала и других классиков, а из новых для своего времени любила не только Полонского и Майкова, но и Фета, которого еще в 80-х и 90-х годах признавали только очень тонкие ценители литературы. Из иностранных писателей она, как истый романтик, особенно любила Виктора Гюго, к чести своей предпочитая его стихи Ламартину. Очень любила она также Диккенса и Вальтер Скотта. Шекспира любила страстно. Из немцев ее любимцами были Шиллер и Гейне. Вообще же она предпочитала романские народы, особенно испанцев и итальянцев. Немцев она презирала, немецкий язык терпеть не могла <...> Вторую часть «Фауста» она совершен-

но не признавала и говорила, что «тайный советник Гете написал его для того, чтобы подурочить немцев». Совершенно упуская из виду высоко ценимую ею немецкую поэзию и музыку, она уверяла, что самое подходящее занятие для немца – это быть аптекарем или настройщиком, а, впрочем, когда приходил настраивать ее фортепьяно старый настройщик Крайузе, она разговаривала с ним по-немецки и неизменно кормила его завтраком, так что он уходил совершенно очарованный ее радушием и добротой. Относительно музыки у матери были очень определенные взгляды. Она считала, что главное – это вокальная музыка, инструментальная есть суррогат музыки, но все же очень любила немецких классиков и Шопена. Шумана она не любила, почему-то признавая «Манфреда» и одну маленькую пьеску. Баха совершенно не переносила, но узнавала его с первой ноты. Больше всего любила до обожания итальянские оперы и песни Шуберта. Русскую музыку, особенно кучкистов, она презирала, но впоследствии внезапно пленилась Чайковским, который в наше время считался трудным и мало понятным. Вагнера она, разумеется, ненавидела, так сказать, по принципу. Надо припомнить, что его не понимали ни Антон Рубинштейн, ни Чайковский. Однажды произошел такой случай: старшие сестры поехали в Итальянскую оперу слушать «Лоэнгрин» с тенором Нувелли, знаменитым по исполнению этой роли. Вернулись совершенно очарованные музыкой Вагнера и сюжетом. Мать встретила их на пороге словами: «Несчастные!

Каково вам было?» На это сестра моя Софья Андреевна, на которую опера произвела особенно сильное впечатление, ничего не сказала, но залилась слезами, так была она оскорблена в своих чувствах. По правде сказать, мать даже и не знала музыки «Лоэнгрина», когда она так огорчила своих дочерей. Впоследствии она сама полюбила некоторые арии из этой оперы, которые она слышала в фортепьянной аранжировке Листа. Но все же до конца своих дней она больше всего любила итальянские оперы и «Фауста» Гуно.

Мать моя была женщина очень увлекающаяся, восторженная и непосредственная. Ум у нее был блестящий, гибкий, сверкающий остроумием, но чисто женский. Она не отличалась ни логикой, ни последовательностью, ни глубокомыслием. Беспристрастие ей тоже не было свойственно, да она за ним и не гналась, считая, что терпимы бывают только холодные люди. Она говорила сама про себя: «Я, слава богу, не беспристрастна». Судила мать часто неосновательно или поверхностно, но ее суждения всегда были самостоятельны, она нигде их не заимствовала и была до такой степени полна своим собственным содержанием и интересами, что друг нашего дома, глубокомысленный гегельянец П. А. Бакунин, который был на «ты» с моими родителями, сказал про нее: «Лиза сама себе суффацирует».

Характер у матери был очень сильный: она стоически переносила физические страдания и редко падала духом. И не могу себе представить, что могло бы сломить ее бодрость.

Вкусы у нее были простые, к еде она была невзыскательна и довольствовалась самым простым столом, причем очень долго могла не есть и совсем забывала о еде за интересной работой. Она была прямодушна, откровенна, честна, не способна была ни позавидовать, ни сознательно кому-нибудь повредить, хитрости и коварства в ней тоже не было, но язык у нее был беспощадный. Можно сказать, что она была добра, но далеко не добродушна. Она могла часами возиться со скучными просительницами и с деревенскими бабами, щедро раздаривая им свои незатейливые капоты, но очень зло подшучивала над пошлостью, глупостью и педантизмом. Очень не жаловала она педагогов, в особенности смеялась над Фребелем<sup>12</sup>, считая его тупым педантом. Но, впрочем, и сама педагогия была ей глубоко чужда, как всякая систематичность и учеба. Эти черты повторились в ее дочери Александре Андреевне с той лишь разницей, что мать несколько не интересовалась философией, но любила историю – правда, больше по романам и мемуарам. Александра Андреевна презирала историю и ею не интересовалась, но имела большую склонность к философии, что замечалось в отце и всегда проявлялось в его научных работах. У матери нашей был ум неотвлеченный. Ее влекло преимущественно к искусствам, особенно к литературе, музыке и театру. Последний она любила страстно и эту страсть передала двум младшим дочерям; старшие театр любили, но не с таким само-

---

<sup>12</sup> Фридрих Фребель (1782–1852) – знаменитый немецкий педагог.



забвением, как мы с Александрой Андреевной. Отец легко обходился без театра и в особенности без музыки, хотя было время, когда он охотно посещал французский театр и с удовольствием слушал итальянскую оперу. В концертах он не бывал, инструментальная музыка была ему чужда, а к фортепьяно относился он со скукой. Мать же, при всем своем пристрастии к вокальной музыке и в особенности к итальянцам – благоговела перед Бетховеном и вообще любила немецких классиков. Свою страсть к музыке, пожалуй, еще усиленную, мать полностью передала мне. Это объясняется, вероятно, тем, что перед самым моим рождением она была музыкальным рецензентом какой-то газеты и имела два абонемента в итальянской опере. Как известно, в те времена (начало 60-х годов) итальянская опера стояла необычайно высоко в смысле исполнения. Тогда блистали Тамберлик, Кальцоляри, Бозио, Лукка, Эверарди<sup>13</sup> и т. д.... Я с раннего детства чувствовала необычайное влечение к музыке, но вкусы мои, вначале совершенно схожие с материнскими, впоследствии развились в другую сторону, приняв сообразно моей натуре более отвлеченный характер. Я не только особенно любила инструментальную музыку и, в частности, Баха и Шумана, а позднее Вагнера и новую музыку, но еще и со страстью занималась теорией музыки, что приводило мою мать в полнейшее недоумение: «Зачем тебе это?! – говорила она. – Разве не

---

<sup>13</sup> Энрико Тамберлик (1820–1888), Анджелина Бозио (1824–1859), Паулина Лукка (1844–1908), Камилло Эверарди (1825–1899) – известные певцы.

довольно играть и слушать?» Интерес к отвлеченной стороне явлений науки и искусства был ей совсем не понятен, но зато сторона жизненная, образная, фантастическая была ей бесконечно близка и интересна. Ее особенно пленяла живописная, поэтическая сторона жизни. За красоту, за талант, за поэтичность – в чем бы и где бы они ни проявлялись – она готова была отдать и простить все на свете.

Перехожу теперь к семейным отношениям матери. Про нее можно сказать, что она была прежде всего человек и личность, а потом уже мать и жена. Она не уходила в семью с головой, не отдавала ей все свои силы и чувства и не была из тех женщин, которые способны обезличить себя ради семьи. Во многом расходясь с мужем, она была к нему привязана, но он не был для нее идеалом и непогрешимым авторитетом. У них бывали несогласия, но никогда не бывало ссор. Дети могли только подозревать, что между ними есть рознь или нелады, но они никогда не делали их свидетелями своих внутренних драм и никогда не жаловались друг на друга.

Детей мать очень любила. Она много возилась с нами, когда мы были маленькие: сама нас кормила, купала, одевала и обшивала, но когда мы подросли, она уже меньше о нас заботилась, хотя во время наших болезней она ухаживала за нами неотступно, умело и весело, помогая переносить все страдания и томления болезни и лечения. Вообще же она не окружала нас неусыпными заботами и способна была пренебречь своими материнскими обязанностями ради интересного раз-

говора, развлечения или занятия. Но зато как весело было с ней, когда она нами занималась, да и вообще у нас в доме всегда было весело, и причиной этого была главным образом мать, потому что дух дома зависит главным образом от хозяйки. В матери была не малая доля здорового легкомыслия и громадная любовь к жизни. Конечно, она делала ошибки и многое упускала, но то, что она не насильствовала себя ради семейного долга и оставалась сама собой, вероятно, и было причиной той неиссякаемой жизненности и молодости духа, которыми она отличалась всю жизнь, не исключая тяжелых и долгих годов ее последней мучительной болезни.

А вот домашнего хозяйства мать моя не любила и не умела ни смотреть за кухарками, ни угождать мужу хорошим столом, ни беречь копейку. Сама она выросла в небогатой семье и не знала роскоши. Отец воспитался в богатом помещичьем доме, в широких условиях степной деревни и был очень взыскателен насчет стола. Мать моя не умела к этому применитья и при плохом столе все же тратила много денег. Поэтому решено было в семье, что домашнее хозяйство возьмет в свои руки старшая дочь Катя, которая чуть не с 20-ти лет взяла на себя это трудное дело и отлично с ним справлялась. При ней неумелые поварихи сменились более искусными кухарками, которых она умела научить и направить, меню обедов и завтраков стало более изысканным, а денег все же хватало. Где она всему этому научилась, неизвестно, но таланты ее были признаны всеми и прежде всего

самими родителями.

Ко всем своим дочерям мать относилась различно. Всех дальше она была со второй дочерью, Соней (Софьей Андреевной): у них были слишком разные натуры. Соня отличалась непреклонной принципиальностью и не признавала никаких отклонений от долга. Она доходила в этом отношении до крайности, впадая в пуританство; наша бабушка со стороны матери говорила про нее: «Сонька всегда с принципами ходит». Всякое легкомыслие было чуждо сестре Софье Андреевне. Оно вызывало в ней раздражение и протест. Она считала, что у матери не должно быть своей жизни, а к жизни вообще относилась довольно сурово. Катя была любимицей матери, но после ее ранней смерти особой нежностью и восторженным обожанием пользовалась сестра Александра Андреевна. Со мною у нее были наиболее ровные и близкие отношения. Мне она уделяла в детстве больше всего забот, так как я была самая слабая и в 4 года выдержала опасную болезнь, а после замужества сестры Екатерины Андреевны у нас с матерью установились совсем особые дружеские отношения, которые особенно укрепились во время ее болезни и паралича отца. Эти годы для меня были чрезвычайно трудны, но мать была поистине моим добрым гением в то тяжелое время, когда мне приходилось проводить целые дни с параличным отцом, впавшим в детство и лишенным ног и языка, ухаживать за больной матерью и нести тягость всех домашних обязанностей и отношений при очень слабом здо-

ровье. Но об этом я скажу подробнее ниже. Теперь же прибавлю, что все мы очень любили отца, но мать обе старшие сестры, особенно Катя, любили гораздо меньше. Нам с Александрой Андреевной мать была ближе, и мы любили ее еще больше, чем отца, в особенности в старости. Нас сближала с ней не только ее любовь к дорогому для нас искусству, но также и взгляды на жизнь. Бекетовское начало, как строго семейственное, было нам менее близко чем свободные и широкие взгляды матери. Отец наш, конечно, не был ригористом, но его идеалом была семья, а мать наша смотрела иначе и не считала семью главнейшим и неперемнным условием счастья.

Что касается ее политических взглядов, то они были отчасти консервативные, она была монархистка и ярая западница, смеялась над славянофилами, не терпела квасного патриотизма и даже не любила Москву. Общественной жилки у нее не было, но при монархических убеждениях она отличалась полной независимостью и никогда не умилялась перед царской фамилией и титулами – в противоположность монархистам и в особенности монархисткам ее времени. Она была вообще независима, жила, как ей нравилось и казалось нужным, но в некоторых случаях она покорялась общественному мнению, то есть уговорам семьи. По настоянию мужа и дочерей она делала визиты – занятие, которое она ненавидела, считая его бессмысленным и совершенно ненужным.

Будучи вообще веселого и ровного нрава, она в таких слу-

чаях начинала сердиться и проделывала процедуру визитов, что называется, сцепя зубы. Зато, вернувшись домой после этого тяжелого и несносного для нее занятия, она развлекала нас, довольно-таки зло подшучивая над разными дамами, у которых она была, и великолепно изображала их в лицах. Ни светского лоска, ни светского лицемерия у матери не было. Ей стоило великих трудов быть любезной с теми, кого она не любила. Случалось, что дочери уговаривали ее получше принять какую-нибудь неприятную ей особу. Она отказывалась выйти к ожидаемой гостье и, сдаваясь наконец на наши доводы, она в заключение угрожала: «Вам же будет хуже!» Это значило, что нам будет неприятно смотреть на ее усилия казаться любезной, и действительно: это выходило у нее до того неестественно и фальшиво, что мы не знали, куда нам деться. Но зато с теми, кто ей нравился, она была бесконечно радушна, проста, ласкова и мила, причем походя рассыпала блески своего остроумия и вела себя с полной непринужденностью: шила, вышивала и раскладывала пасьянсы в присутствии гостей и, не стесняясь, подшучивала, например, над Д. И. Менделеевым, который очень любил ее общество. Обращение ее было чрезвычайно просто и тепло. Она умела, что называется, пригреть, а также приручить самого застенчивого человека. В ее присутствии все чрезвычайно быстро осваивались и чувствовали себя, как дома. Никаких церемоний она не признавала и быстро умела войти в доверие человека, но все это при том условии, если он был ей симпатичен.

тичен и она не чувствовала в нем предубеждения. Приведу один случай.

На наших субботних вечерах во времена ректорства отца она всегда разливала чай. На одной из первых суббот появился в числе студентов некий провинциал сумрачного вида, бедно одетый и дико застенчивый. Он сидел близко от матери; когда она предложила ему чай и булки, он молча взял стакан и сказал свирепым тоном, не глядя на хозяйку: «Я булки не ем». Это ее насмешило, но ничуть не обидело. Она быстро приручила этого дикаря. Вскоре дело дошло до того, что она уговорила его вымыть руки, для чего повела в свою комнату, а немного погодя пригласила его к воскресному завтраку. «На пирог позвала», – сообщил он мне с чрезвычайно довольным видом и очень скоро сделался одним из завсегдатаев нашего дома. Это был первый жених сестры Александры Андреевны – Михаил Федорович Шутц, человек очень демократического склада, без всяких манер, презиравший щегольство и носивший вместо пальто плед коромыслом – не столько по бедности, сколько из принципа, так как в 70-х годах плед коромыслом был одним из признаков радикальных убеждений. Рассказы об этом студенте, из которого вышел впоследствии дельный чиновник, вероятно, послужили основой для типа мужа старшей сестры в «Возмездии». Краски сгущены, и тип более ярко и выпукло очерчен, но в облике много общего. Я не выдаю, однако, эту догадку за факт. Облик мужа старшей сестры в «Возмездии» вообще

очень типичен для того времени и, быть может, только случайно совпал с обликом Шутца.

Но я отвлеклась от личности моей матери.

Ее вообще очень любили и притом самые разнообразные люди, начиная с маститых профессоров и философов, вроде братьев Бакуниных, и кончая всевозможной молодежью – родственной и неродственной. У нас часто жила в доме разные молодые родственницы и друзья, бывшие, так сказать, на положении родственников. Все они чрезвычайно веселились с «тетей Лизой». Бывали, впрочем, и исключения. Ригористы и в особенности ригористки не любили нашу мать за легкомыслие и неточность в передаче фактов и, не понимая того, что это делалось у нее совершенно произвольно и происходило от чересчур живого воображения, принимали это за лживость.

В людях мать моя мало понимала. При всем ее уме и жизненности ее так же легко было провести и одурачить, как и моего умного отца, враждавшего в большом и разнообразном обществе. Оба они были в этом отношении совершенно дети, а мать моя еще довершала эту черту романтизмом и восторженностью, мешавшими ей трезво смотреть на вещи.

Еще могу сказать, что родители мои отличались полной непрактичностью, они не умели ни выгодно устраиваться, ни копить добро. Правда, они и не стремились к богатству и ценили духовные блага гораздо больше материальных, а, кроме того, у них не было ни тщеславия, ни ложного стыда, что



еще способствовало тому, что они не тянулись за роскошью и вообще чуждались внешнего блеска.

Я закончу эту главу двумя эпизодами, которые ярко рисуют бесконечную доверчивость моих родителей и их наивное отношение к жизни. Второй из них относится к сестре Екатерине Андреевне и имел большое влияние на ее жизнь, описанием дальнейшего хода которой я погрешу против всех правил хронологии, т. к. начало отрывка относится ко времени моего детства, а конец перебрасывается уже к детству Блока. (Дальнейшую историю сестры Екатерины Андреевны следовало бы поместить во II-ом томе, но, не надеясь кончить его при моей жизни, я помещаю эту главу в I-ом томе).

В начале семидесятых годов мать моя поехала лечиться в какой-то немецкий курорт, кажется, Шляггенбад. Однажды, когда ей сильно нездоровилось и она сидела дома, к ней зашла некая дама, которая встречалась с ней в парке и у источников. Дама была русская. Ее звали Анна Дмитриевна Лебедева. Она почему-то выдавала себя за польку, хотя ни имя ее, ни выговор<sup>14</sup>.

Она высказала матери участие, они разговорились и подружились. Узнав, что Анна Дмитриевна живет в Петербурге, мать пригласила ее бывать у нас, что та сделала по возвращении в город. Это была женщина не первой молодости, с высокой и стройной фигурой и некрасивым, но приятным лицом. Одевалась она всегда скромно, но со вкусом, в хоро-

---

<sup>14</sup> Так в тексте.

шо сшитое черное платье. Она бывала у нас довольно часто и во всякое время и особенно сошлась с Асей. В те времена мы были плохо одеты – не столько по недостатку средств, сколько потому, что у матери не было вкуса такого рода. Шила на нас очень плохая портниха, а мать не умела ее научить ни выбирать фасон, ни скрасить наши наряды. Анна Дмитриевна приняла большое участие в этом вопросе. Она умела шить и кроить и из недорогих матерьялов могла создать изящный костюм, а также дешево купить материю и к лицу причесать. Она многому научила нашу сестру Катю, которая впоследствии стала нашей законодательницей мод. Все мы полюбили Анну Дмитриевну. Она держала себя с большим тактом, была далеко не глупа, но разговор ее касался исключительно обыденных тем. О прошлом своем, да и вообще о себе она никогда не говорила, если не считать нескольких анекдотов из ее ранней юности. Вообще в ней не было ничего выдающегося, но также и ничего вульгарного и неприятного. Хорошо, кабы наши профессорши того времени держали себя так, как она. Между прочим, не будучи литературно образованной, она удивила нас тем, что в тетрадку Аси, предназначенную для стихов различных поэтов, она вписала наизусть два стихотворения: «Первая дружба» неизвестного поэта (?):

Я помню отрока с кудрявой головой,  
С большими серыми и грустными глазами...

и «Магдалину» Огарева. Последнее стихотворение – слабое, но очень длинное – заняло почти пять страниц и написано очень изящным почерком и вполне грамотно с обозначением даты – 1873-ий год, февраля 23-го дня.

Вполне приличный облик Анны Дмитриевны как-то не вязался с рассказами матери, что ее новая приятельница часто просила ее писать своей рукой таинственные письма, в которых она назначала свидания в маскарад. Мать находила это очень романтичным и интересным, и ни ей, ни отцу нашему не приходило в голову, что порядочная дама не станет писать таких писем. Впоследствии оказалось, что Анна Дмитриевна принадлежала к числу так называемых «дам полусвета», но это было открыто не умудренными годами родителями, а молоденькой сестрой Катей. Как именно это произошло, я не сумею сказать, хотя ясно помню, что это было именно так, и после этого Анна Дмитриевна как-то незаметно перестала у нас бывать и вообще скрылась с нашего горизонта.

Но это еще куда ни шло. Мало ли с кем можно познакомиться на водах, да и приличный вид и общее поведение Анны Дмитриевны могли ввести в заблуждение. А вот другой эпизод, уже совсем из ряда вон и, наверное, мог случиться только в нашем семействе. Он произошел в 1873 году. Жили мы тогда на профессорской квартире, выходившей окнами в университетский сад, растянутый вдоль всего здания университета со стороны улицы. Вход в квартиру был со двора, в

конец университетской галереи. Она была в четвертом этаже и состояла из 4-х больших комнат в два окна и пятой – в одно, которые шли анфиладой. В светлый коридор с громадными окнами во двор, в который попадали с лестницы, выходила только кухня да парадный вход. Комнаты шли в следующем порядке: сначала четыре больших – кабинет отца с перегородкой в глубине, за которой была устроена спальня, потом гостиная, за ней столовая, где отделена была перегородкой другая спальня, менявшая своих постояльцев; за столовой шла комната, где жили в описываемое время мы с Асей. Спали мы за драпировкой в глубине комнаты вместе с няней покойной сестрицы Лили, а в свободной части готовили уроки за большим столом, стоящим посредине боком к окнам. Последняя комната в одно окно тоже служила спальней то одним, то другим членам семьи.

У отца в кабинете был хороший письменный стол лакированного ореха с колонками, большой диван, покрытый шерстяной материей, тоже отделанный гладким орехом, с двумя откидными полочками по бокам, тот самый, что стоял в кабинете Блока, когда он женился, и теперь еще стоит у Любови Дмитриевны в числе тех вещей, которые сохранились от того времени, когда жил и умирал в этой комнате Блок.

На этом спокойном и мягком диване я еще маленькой девочкой лет 7-ми – 8-ми любила сидеть в отсутствие отца, когда он был на лекциях или в правлении по университетским делам, а я возвращалась из гимназии. Придя домой вместе с

сестрами, я выпрашивала у кухарки большой ломоть черного хлеба, посыпанный крупной солью, брала какую-нибудь книгу и, примостившись в углу дивана, ближайшего к окнам, читала и с наслаждением поедала хлеб, т. к. до обеда было еще далеко. В кабинете отца были, конечно, шкафы с научными и полунучными книгами вроде Брэма, по большей части на иностранных языках. Перед письменным столом стояло то самое кресло с высокой спинкой, оправленное в гладкий орех, которое перешло потом к Блоку. Гостиная была самая уютная комната. В ней был белый мраморный камин и стояла хорошая мягкая мебель, крытая красной шерстяной материей; помнится, было три дивана, а посредине стоял большой четырехугольный стол, покрытый пестрой шерстяной скатертью, вокруг которого стояли мягкие стулья. Перед одним из диванов был овальный стол гладкого ореха с гнутыми ножками, покрытый бархатной скатертью, вокруг него стояло несколько кресел, а под ним лежал ковер, состоявший из нескольких полос, вышитых матерью шерстями. На черном фоне отчетливо выделялись разноцветные розы вперемешку с лиловыми и белыми цветами. Играя на этом ковре еще до гимназии, мы с сестрой Асей выбрали себе по любимой розе: ее была ярко-розовая, вся раскрытая, а моя бледно-розовая, с чашечкой, томно опущенной вниз. Между окнами, в очень большом простенке, стояла то самое piano case (четырехугольное фортепьяно) темного дерева, которое попало впоследствии в Шахматово. В столовой стоял по-

середине громадный ореховый стол, нарочно заказанный отцом как можно тяжелее, чтобы играющие дети не могли его повалить. Это была, конечно, излишняя предосторожность, т. к. мы с сестрами были не настолько сильны и резвы, чтобы повалить даже обыкновенный стол. У одной из стен стоял большой буфет гладкого ореха, а у другой, боком к окну, тот самый письменный стол матери семейства с колонками и зеленым сукном, который служил впоследствии Блоку и до сих пор остался у Любови Дмитриевны. В гостиной и в столовой висели над средними столами одинаковые, конечно, керосиновые лампы желтой бронзы – очень светлые, с широкими колпаками из белого фарфора, купленные в лучшем тогда магазине Штанге.

Случай, о котором я буду рассказывать, произошел поздней осенью или зимой 1873 года, когда сестре Кате было лет 18, Соне около 16-ти, Асе около 13-ти, мне около 12-ти. Из молодежи бывали у нас подруги сестер и несколько молодых людей, только что кончивших курс в Университете, все естественники. Очень часто бывала подруга старших сестер Лилия Филиппова, очень хорошенькая и кокетливая блондинка лет 16-ти. Она была умненькая, живая и очень веселая девушка, но воспитана в атмосфере, которая была далека от нашей наивности и полного незнания жизни. Отец Лили был, кажется, товарищ по университету отца, мать – француженка. Это знакомство завелось в Тифлисе, когда отец учительствовал в этом городе. В описываемое время Филиппов

был далеко еще не старьй, красивый и мужественный брюнет. Он управлял домами князя Паскевича. Получал хорошее жалованье и казенную квартиру, так что жили Филипповы довольно открыто. Мать Лили была женщина совершенно неинтересная, вялая, слабая, довольно бесцветной наружности, но изящная. Отношения супругов Филипповых были довольно странные: любовник жены открыто бывал у них в доме, и, по-видимому, муж ничего не имел против этого. Вероятно, у него были свои связи на стороне. У Филипповых часто устраивались танцы, бывали гимназисты старших классов и юнкера Инженерного училища. Два из них стали бывать и у нас – главным образом ради танцев. Лиля говорила по-французски так же свободно, как и по-русски. Она кончала курс в той казенной гимназии, где учились и мы, и после классов частенько заходила к нам, оставалась на весь день, даже с ночевкой. Дома-то в обычное время было скучновато, а у нас ей было весело. Она мило болтала о пустяках и внесла в наш дом совершенно новую легкомысленную струю, которая выразилась в усиленном интересе к туалетам, танцам и легкому флирту. Разговоры ее с моими старшими сестрами постоянно вертелись вокруг молодых людей ее круга, а также артистов. Старшие сестры часто были вместе с Лилей в ложе Филипповых в итальянской опере, которая помещалась тогда в давно не существующем Большом театре против Мариинского. Итальянская опера была тогда казенная, и труппа ее состояла из лучших певцов того вре-

мени: молодая Патти<sup>15</sup>, не очень блистательный, но очень хороший лирический тенор Гайер, великолепный бас Багаджиоло, только еще начинающий прекрасный баритон Котони и др. Между прочим, был там заметный второй тенор, некий испанец Сабатэр. У него был большой голос без особого обаяния, которым он хорошо владел, он свободно держался на сцене, недурно играл, но главное – поражал выдающейся красотой. Сестры Катя и Соня, а также Лиля Филиппова обратили на него внимание, и, конечно, он был не раз предметом их разговоров, в которых принимала участие главным образом бойкая Катя. Соня больше помалкивала, тем более, что она была увлечена в то время юнкером Жоржем Колобовым, скромным и миловидным блондином, отличавшимся выдающимися успехами в науках и образцовым поведением, который бывал у нас вместе с сестрой, а иногда и с мамашей. Это было почтенное, но довольно скучное семейство. Товарищ Жоржа, Богомоллов, некрасивый, но веселый и более мужественный – больше нравился Лиле, но они флиртовали с обоими.

Сезон итальянской оперы был в полном разгаре, когда сестра Катя, гуляя одна по Невскому или Б. Морской (ныне улица Герцена), встретила красивого тенора, который и в обыкновенном виде показался ей не менее интересным, чем в гриме и в эффектных оперных костюмах. Будучи очень непосредственной и наивной и совсем не умея себя держать,

---

<sup>15</sup> Аделина-Мария-Жанна *Патти* (1843–1919) – знаменитая певица.



она ему улыбнулась. Он, разумеется, принял ее за особу легкого поведения, а т. к. она была очень молода и недурна собой, то он пошел за ней и вступил с ней в разговор на французском языке, впрочем, вполне приличный по форме. Совершенно не подозревая, в чем дело, она сочла его поведение за дань своей исключительной привлекательности. Расставшись с тенором недалеко от нашего дома, она дала ему понять, что он может встретить ее и завтра в такой же час, а придя домой, вполне откровенно рассказала о своей встрече всем членам семейства, причем ни мать, ни отец и не думали ее срамить. Отец был крайне польщен вниманием артиста и, вместо того чтобы объяснить ей, что нельзя улыбаться на улице незнакомым мужчинам, радовался вместе с ней ее воображаемому успеху. Прогулка с тенором повторилась, и дело кончилось тем, что отец послал ему через Катю свою визитную карточку с приглашением бывать у нас в доме. Артист принял приглашение и назначил вечер, когда он к нам явится в первый раз. Все мы были воспитаны матерью в тех понятиях, что Испания есть страна плащей, серенад, танцев и всяческого благородства. Поэтому мы ждали тенора с замиранием сердца. Я обедала в этот день у Ворониных. После обеда меня отвезли домой. Въезжая во двор, я заметила высокую мужскую фигуру, которая вошла в ворота и направилась вперед по галерее. Я сейчас же решила, что это Сабатэр, и не ошиблась. Вскоре после того, как я забралась на наш четвертый этаж и сняла верхнее платье, под которым

было коричневое гимназическое платье с черным передником, в парадной раздался звонок, и Сабатэр предстал перед взорами заинтересованного семейства. Артист оказался красавцем с изящными и благородными манерами. Наружность его была очень эффектна: высокая, стройная фигура, тонкий профиль, черные глаза с мягким блеском, золотисто-смуглый цвет лица, иссиня-черные кудрявые волосы, черные усы и небольшая борода по тогдашней моде. Полная простота и отсутствие фатовства завершали приятное впечатление. Родители мои очень приветливо встретили гостя и сейчас же познакомили его со всеми членами семейства, в числе которых были гостившие у нас в то время бабушка Александра Николаевна и тетя Соня. Сестра Катя, конечно, говорила тенору, что она дочь профессора университета, но он вряд ли ей верил или же удивлялся в душе тому, как плохо воспитывают русские профессора своих дочек. Можно себе представить, как он был поражен при виде столь почтенного семейства вполне патриархального пошиба и явно дворянского происхождения – условие, конечно, очень важное для испанского идадьго, каким был он сам. Отец и мать заговорили с ним на отборном французском языке. Сам он говорил по-французски свободно, но не совсем правильно, с очень сильным, но приятным акцентом. Он хорошо говорил по-итальянски, т. к. учился петь в миланской консерватории. Все мы уселись в гостиной вокруг большого стола под лампой. Не прошло и пяти минут, как отец спросил Сабатэра:

«Et bien, êtes vous républicain ou carliste?» (Вы республиканец или карлист?). На что Сабатэр, будучи родом из Барселоны, ответил убежденным тоном и с патетическим жестом: «Je suis républicain!»<sup>16</sup> В то время в Испании шла так называемая карлистская война, которая кончилась поражением Бурбона дон Карлоса и Кортесами, сменившимися самой плохой монархией, возглавляемой королем. Начался разговор о политике, в которой отец был большой дока. Он, конечно, сочувствовал республиканцам. Вскоре подали чай, и все перешли в столовую. Я не спускала глаз с интересного гостя, и сердце мое было покорено.

Сабатэр стал бывать у нас очень часто, т. к. ему у нас очень понравилось, и у него, очевидно, была потребность в семейной атмосфере. Он был отнюдь не кутила, и ему не нравились вольные нравы артистической богемы. Ну, а родители мои были люди хоть куда. Артист был, разумеется, плохо образован и мало развит, но далеко не глуп и оказался милым и вполне порядочным человеком. Видя, в какую семью он попал, он счел долгом просить руки той девушки, которая ввела его в дом. Катя сделалась его невестой, что нисколько не мешало мне обожать и его, и ее, которую я и до тех пор обожала. Ревности у меня не было: во-первых, я не имела никаких претензий на мужское внимание, а во-вторых «с'était de l'amour avant le sexe» (это была любовь прежде пола), как выразился Золя про героиню своего романа «Проступок аб-

---

<sup>16</sup> Я республиканец! (фр.)

бата Мурэ», молоденькую Альбину. Итак, Сабатэр к нам, что называется, зачастил. Узнав, что мать наша играет на фортепьяно, а в доме есть романсы для пения, он стал петь под аккомпанемент фортепьяно песни Шуберта с французским текстом, знаменитую арию старинного итальянского композитора Страделлы «Pieta, Signore» (Умилосердись, господи) и многое другое, иногда приносил какой-нибудь нехитрый итальянский романс или красивую серенаду Фра Дьяволо из оперы Обера. Пел он прекрасно, гораздо лучше, чем в опере, что объясняется тем, что ему, певшему в других странах партии первого тенора, очень уж неинтересно было выступать в таких ролях, как жених Лючии в опере Доницетти, рыбак в «Вильгельме Телле» и пр. Скоро он подружился и с бабушкой, и с тетей Соней. Он охотно разговаривал с нашим отцом, но часто поражался его незнанием жизни и бесхитростностью и восклицал по-итальянски: «Proprio, come un bambino!», т. е. «Совсем, как ребенок!» А в то время отцу было под 50, а Сабатэру вдвое меньше. Весь сезон 1873-4-го года прошел под знаком Сабатэра. Общее внимание женской половины было сосредоточено на нем. Остальные молодые люди, бывавшие в доме, отошли на второй план, да оно и понятно: все они были гораздо образованнее, а иные и умнее нового знакомого, но далеко не красивы и не имели того романтического ореола, какой был у него. Не подпала его обаянию только сестра Соня, которая, как я уже говорила, была увлечена в то время другим. Старшие относились

к нему очень дружески. С матерью моей Сабатэр мирно раскладывал пасьянсы. Что касается его отношения к невесте, то вскоре выяснилось, что она по характеру и манерам не в его вкусе. Она сама рассказывала, что он делал ей замечания вроде следующих: «Voilà comme une demoiselle ne doit pas être» (Вот какой не должна быть барышня, это не годится для барышни), «Voyez Sophie» (Посмотрите на Софи). Я уже упоминала о сдержанности и скромности сестры Сони, очевидно, это было более во вкусе испанца. Что именно вызывало его замечания, я не знаю, и судить об этом в то время я не могла. К сестре Асе Сабатэр относился шутливо и дружески, но довольно безразлично, а со мной обращался как с ребенком, но выказывал мне очень милое внимание. Его, очевидно, трогало мое глубокое и безмолвное обожание. Он сказал как-то про меня: «La petite Maria beaucoup pour moi dans son petit coeur» (Я занимаю большее место в сердечке малютки Марии). Я помню такой случай: в один из вечеров, когда Сабатэр был у нас, мать велела мне идти спать до его ухода. Я, скрепя сердце, послушалась, но, когда раздалось его пение, я начала горько плакать. Няня пробовала меня уговаривать и даже стыдить, но это не помогало. Тогда она пошла в гостиную и рассказала матери о моем поведении, после чего меня позвали в столовую, на пороге которой стоял Сабатэр, пришедший меня уговаривать. Помню, как я стояла в своем коричневом платье уже без передника, глотая слезы, а он склонился ко мне с высоты своего громадного роста и с добрым

и ласковым видом говорил мне: «Ne pleurez pas, allez dormir pour l'amour de moi» (Не плачьте, идите спать из любви ко мне). И я успокоилась, перестала плакать, легла в постель, а он уже больше не пел в тот вечер.

В эту зиму отец поехал на Рождественские каникулы в Харьков, к своему брату Николаю Николаевичу, который был профессором химии тамошнего университета. Когда он вернулся, он был поражен тем, как глубоко было впечатление, оказываемое Сабатэром на нашу семью, считая в том числе и мое раннее увлечение, невинного характера которого он, к слову сказать, совершенно не понял и отнесся к нему очень сурово и даже строго, что было причиной того, что я, очень любя отца, никогда не была с ним откровенна. Но дело тут не во мне. Отец тут только понял, сколь легкомысленно он поступил, введя в наш дом Сабатэра и связав судьбу своей дочери с человеком из другого мира, в котором она, конечно, не могла бы чувствовать себя хорошо. Отец назвал себя старым дураком, но уже было поздно исправлять сделанную ошибку.

Сабатэр уехал из Петербурга после окончания сезона итальянской оперы. Весной Катя простудилась, у нее сделался плеврит, и она уехала лечиться в немецкий курорт Соден в сопровождении матери. Летом жених и невеста между собой переписывались. Я не знаю, что они друг другу писали, но, очевидно, в их отношениях что-то испортилось. Когда сестра Катя с матерью вернулась в Петербург, Сабатэр чуть ли не

в тот же день явился к нам и под очень благовидным и благородным предлогом взял свое слово назад, объяснив это тем, что не надеется составить счастье m-11 Catherine и не считает себя, бродячего артиста, подходящим ей мужем. Пробыв у нас самое короткое время и дружески простившись со всеми, он уехал в Москву, т. к. не возобновил своего контракта в Петербурге, очевидно, с целью более не встречаться с нами, и пел этот сезон в Москве.

Таким образом, он оказался дальновиднее и мудрее моих родителей. Сколько я помню, его отказ был для всех полной неожиданностью, но ясно, что Сабатэр только из деликатности не объяснил настоящих мотивов своего разрыва с Катей. При ближайшем знакомстве она, очевидно, ему не понравилась, т. к. не была ни послушной дочерью, ни заботливой ласковой сестрой, ни скромной девицей, а он был очень молод и, конечно, не мог себе представить, что большинство недостатков поведения его невесты происходит от того, что она донельзя избалована родителями и не знает пределов своему молодому эгоизму и самомнению. Не знал он, конечно, и того, что из таких своевольных и легкомысленных девушек, как она, часто выходят впоследствии любящие жены и нежные матери. Наша Катя была именно такого типа, но многие судили о ней неверно по ее заносчивому поведению. Отказ жениха был для нее большим ударом, хотя она была так молода, что, вероятно бы, скоро утешилась, если бы по понятиям нашего времени не считала интересным во что бы то ни

стало держаться за прошлое и страдать. Несмотря на некоторые романтические бредни, Катя была самая трезвая из нас, а кроме того, у нее были большие семейные наклонности.

Если бы не встреча с Сабатэром, она бы, наверно, лет в двадцать или немного позже вышла замуж за какого-нибудь профессора, литератора или земца. Как бы то ни было, с этим эпизодом было покончено.

Через несколько лет после разрыва с Катей Сабатэр опять появился в петербургской опере. Помню, как мы слушали «Гугеноты», сидя против сцены в ложе Ворониных. Сабатэр исполнял партию Таванна и, очевидно, узнал нас. В сцене освящения шпаг у Сен-При он так задумался, очевидно, вспоминая то время, когда бывал у нас, что в одном месте забыл вступить со своей фразой. Насколько я помню, этот эпизод не произвел на Катю особого впечатления. К сожалению, родители столько наговорили ей об ее красоте и уме, а наивность ее была столь велика, что она вообразила, что Сабатэр был увлечен ее чарами. Ей и в голову не приходило, что он принял ее за особу легкого поведения, и она так и осталась при том убеждении, что сей *prince charmant* (принц-очарователь) из сказки Перро влюбился в прекрасную незнакомку и захотел соединить с ней свою судьбу. С такими мыслями она сочла себя избранницей, всех молодых людей, оказывавших ей внимание, считала недостойными себя и вела себя с ними так высокомерно и насмешливо, что ее считали неприступной и гордой, а иногда внезапно огорошивали, на-



говорив ей дерзостей и упрекнув в ужасном самомнении и неприятном характере. За ней, конечно, ухаживали, потому что она была интересная, кокетливая и довольно хорошенькая девушка, но только один поклонник решился сделать ей предложение, когда ей было уже за 20 лет. Она, разумеется, ему отказала, хотя это был очень достойный и довольно красивый молодой человек, который ей, в сущности, нравился. Кто знает? Может быть, она была бы с ним счастлива и уж наверно не умерла бы так рано. Я хорошо помню, что в 22 года Катя была очень весела и оживлена, хотя все еще считала себя влюбленной в Сабатэра. Она находила интересными многих студентов, которые бывали у нас на субботах в ректорском доме, но эти-то более интересные как раз и ухаживали или за ее сестрами, или за их подругами, а на нее мало обращали внимания. Это действовало ей на самолюбие, она озлобилась, пробовала отбивать поклонников у других барышень, но из этого ничего не выходило, и кончилось тем, что она рано увяла и приобрела черты неприятной старой девы, завидующей молодым и мечтающей о муже. Около 30-и лет она пережила еще один роман, очень интересный, но тоже неудачный. Она встретила на журфиксе у художника Лемоха, куда ввела ее Анна Ивановна Менделеева, в числе других передвижников, собиравшихся там каждую неделю, уже немолодого, но в высшей степени интересного художника Мясоедова<sup>17</sup>. Ему было в то время, как он сам выражался,

---

<sup>17</sup> Кирилл (Карл) Викентьевич *Лемох* (1841–1910) – известный художник-пе-

«между пятьюдесятью и шестьюдесятью». Лицо у него было некрасивое, но значительное, фигура высокая и очень мужественная. Это был тип самого заправского Дон Жуана. Будучи единственным по-настоящему образованным и интеллигентным из передвижников, он был к тому еще очень умен и остроумен. Катя ему понравилась, а сама она сразу и очень сильно в него влюбилась. Между прочим, ее заинтересовало то, что художник был в Испании и знал испанский язык, которому выучилась самоучкой и Катя после разрыва с Сабатэром. Мясоедов говорил с ней по-испански во время журфиксов, и это ее очень волновало и придавало их отношениям какую-то особую интимность. Роман этот длился два года. Изредка Мясоедов бывал у нас в доме, но главным образом Катя виделась с ним у Лемохов. Мясоедов был женат, но давно уже разошелся с женой. Он настолько увлекся Катей, что даже сказал ей как-то: «Да вы, пожалуй, доведете меня до того, что я разведусь и женюсь на вас». Не знаю, чем бы кончился этот роман, если бы не вмешалась в него некая старая дева, которая тоже влюблена была в Мясоедова и, заметив его увлечение сестрой моей Катей, наклеветала ему на нее с таким успехом, что совершенно испортила их отношения. Кате пришлось прекратить знакомство с худож-

---

редвижник; *Анна Ивановна Менделеева* (урожд. Попова, 1860–1942) дилетантски занималась живописью, поддерживала дружеские связи с передвижниками (ее мемуары о Блоке: *Воспоминания*, т. 1); Григорий Григорьевич *Мясоедов* (1835–1911) – известный художник-передвижник. См.: Г. Г. Мясоедов. Письма, документы, воспоминания. М., 1972.

ником. Она была очень несчастна, т. к. на этот раз чувство ее было серьезно. Этот эпизод ее жизни имел на нее хорошее влияние: она стала не так самоуверенна, более серьезна и более участлива. К сожалению, успехи сестры Александры Андреевны вызывали в ней зависть и портили их отношения. Со мной отношения были бы совсем хорошие, если бы она не ревновала меня к той же сестре, которую я заметно и не скрывая этого предпочитала ей. Катя потеряла всякую надежду на личное счастье. Чтобы немного развеяться, она воспользовалась тем случаем, что мы с сестрой Асей и с маленьким Сашей Блоком в сопровождении матери уехали за границу, и приехала к нам во Флоренцию на смену матери, которая уехала в Россию к мужу. В зиму, последовавшую за этой поездкой, сестра Катя уже справилась со своим горем. Она зарабатывала довольно много денег переводами, рассказами и стихами, которые писала на заказ, сотрудничая в «Огоньке» и в модном журнале «Вестник моды», который издавался с литературным оттенком. Большую часть своего заработка Катя тратила на свои костюмы, она всегда была хорошо одета и имела изящный облик. В ту зиму она часто бывала в доме нашего хорошего знакомого доктора Головина, где у нее были поклонники, но не женихи среди стареющих холостяков. Издатель «Вестника моды» Альверт тоже за ней ухаживал, а в числе поклонников в доме Головина был известный драматург Виктор Крылов<sup>18</sup>. Обо всех своих уда-

---

<sup>18</sup> Виктор Александрович Крылов (1838–1906).

чах и неудачах Катя рассказывала нам с сестрой Алей (сестра Софа была уже замужем). Слушая эти рассказы, сестра Аля, к которой вернулась ее веселость, утраченная во время брака с Александром Львовичем Блоком, придумала коллективное и, так сказать, синтетическое название для поклонников сестры и называла их «Катины Крыловерты». Все эти истории ободрили Катю. Она с большим юмором рассказывала о своих поклонниках и даже не прочь была бы за кого-нибудь из них выйти замуж, т. к. ей хотелось, как она характерно для себя выражалась, «иметь свой дом и свою посуду». Однако из всего этого не вышло ничего, кроме приятного времяпрепровождения. Годы шли. Катя сделалась уже настоящей старой девой, т. к. ей было уже за 30, как вдруг ею не на шутку увлекся совсем молодой человек, брат любимого ученика моего отца – ботаника и географа А. Н. Краснова, Платон Николаевич. Между им и Катей было 11 лет разницы. Тем не менее, этот юноша был сильно в нее влюблен. Тут пошли разговоры, прогулки, цветы, конфеты и пр... Сначала сестра только тешилась, но потом и сама увлеклась, и роман этот кончился браком. Катя была очень счастлива, но жестокая болезнь почек, которая началась у нее еще до брака и сильно развилась вследствие неверного диагноза и неправильного лечения, еще усилилась во время ее беременности.

Екатерина Андреевна была замужем год с небольшим и умерла от эклампсии, после того как доктора, надеясь спасти ее, произвели ей аборт. Так кончилась в 37 лет ее короткая,

но довольно яркая жизнь. Бедная сестра моя, страстно любившая детей, так и не дождалась счастья иметь ребенка.

## Глава IV

# Шахматовский обиход

В первый день по приезде мы устраивались на летнее жилье. Прежде всего разбирали горбатый серый сундук, в котором помещалась большая часть нашего добра, привезенного из Петербурга. У отца был свой кожаный чемодан в виде гармоники, в который он клал свое белье, несколько книг, мелочи и зеленые коробки крепчайших папирос фабрики Лафери, которые он курил в изрядном количестве. У матери был маленький сундучок, обитый черной клеенкой, очень удобный и легкий, в который она клала то, что не помещалось в серый сундук. Убрыв вещи по комодам, прилаживали занавески и развешивали на гвоздиках наши скромные платья и крахмальные юбки, прикрывая их ситцевой или коленкоровой завесой. Старшая сестра Катя всегда убирала свой туалетный столик под зеркалом белой кисеей с двумя оборками по верхнему и нижнему краю, красиво расставляла разные мелочи вроде духов, пудреницы, вазочек и т. д. Она же вешала на стенах пестрые бумажные веера, раскладывала на столах и полках книги, делала букеты и проч. Все это она проделывала с большим азартом и тщанием, между тем как мечтательная и более ленивая Соня ограничивалась только самыми необходимыми заботами по уборке своих вещей. То же

самое в миниатюре проделывали и мы с Асей, так как вещей у нас было гораздо меньше. В промежутках между едой и уборкой мы, конечно, гуляли, рвали цветы, любовались желтенькими утятами и цыплятами, знакомились с дворовыми собаками и т. д.

Надо сказать, что наша обстановка и костюмы были в то время очень скромными, хотя городская мебель заказывалась у хороших столяров. Зато книг было много: всегда подписывались на один или два русских журнала и на «Revue des deux mondes», отец выписывал еще разные научные журналы, по большей части немецкие. У него была, конечно, целая библиотека научных книг на четырех языках. Литературная библиотека, далеко не полная, состояла из русских классиков в стихах и в прозе. Со временем она пополнялась. Был еще гетевский «Фауст» и Шекспир в русских переводах, в оригиналах были: полный Шиллер, «Фауст», «Книга песен» Гейне, почти все романы и пьесы В. Гюго, два лучших романа Дюма-сына и пьесы Альфреда Мюссе. Всего не упомнишь. Повторяю: книг было много, большая часть книг оставалась обыкновенно в городе, но в Шахматово всегда привозился Шекспир и Пушкин, увозимые в город обратно. Постепенно в Шахматове накопилась небольшая библиотека из старых журналов («Вестник Европы», «Вестник иностранной литературы», «Отечественные записки», «Северный вестник», «Revue des deux mondes» и др.), дублетов классиков, литературных сборников и бледно-желтых томи-

ков Таухница<sup>19</sup>, последнее, т. е. английские романы, очень любили читать старшие сестры и мать. Все это ставилось в разных комнатах на примитивных полках, так как книжных шкафов в Шахматове не было. Привозились также кое-какие ноты. В городе у матери была целая этажерка: сонаты Бетховена, Гайдна и Моцарта, многие песни Шуберта для пения, ноктюрны, вальсы и баллады Шопена, «Песня без слов» Мендельсона и оперы в фортепьянных переложениях, большей частью итальянские, в том числе «Дон Жуан» Моцарта и «Фауст» Гуно. Кроме этого, были еще три объемистые рукописные тетради, в которых мать еще в молодые годы, когда у нее не было денег на ноты, переписывала своим на редкость четким и твердым почерком отдельные сонаты Бетховена, многие отрывки из оперы Мейербера «Роберт-Дьявол» и других опер, всего шумановского «Манфреда» для четырех рук, множество старинных романсов, вальсов и других пьес. В одной из этих книг в красном переплете были и печатные ноты: романсы Варламова, Гурилева и др., «Le feu»<sup>20</sup> Калькбреннера и какие-то допотопные пьесы Бейера и др. забытых и незначительных немцев, а также «Аделаида» Бетховена для пения. Все это, увы, погибло вместе со всем, что было в шахматовском доме.

Перехожу от духовных ценностей к другой стороне шах-

---

<sup>19</sup> Таухниц – немецкая издательская фирма, выпускавшая многочисленные романы на английском языке.

<sup>20</sup> «Огонь» (фр.).



матовского быта. Для этого прежде всего надо описать нашу кладовую. Она занимала не много места, приблизительно 3 кв. аршина. По стенам были полки, на которых размещались ящики с провизией: с разными крупами, пряностями и т. д. На всех были надписи. Весной их сушили на солнце, расставив на балконе. Для белой муки и сахарного песку были заказаны особые ящики. Крупитчатая мука покупалась целыми мешками, пудов по 5, сахарный песок пудами, так как кроме сладких блюд он был нужен и для варенья. Сахар для чая и кофе покупался целыми головами, и мать колола его по большей части собственноручно с помощью особого прибора с тяжелым ножом, ходившим на шарнире и прикрепленным к низкому ящику. Чай и кофе всегда привозили из Петербурга, остальную провизию брали на станции или выписывали из Москвы. На верхней полке стояла до половины лета целая батарея больших и маленьких банок, которые в свое время наполнялись вареньем. Из Петербурга привозилось также лучшее прованское масло для салата и несколько бутылок вина, то и другое ставилось в подвал, куда спускались, подняв за кольцо квадратную доску, приспособленную в полу кладовой. На гвоздях висели безмены: один большой на пуд весу, другой маленький на 25 фунтов. На одной из полок лежала поваренная книга знаменитой Елены Молоховец, оказавшая неоцененные услуги не одному поколению хозяек.

Кладовая запиралась на висячий замок, сестра Катя са-

ма выдавала провизию и заказывала обеды и завтраки, придумать которые при малом разнообразии деревенской провизии, особенно до сезона ягод и овощей, было очень трудно, так как отец требовал, чтобы кушанья были всякий день разные, и имел довольно-таки капризный вкус. Он редко отказывался от подаваемых блюд, но часто поражал самолюбие хозяйки беспощадной критикой или замечаниями вроде следующих: «Разве это вафли?» или: «Какие же это ватрушки?» При этом частенько припоминал он незабвенного Данилу, крепостного повара, который был специалистом по тестяным блюдам в доме его покойного отца. Случалось, что, еще не отведав кушанья, он уже говорил с сомнительным видом: «Это, кажется, что-то несъедобное?» – «Да ты прежде попробуй», – замечала ему жена довольно язвительным тоном, после чего он принимался есть и весело объявлял: «Ах, нет, это очень недурно!» Надо сказать, что все эти капризы отец с лихвой возмещал своей ласковостью и веселостью.

Во время еды разговор был общий и очень оживленный. Говорили о разном: о домашних делах, о политике, о литературе. Мы с сестрой Асей вспоминали подруг и учителей. О политике говорили главным образом отец и сестра Катя, которая интересовалась только иностранной политикой и уже в ранней юности с азартом читала газеты. Во время француско-прусской войны, когда все мы сочувствовали французам, она знала наперечет всех парламентских деятелей,

покупала портреты Гамбетты, Жюля Фавра и Тьера<sup>21</sup>, но в особенности обожала Рошфора: знала подробности о его семейной жизни, читала издаваемый им журнал «Lanterne»<sup>22</sup> и т. д. Мне было в то время около 10 лет, сама я не читала газет и к политике относилась равнодушно, но отлично помню тогдашнее настроение старших: к императору Вильгельму относились с насмешкой. Бисмарка уважали (был и его портрет), но мать его яростно ненавидела. В 1875 году были другие волнения: все более или менее интересовались восточным вопросом и ждали войны <...> «турецкие зверства» всех ужасали, и стояли за то, чтобы вступить за славянское дело. Но главным образом говорили за общим столом о литературе. Тут было царство матери. Но и дочери не отставали от нее, перебрасываясь цитатами из Гоголя, Пушкина, Шекспира и проч.

Шахматовский день распределялся так же, как и в городе: утренний чай, завтрак в час дня, обед в 6 и вечерний чай около 10-ти, ужина не было. Сходясь за столом по утрам, все целовались между собой и с родителями, причем мы говорили им «ты» и целовали руку только у матери. Отец это-

---

<sup>21</sup> Леон *Гамбетта* (1838–1882) – премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881–1882, во время франко-прусской войны – член Правительства национальной обороны; *Жюль Фавр* (1809–1880) – вице-председатель и министр иностранных дел в Правительстве национальной обороны, министр иностранных дел в правительстве Тьера; Адольф *Тьер* (1797–1877) – глава исполнительной власти во Франции с февраля 1871 г.

<sup>22</sup> «Фонарь» (*фр.*).

го не допускал и никогда не позволял оказывать ему мелкие услуги вроде приношения спичек, носового платка и проч. Отношения наши с родителями были весьма непринужденные, но мы никогда не выказывали им неуважения и не были с ними ни дерзки, ни грубы, это делалось само собой. Таков был дух нашего дома.

К утреннему чаю все приходили в разное время, но пили чай не больше, чем в два приема. Всех раньше вставала мать, она успевала до чая и погулять, и пошить, и почитать. Часам к 9-ти приходил отец и мы с сестрой Асей. Мы с ней иногда запаздывали, потому что слишком увлекались глазением в окно и болтовней, которую не прекращали ни на минуту. В то время сестру Асю стали звать Алей, а меня Муля или Маля. Отец любил подчеркивать нашу неразлучную дружбу, в знак чего и звал нас вместе Муль-Аль, а в третьем лице Муль-Али. Сестру Катю называли попросту Ка, а Сонино имя переделали на английский лад и стали звать ее Софа (по-английски говорят Софайя). Это шло к ее очень сдержанной, несколько чопорной манере, английским локонам и пристрастию ко всему английскому. Старшие сестры вставали позже нас с Алей и долго одевались. У них были прически, требовавшие известного времени, и более изысканные костюмы, чем у нас с Алей. Мы с ней заплетали себе две косы и одевались как-то очень примитивно, еще не ведая искусных портных и женских изощрений.

За чайным столом, покрытым белой скатертью, сидела на

верхнем конце мать, облаченная в широкий капот из светлого ситца, с черной кружевной наколкой на голове, и разливала чай из большого самовара желтой меди, который был хорошо вычищен, но не отличался изяществом. На столе были домашние булки, свежее сливочное масло и сливки. Булки обычно пеклись совсем постные, без молока, а время от времени бывали еще круглые сдобные булочки с изюмом и кардамоном, которые поспевали обыкновенно к вечернему чаю. Молока с утра не подавали, его любила только мать и пила в другое время. Отец пил чай из особой чашки – очень крепкий и сладкий, с ложечкой домашнего варенья из черной смородины, которое подавалось в маленькой расписной посудине, привезенной из Троице-Сергиевской Лавры. Там фабриковали из какой-то особой глины чрезвычайно уютную и милостивую посуду с крышечками, отличающуюся разнообразием окраски и формы. Остальные члены семьи пили чай со сливками в одинаковых чашках веселого вида.

За завтраком в первые годы шахматовского жития, когда сестра Катя была еще неопытная хозяйка, бывало немного голодно. Иногда он пополнялся простоквашей, причем отец с самого начала объявил: «Не для меня квашня простая», – и отказался от нее наотрез. Остальные простоквашу любили. Отец же признавал только самый свежий творог с густыми сливками и сахаром. Когда поспевали ягоды, иногда подавали к завтраку землянику и лесную малину. По воскресеньям

всегда был пирог или большие подовые пироги кислого теста, жаренные в жиру или в масле. Иногда подавали за завтраком блинчатые пироги с рисом и изюмом и подливой из сладкого молочного соуса.

Сестре Кате, которая вела домашнее хозяйство, нужно было немало изобретательности, чтобы угодить отцу-гастроному и сестрам, которые тоже изрядно капризничали. Подадут, например, кашу, и вдруг сестра Аля объявит: «Я кашурки не ем». Молока она тоже не пила; чем же ее накормить, если нет другого блюда. Впоследствии, когда денег стало больше, а сестра Катя приобрела большую опытность, за завтраком всегда было два блюда, причем одно иногда мясное, вроде котлет, битков или телячьей печенки, жаренной в сметане. Эти кушанья считались для обеда слишком простыми. Простокваша и ягоды при этом не считались. Все очень любили грибы, которые часто подавались и за завтраком, и за обедом. Грибов в Шахматове и его окрестностях было множество, не водилось только груздей, зато рыжиков в ельнике была тьма. Одним из обычных блюд за завтраком были вареники и творожники, а в сезон овощей шпинат или фасоль с яйцами и гренками. Кофе за завтраком пили редко, но всегда с кипячеными сливками или молоком; обычно завтрак кончался чаем.

За обедом полагалось непременно три блюда, последнее, сладкое, заменялось ягодами в сезон ягод. К супу часто подавались разнообразные пирожки, ватрушки, гренки, ушки

с грибами, рис, запеченный с сыром, и т. д. Под осень бывали свежие щи или борщ, но бульоны чаще. Когда поспевали овощи, к вареному и жареному мясу подавались целые горы гарнира. Котлеты за обедом бывали редко, рыба тоже, ее трудно было достать: крестьяне приносили только щук да голавлей, что никому не нравилось. Ели, кроме говядины, телятины и баранины, цыплят и домашних уток. Сладкие блюда были очень разнообразны: легкие в виде кремов, воздушных пирогов и мороженого, тестяные в виде различных пудингов с сабайоном и ягодной подливой, оладий с медом, вафель и трубочек со сбитыми сливками, пышек с вареньем, пирогов со свежими ягодами и т. д.

Хорошая еда считалась в бекетовском доме очень важным делом. Это был своего рода предмет искусства, как бы культ гастрономии, обставленный многими правилами, которые соблюдались непреложно. Все подавалось, что называется, с пылу с жару, красиво разложенное и нарезанное, и приготовленное тонко, по правилам преимущественно французской кухни. Отец ел немного, но любил все изысканное и первосортное. По части закусок, которых в Шахматове, впрочем, не полагалось, признавались только лучшие сардинки, копченый сиг и осетровая икра, швейцарский сыр, домашние грибы маринованные или соленые, маринованные грузди и сыр из дичи; к чаю для гостей можно было подать бутерброды с ветчиной, с сыром, икрой, колбасой и т. д., причем булка была тонко нарезана, с обрезанной коркой, и масло нама-

зывалось тонким слоем – отнюдь не из экономии. Кильки и миноги презирались, салака подавалась редко и только с горчичным соусом вроде провансаля. Жаркое должно было быть изжарено в меру: а point, как говорят французы, т. е. не засушено и сочно без крови. Большое значение придавалось подливе и в особенности соусам. К вареной курице с рисом, сваренным из лучшего сорта до мягкости, но непременно рассыпчатым, а не комком, подавали белый масляный соус с лимоном, слегка подправленный мукой; к жареному мясу часто делали соус с маринованными рыжиками, к отварной лососине – соус из шампиньонов, были в ходу тонкие кушанья вроде суфле из рыбы, дичи или курицы – к завтраку – всегда с соответствующими соусами. Но это были кушанья городские. Говоря о соусах, отец припоминал сентенцию одного француза, составителя знаменитой поваренной книги: «On devient ratissier, on est ne so», – т. е. «искусству жарить можно научиться, но для соусов нужно иметь врожденный талант». Сообразно французской кухне, особенно ценились хорошие бульоны, и были в ходу супы из овощных и других пюре с мелкими масляными гренками. Птица резалась длинными тонкими ломтиками, а не рубилась поперек костей, отделялись только ножки и крылышки, а все вместе складывалось так, чтобы имело вид цельной птицы. Мясо резалось тонко, непременно поперек волокон. Гуси и утки подавались всегда с начинкой из яблок, никак не из капусты, подать жареную курицу или дичь с картошкой считалось мещанство.



К индейке всегда подавали каштаны и маринады.

Было бы слишком долго перечислять все ухищрения нашего кулинарного обихода. Прибавлю только, что отец всегда пил за обедом стакан красного вина, преимущественно французского, летом в жаркое время пили белое шабли со льдом и домашний шипучий квас с мятой. Отец пил еще перед обедом рюмочку горькой английской водки или французской orange amere в высоких глиняных кувшинах с нарисованным померанцем. Пиво у нас пили редко. Шампанское признавалось только французское, лучшей марки, но пили его только при встрече Нового года. Мать наша, воспитанная в бедной дворянской семье, презирала все эти тонкости и отличалась простыми вкусами, но для отца пережаренное жаркое или неудачные пирожки были сущим несчастьем, от которого он – правда, ненадолго – приходил в скверное настроение. К несчастью, дочери унаследовали от него разборчивый вкус и тонкое понимание еды. Сестра Катя умела сама сготовить целый обед и могла хорошо научить кухарку, как именно надо приготовить то или иное блюдо. Аля в свое время тоже научилась быть хорошей хозяйкой и руководить прислугой. Мы с сестрой Соней никогда не отличались хозяйственными талантами, но разбирали еду не хуже других.

У нас в семье сохранилась память о следующем случае. Во времена более поздние, когда сестры Аля и Софа были уже замужем (сестра Катя вышла замуж позже других), у нас в доме часто бывал младший брат моих зятьев Кублиц-

ких – Люциан Феликсович, которого всегда называли Лука. Он был блестящий и галантный гвардейский поручик и, несмотря на очень скромные средства, всегда подносил своим невесткам конфеты в дни их именин. В те времена было в Петербурге несколько французских кондитерских, но у нас в доме считалось, что лучшие конфеты продаются у Ballet (угол Екатерининской и Невского). У него действительно были совершенно такие же конфеты, как у знаменитого парижского кондитера Syrodin. У Bergin – тоже хорошего кондитера – брали некоторые сорта сладких пирожков, главным образом сливочные меренги, у Кучкурова некоторые торты и т. д. Лука, не искусенный в гастрономии, недоумевал, какая разница между конфетами Балла и Рабон, и был убежден, что отличить одного кондитера от другого нельзя и мы берем конфеты у Баллэ не то из важности, не то по привычке. Возник спор между ним и нами, результатом которого состоялось пари между ним и сестрой Софой. Лука принес ей по коробке конфет от разных кондитеров и предложил, завязав глаза, отведать конфет из разных коробок. О плутовстве с ее стороны не могло быть и речи, так как она отличалась самой педантичной честностью. Священнодействие началось: сестре крепко завязали глаза, Лука поставил перед ней три коробки и был уверен, что выиграет пари, т. е. она не отличит одного кондитера от другого. Сестра ощупью взяла наудачу конфету из первой попавшейся коробки и, деликатно отгрызнув от нее кусочек своими белыми зубками, ска-

зала спокойным тоном: «Это – Bergin», потом попробовала из другой коробки и сказала: «А это, должно быть, Рабон» и т. д. Угадала верно. Лука был поражен, побежден и преисполнен благоговения перед столь тонким вкусом. Впоследствии мне еще придется говорить более подробно об этом миле, но неисправимом поручике.

Мать наша, устраненная от забот по кухне, любила и умела две вещи: варить варенье и готовить маринады и соленья из грибов, свеклы и слив. Варенье она варила со страстью и редким прилежанием, делала это артистически и тратила на это целые дни. Когда появлялись ягоды, их покупали у соседних баб, девушек и детей в громадном количестве, а также собирали у себя в саду горы клубники, виктории, и смородины – черной и красной. Все это ссыпалось в большие глиняные чашки, а затем начиналась отборка ягод. Это делалось сообща впятером. Землянику и лесную малину выбирали по яголке, самые лучшие спелые и цельные ягоды отбирали на варенье, причем нужно было набрать 6 стаканов, которые клались в глубокие тарелки: это была мера для одного таза варенья. Черную смородину приходилось стричь, т. е. состригать сухой пучок на конце каждой ягоды. С крупными ягодами дело шло, конечно, скорее. У вишен вынимались косточки шпилькой. Вся эта процедура начиналась, конечно, с утра, что делалось по заведенному порядку. На дворе разводилась жаровня, которую приносили через калитку в сад и ставили у длинной зеленой скамейки в стороне от

зеленого стола, стоящего под липами. На самую скамейку и отчасти на стол приносили большую банку с сахарным песком, медный таз, ложку, несколько тарелок, стаканов и отобранные ягоды. У скамейки ставилось ведро с водою. В жаркие дни мать в ситцевой юбке и белой разлетайке с открытым воротом и откидными рукавами, отделенной вышивкой в виде сквозных кружев, которую мы называли «колесами», начинала священнодействие с того, что, положив должное количество стаканов сахара и воды, ставила таз на жаровню. Сварив сироп до прозрачности, она высыпала ягоды и, усевшись в нарочно принесенное для нее кресло красного дерева с ситцевой подушкой, зорко следила за тем, чтобы пенка не ушла через край. Время от времени она брала таз за деревянную ручку и сильным и ловким движением встряхивала его кругообразно, после чего снимала образовавшиеся пенки и клала их на тарелку. Эти пенки мы ели потом как особое лакомство с чаем. Крупные мясистые ягоды вроде клубники приходилось долго варить, другие, как, например, смородина, варились быстро. В конце концов варенье выходило образцовое: малина была ровно такого цвета и консистенции, как ей полагается, земляника не горькая, как это часто случается при плохой варке, клубника – мягкая – плавала в темном соку и т. д. Обыкновенно мать брала с собой бледно-желтый томик старого Таухница с английским романом, который читала в свободные минуты. Я забыла сказать, что несколько поодаль от жаровни ставился ящик с углями

и мать брала их щипцами, пополняя опадающую жаровню. Варила она обыкновенно до темноты, готовое варенье выливали в миски и в глиняные чашки, которых в Шахматове было целое собрание. Все эти сосуды ставились на окнах в столовой и аккуратно завязывались белым тюлем или кисеей. Мать очень уставала в конце дня, говорила, что у нее «пятки горят» и т. д., но в сущности была довольна, а на другой день после чая сливала варенье в банки, которые покрывала двумя аккуратно вырезанными кружками белой бумаги, крепко завязанными веревкой, а под ними на самое варенье клали кружок, обмакнутый в ром, который нарочно для этого привозился. На каждой банке была еще надпись на полоске бумаги с обозначением сорта варенья и числа фунтов. Мать варила также желе из черной и красной смородины и малины, а еще наполняла многие бутылки ягодными сиропами. Для этого она выжимала через кисею малину и землянику – занятие, требующее большой силы рук, после чего варила этот сок с большим количеством сахара.

Все это пишу я, конечно, не ради рецептов кулинарии, а чтоб показать, что такое было это варенное действо. Ко всему сказанному прибавлю еще, что варенье варилось в огромном количестве не только на всю семью, но и для некоторых друзей и знакомых – по целому ящику. Я забыла упомянуть о варенье из крыжовника, а иногда из барбариса и плодов шиповника, очищенных от семян. В городе варилась еще брусника с яблоками и сливы. Предоставляю читателю судить о

том, какое количество ягод и сахара потреблялось на варенье и сладкие блюда. Но ведь ягоды стоили гроши, а сахарный песок от 12–15 коп. фунт.

Кухарок брали всегда хороших и с большим разбором, но характерно то, что при большой гуманности и даже доброте хозяев, никому и в голову не приходило, что поздний обед в летнюю пору заставляет кухарку в жаркие дни целый день париться в кухне, да и вообще иметь мало свободного времени. Правда, при ней всегда была судомойка, так что от мытья целой груды посуды она была избавлена, но беречь судомойку также никто не думал. Прислугу отлично кормили и очень хорошо с ней обращались, но кухарка была завалена работой. Иногда было три тестяных блюда в день, например – вареники к завтраку, пирожки за обедом и сдобные булочки к вечернему чаю. Горничной было гораздо легче, тем более что прачка нанималась отдельная. И все же надо сказать, что на шахматовских хлебах и деревенском воздухе прислуга всегда поправлялась и была обыкновенно веселая. Кухарка в нашей семье считалась лицом очень важным, так как хорошей еде придавалось большое значение.

# Глава V

## Покупка и устройство Шахматова. Первые впечатления. Первоначальный вид и убранство

Мысль о покупке Шахматова возникла у отца после получения наследства от какого-то пензенского дядюшки (отец был пензенский дворянин). Часть денег пошла на поездку всей семьей за границу, в Швейцарию, другую решено было употребить на покупку имения в Московской губернии. Почему именно там? Да потому, что там уже были два имения родных моей матери – Трубицыно, в котором она выросла, и Дедово, имение сестры ее, А. Г. Коваленской. Эти места были хорошо известны и нам, детям. Мы там не раз жилали. Все мы любили тамошнюю природу и были близки с обитателями обоих имений. Отец мой также охотно проводил лето поблизости от родных жены, которых очень любил. В Клинском уезде было в 70-х годах три имения профессоров Петербургского университета, в том числе и менделеевское Боблово. Отец мой навел справки у Дмитрия Ивановича о продающихся по соседству от него подходящих имениях, съездил вместе с ним осмотреть два из них и выбрал последнее, которое было и дешевле, и более удачно для житья,

так как там была вполне оборудованная усадьба с хорошим домом, скотом и службами. Место отцу тоже понравилось, несмотря на отсутствие реки и вообще воды вблизи дома. Шахматово было небольшое имение в 120 десятин, из которых большая часть была под лесом. Предыдущий владелец, Языков, свел лес за несколько лет до нашего поселения в Шахматове, так что за исключением небольших рощ вблизи дома лес имел вид густого кудрявого кустарника не выше человеческого роста. Припомним строки «Возмездия»:

В то время земли пустовали  
Дворянские – и маклаки  
Их за бесценок продавали,  
Но начисто свели лески,  
И старики, не прозревая  
Грядущих бедствий...  
За грош купили угол рая  
Неподалеку от Москвы.

Внизу, под горой, на которой стоял дом, за садом, раскинутым перед ним, был колодезь, а немного поодаль от него небольшой пруд, питаемый ручьем, который в него вливался и протекал дальше по долине, огибая старый казенный лес, подходивший к шахматовской земле, и пропадал в каком-то болоте.

Шахматове было куплено весной. При усадьбе приставлен был сторож, старичок из соседней деревни, который во-



зил воду и кормил лошадей, а скотница – бабушка Катерина, смотрела за четырьмя коровами-холмогорками, за курами и утками. В доме было много мебели и даже несколько ламп. Оставалось только привезти кровати да письменный стол для отца, купить посуду и обновить обивку на мебели. Этим предварительным устройством занялась наша мать. Она поехала в Шахматово раньше всех и привезла кровати и стол отца, затем купила на станции простенькие, но милые сервизы и ситцев для обивки мебели и своими руками перебила заново несколько диванов, кресел и мягких стульев. Наняла она также пастуха, работника Гаврилу, заменившего сторожа, и прислугу, деревенскую девушку Машу, которую она научила убирать комнаты и стряпать те нехитрые кушанья, которые составляли ее обед, т. е. котлеты, яичницу и рисовую кашу. Кроме того, она с большой охотой пила молоко, непременно холодное, которое приносили прямо с ледника в крынке, и пила чай с французскими булками, купленными на станции.

Станция Подсолнечная не из важных по своему значению на железнодорожном пути, но так как через нее проходит шоссе так называемого Екатерининского тракта, она давно уже превратилась в большое богатое село со множеством лавок и даже каменных купеческих домов, с базарной площадью, где происходил торг в известные дни недели, с каменной церковью и с очень хорошей земской больницей. Вследствие этого там можно было купить любую провизию и мно-

го другого товара, а к поездам выезжали ямщики на парах и тройках с рессорными колясками. На Подсолнечной были дачи, а в окрестностях много барских имений. Она замечательна еще тем, что около нее лежит Сенежское озеро, самое большое в Московской губернии. В нем водится много рыбы, и туда приезжали в те времена ловить ее даже из Твери. Один из берегов озера лесистый, другой болотистый. В этом месте идет через озеро длинная дамба. Поблизости от него два села – Большой и Малый Сенеж.

Устраивая к нашему приезду шахматовский дом и комнаты для всех членов семьи, толкуя с мужиками о пашне, со скотницей о домашних делах, устраивая огород и т. д., мать, разумеется, была все время занята и не скучала, но сильно обо всех нас соскучилась и с нетерпением ждала, когда мы освободимся от городских занятий, а дочери от гимназии и соберемся всей семьей в Шахматове. У меня сохранилось одно из ее писем этого времени, написанное мне стихами в виде акростиха<sup>23</sup>. Прежде чем приводить его, я должна объяснить, что меня называли в детстве «мудрец». Это название придумал отец, когда мне было лет пять и я, отличаясь крошечным ростом, имела очень серьезный вид и любила поважничать своими занятиями: читала какие-то скучные истории о птицах и зверях, бездарно написанные, в детской книжке «Сияние» и уверяла, что мне это интересно, а сидела

---

<sup>23</sup> Акростих – стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют какое-нибудь имя или слово.

при этом на соломенном креслице за маленьким столиком, называя все это почему-то «моя канцелярия». В 12 лет, когда было куплено Шахматово, меня все еще называли «мудрец», хотя я уже утратила к тому времени часть своей мудрости. Как бы то ни было, мать написала мне так:

*Шахматове, 23 мая 1875 г.*

Мудрец, премудрый с колыбели,  
А не наукой умудрен,  
Не торопись к заветной цели, —  
Я знаю, ты и так умен.  
Без напряженья и без скуки  
Еще учиться должен ты:  
Копаясь в корешках науки,  
Ее не ешь до тошноты...  
Тебе пора иным питаться,  
От педагогов отдыхать,  
В поля и рощи устремляться,  
А книги в печку побросать.  
Мой друг, я не с корыстной целью  
Об этом говорю с тобой,  
Я, сидя под зеленой елью,  
Довольна ведь своей судьбой.  
О чем мне плакать, в самом деле?  
Чего жалеть? Напрасный труд,  
Когда – я знаю – чрез неделю,  
А много две – ты будешь тут!  
И тогда я тебя расцелую!

*Твоя мать.*

И вот, наконец, в один из первых июньских дней четыре сестры Бекетовы с отцом во главе поехали в Шахматово. Университетские дела остались позади, экзамены были выдержаны, и все мы в самом радужном настроении уселись в вагон II-го класса Николаевской жел. дор. Сестра Катя забыла и думать о своих романических горестях и не меньше младших сестер интересовалась тем, какое Шахматово и как мы там заживем. Все мы очень любили деревню, а так как попадали туда неизменно по Николаевской железной дороге, то знали наизусть все станции, нежно их любили и, выезжая всегда с почтовым поездом, заранее ждали: в Любани будет обед, на закате – станция Чудово, тихий вечер и Волхов в разливе, ночью – Спирово, где такие вкусные пирожки с яблоками, а утром Клин – молодая зелень и цветники около станции. Мы любили станционные звонки и дребезжащий свисток сторожа, который называли почему-то «свиристель», и постукивание по колесам дорожного мастера, и, о! как блаженно засыпали при первых подрагиваниях вагона, трогаящегося с места после стоянки. А как весело было выходить ночью на станции, пить чай в станционной зале и, если осталось время, гулять по платформе, глядя на станционную суету и вдыхая вольный воздух полей. На Подсолнечную приехали рано, около шести часов утра, но давно уже были готовы. Вышли, посидели в станционной комнате с кле-

енчатой мебелью и графином воды на желтом столе, напились чаю, который принес нам из трактира расторопный малый в белом переднике, и поехали дальше в двух экипажах: в нашей рессорной коляске, запряженной тройкой крепких буланых лошадок, и в наемном – тоже на тройке. Подвода, высланная из Шахматова, ехала с вещами и городской прислугой. День был великолепный и, боже! До чего нам понравилась и Сенежское озеро, действительно очень красивое и совершенно синее, и чья-то дача около станции с большим садом, который казался таинственным и бесконечно интересным, и бойкая станция с запертыми лавками и каменным мостом через мелкую реку, и село Новое с белой церковью, расположенное на горе в стороне от дороги, и деревянный мост через реку, протекавшую под этой горой, и густые ольхи, осенявшие реку, и все остальное. Больше всех веселилась и выражала свои чувства, конечно, Ася.

Дорога была вообще сносная, местами даже совсем хорошая, благодаря сухой погоде, но когда мы проехали последнюю деревню Старый Стан и вскоре вслед за этим въехали в казенный лес Праслово, тянувшийся на несколько верст нашего пути, дорога сразу испортилась, и начались такие ухабы, толчки и зажоры, что едва можно было усидеть на месте, но лес был великолепен. Столетние ели, березы и осины, а местами ольхи, тогда же привлекли наше внимание, нежные, еще весенние цветы, большей частью белые и голубые, восхищали нас во все время пути в перелесках и на откосах у

самой дороги. Одно из первых наших впечатлений, когда мы очутились на воле после вагона, было пение какой-то неизвестной нам по названию, но бесконечно знакомой нам птички, с которой у меня до сих пор связано воспоминание о весне и деревне, а потом зазвенели над нами жаворонки, в лесу призывно закуковала кукушка, и, наконец, где-то защелкал соловей. Все это были для нас знакомые, но вечно новые радости в нашем состоянии невинных девушек, счастливых своей первой юностью: ведь старшей из нас еще не было восемнадцати лет...

Но вот мы выехали наконец из Праслова на гладкую дорогу и проехали мимо небольшого, но замечательного Батюшковского леса с такими громадными и развесистыми елями, каких я нигде в нашей местности не видала. А вот и «Толчевское поле», уже на нашей земле, тут дорога поворачивает вниз, мы въезжаем в молодой лес, а за ним открывается вид на шахматовскую усадьбу со стороны двора, какие-то здания торчат между зеленью, направо от дороги озимые и яровые хлеба, а за ними лесные дали: зубчатые ели Праслова, сливающиеся с лесистым склоном шахматовской усадьбы, – все лес и лес, которому, кажется, нет конца, замыкает весь горизонт, а налево от дороги тоже хлеба и за ними холмы и холмы с пестрым узором пашен, лугов, хлебов и деревень, и кое-где – белые церкви...

Обе наши тройки со звоном колокольцев быстро въезжают на двор мимо кустов шиповников слева и скотной избы

справа. Громко залаяли собаки. А вот и дом – серый с зеленой крышей, с мезонином и двумя одинаковыми крыльцами, выступающими вперед. На правом встречает нас мать с сияющим лицом, простирая к нам широкие объятия. Вылезаем, долго обнимаемся с ней и что-то несвязное говорим друг другу. Она ведет нас через маленькую переднюю в столовую. Мы видим открытую стеклянную дверь, выбегаем на балкон, и первое, что мы замечаем направо от него, – это развесистая и густая яблоня, вся сплошь покрытая белыми, нежно-душистыми цветами. Точно роскошный свадебный букет, встречала она нашу светлую юность. Это была какая-то особенная яблоня, сибирская, как объяснил нам отец. У нее были жесткие, мелкие, совсем не съедобные плоды, но цветы особенно крупные, нежные, но без розового оттенка. Налюбовавшись на яблоню, мы застыли перед широкой заманчивой далью, открывавшейся в левую сторону. За нашим садом живописно вилась, сначала вниз, потом все в гору – проселочная дорога, которая вела в ближайшую деревню Гудино; в обе стороны от нее расстилались луга и пашни, а дальше, до самого горизонта леса, селенья и вся знакомая тихая ширь русской деревни. В одном месте над темной гущей деревьев белела остроконечная верхушка церкви. Издали казалось, что она утопает в чаще, а на самом деле деревья отступали от нее довольно далеко, но низ ее скрывали леса, подходившие к ней с нашей стороны. В чем заключалась прелесть этого вида, трудно сказать, но он поражал всякого человека, нерав-

нодушного к природе русской деревни средней полосы. Перед балконом была площадка с незатейливыми цветниками, за ними густым шатром поднимались старые липы, а вблизи дома и дальше виднелось много роскошно цветущей сирени.

Все это мы рассмотрели прежде всего, а потом обратились к дому. Он был одноэтажный, с мезонином – в стиле средне-помещичьих усадеб 20-х или 30-х годов XIX в. Уютно и хорошо расположенный, он был построен на кирпичном фундаменте из великолепного соснового леса, с тесовой обшивкой серого цвета и железной зеленой крышей. К дому пристроена была кухня, соединенная с ним крытыми сенями. В кухню можно было пройти со двора. Окна ее выходили в сад и во двор. Дом состоял из семи жилых комнат: пять внизу и две в мезонине. В сад с лицевого фасада выходило три комнаты, каждая по два окна, в угловой по боковому фасаду было три окна. Они были почти квадратные, глубиной около 9 аршин, шириной 8. Четвертая комната поменьше, аршин 6 глубиной и поуже, выходила тоже в сад, но с бокового фасада. В ней было одно широкое окно с боковыми узкими стеклами. Эта комната сообщалась с передней. На двор выходила только передняя и одна комната в два окна, в которую вписана кладовая, отделенная невысокими стенками, оклеенными обоями. Кладовая занимала только часть стены, так что в комнате оставалось еще много места. Отсюда вела дверь на площадку, с которой можно было спуститься по небольшой лестнице в сени, а оттуда в кухню или на



двор. Вправо за дверью с площадки шла лестница в мезонин. На верху лестницы была довольно большая площадка с оконцем, выходившим на крышу пристройки. Из него открывался уже описанный мною вид. Влево от этой площадки шел проход в мезонин, замыкающийся двумя ступенями и дверью. В мезонине было две жилых комнаты: одна большая с широким итальянским окном, выходившая в сад, и другая неглубокая с таким же окном во двор. Между ними была еще небольшая комнатка или вернее проход без окон, где были вешалки для платьев.

Нижние комнаты были высокие, а в мезонине гораздо ниже. Полы везде крашеные. В большой угловой комнате, выходившей в сад, раскраска была в узор квадратами, обведенными черными с белым каймами. Обои внизу были дорогие, очень красивые. Окна двустворчатые, без поперечного переплета, с узкими цельными стеклами наверху и внизу. Добавочные стекла были почти везде цветные: в угольной комнате голубые, в других темно-лиловые или желтые. По словам местных старожил и судя по убранству и цвету обоев, у прежних владельцев комнаты распределялись так: спальни были в мезонине, причем отдушник печной трубы был заткнут чьим-то шиньоном. Внизу было две гостиных – голубая и красная, между ними – белое зало; столовая помещалась в надворной комнате с кладовой. Там стоял между окнами овальный раздвижной стол из дуба со множеством нетвердо стоявших ножек на роликах. Там был и буфет тако-

го же дерева. В гостиных было несколько ломберных столов, указывавших на частую карточную игру. Мебель была или мягкая без дерева, частью хорошей работы, частью похуже, фасон обычный: с одной подушкой без мягкой спинки и с деревянными ручками. Была совсем плохая мебель, другого типа. Несколько настенных зеркал в тяжелых рамках красного и орехового дерева украшали стены, но стекла их были испорчены пожаром. В комнате с дрожащим столом между окнами висел почему-то большой портрет Петрарки в красках в коричневом платье со складками и в лавровом венке на голове. Других портретов или картин не было. В одной из комнат висел небольшой и оригинальный образ Калужской божьей матери без оклада с хорошей живописью, изображавшей божью мать с книгой в руках без младенца.

Распределение комнат, разумеется, было нарушено и стало таким, как рассудила мать. В средней комнате с белыми обоями, темноватой от навеса, сделанного над балконом, была столовая: в глубине ее между двумя дверями стоял буфет, посредине простой некрашеный стол, покрытый желтой клеенкой, заказанный у деревенского столяра. У одной стены стояло фортепьяно темного дерева, так называемое piano-carte, привезенное из Петербурга, где был уже куплен большой рояль. Там и сям по стенам стояли стулья и столики, у одной из стен небольшой диванчик вычурной формы, который мы с сестрами сейчас же окрестили кривлякой. Над столом висела старинная лампа с круглым белым колпаком,

на стенах две стенные лампы. В красной гостиной налево от столовой была комната отца, самая солнечная, что было ему особенно приятно; в голубой гостиной были обои с бледно-голубыми французскими лилиями на густом голубом фоне и золотыми цепочками между ними. Цвет этих обоев, а по возможности и узор мы сохраняли в неприкосновенности при дальнейших ремонтах, а эта комната всегда называлась голубой в отличие от других, где обои меняли свой цвет. В столовой мать повесила в восточном углу большой старинный образ божьей матери в золоченом окладе, в других комнатах повешены были маленькие образки или крестики. Себе мать взяла по вкусу самую тенистую комнату, которую затеняли два больших серебристых тополя, стоящие у забора, сейчас за калиткой, которая шла со двора в сад. В комнате отца стоял между окнами старый письменный стол ясеневое дерево с зеленым сукном и двумя ящиками без колонок, подаренный каким-то приятелем в первые годы его женитьбы. У противоположной стены была кровать и большой умывальный стол с двумя тазами и кувшинами, как принято было в нашей семье. В углу была большая печка, за дверью стоял ясеневый шкаф для белья против него у свободной стены диван без дерева, обитый белым с розовым ситцем. Несколько кресел красного дерева, очень удобный соломенный стул с ручками у стола и большое зеркало в простенке довершали убранство комнаты.

У матери был простой умывальный стол деревенской ра-

боты, покрытый клеенкой, против кровати зеркало в раме красного дерева с подзеркальником, в котором был ящик, а внизу тонкая резьба в виде точеных стрелок. Красивый ореховый стол полированного дерева с ящиком и фигурной подставкой для ног служил письменным столом и стоял боком к окну, на котором висела старая ситцевая занавеска с букетом белых цветов, разбросанных по светло-серому фону. В углу стояло большое кресло без дерева с высокой спинкой, а перед столом у окна – стул красного дерева с мягкой подушкой и деревянными ручками. Направо от туалетного стола стоял комод красного дерева.

Голубая комната предназначалась для старших сестер. На окнах были тюлевые занавески, в простенке лицевой стороны висело продолговатое зеркало в ореховой раме под воск. Рама была худшей работы, чем все остальные, но зато это было единственное зеркало в доме, не испорченное пожаром, под ним был такой же подзеркальник со стрелками, как у матери. В глубине комнаты против окон почти всю стену занимал диван-оттоманка, с валиками, обделанный в раму красного дерева. Мать обила его голубым ситцем с белыми полосками. Та же материя была и на подушках тех кресел, что стояли там и сям по стенам и у круглого стола посреди комнаты. И кресла и стол были красного дерева. У свободной стены, против боковых окон стояла кровать. В углу у печки, топка которой была в смежной комнате, занимаемой матерью, стоял умывальный стол. В комнате было еще шесть сту-

льев простой работы, обитых серой клеенкой, комод красного дерева и два круглых столика на одной ножке. На них и на большом столе расставлены были букеты сирени.

Нас с сестрой Асей поместили наверху, в большой комнате, выходящей в сад. У нас убранство было попроще, но все-таки был свой комод, умывальный стол, небольшой туалетик с зеркалом, диванчик без дерева, обитый пестрым ситцем, несколько кресел с мягкими подушками и небольшой клеенчатый стол для писанья с ящичком. На столах были глиняные кувшинчики с букетами полевых цветов. Обои тоже были попроще, но веселые: зеленые с розовыми цветочками. Мы были от всего этого в восторге, но, главное, смотрели на липы, шумевшие под окном, на сад, открывавшийся во все стороны, и вообще на виды. Непосредственно под окном нашей комнаты была покатая крыша балкона, сделанная из толя. Кстати опишу и самый балкон. Он был немногим шире столовой, в которой между двумя окнами помещалась стеклянная дверь. Крышу балкона поддерживали спереди четыре столба. Два средних соответствовали двери, от них шла в обе стороны простая балюстрада из прямых перекладин, по бокам балкона на террасе стояли скамейки, низ балкона был обшит тесом, с террасы шел спуск из семи ступеней.

В надворной комнате мезонина поселили старую няню, которая нянчила нашу покойную сестрицу Лилу. В Шахматове ей поручено было смотреть за полевыми работами. Это была энергичная и умная вологодская крестьянка, давно пе-

реселившаяся в Петербург. Она была далеко не мягкого нрава, но детей очень любила и ласкала. У нее был птичий профиль, довольно хищный. Она ходила в темных ситцах и в белых чепцах, нюхала табак и была очень богомольна. Звали ее Платонида Ивановна. Она очень одобряла Шахматово и не раз повторяла, что «папа даже не ошибся».

В передней нижнего этажа убранство было скудное: железная вешалка, небольшой стол и два стула. На одном из двух узких окон стоял фильтр для воды с краном. Не было даже зеркала. В глубине столовой было две двери: одна вела в переднюю, другая в небольшую комнату с узким окном – во двор, которая сообщалась с той, где была кладовая. В этой комнате был стол в виде доски, укрепленный между стенами. На нем ставили самовары и кое-какую посуду. К одной из боковых стен был приделан шкаф с полками, доходивший до половины стены. Там помещалась домашняя аптека. Горничная спала в надворной комнате около кладовой, за ширмами, кухарка в кухне, а прачка во флигеле. В большой скотной избе с русской печкой и двумя комнатами помещались скотница, пастух и два работника. Об них скажу подробнее после.

# Глава VI

## Шахматовский двор и сад

Когда мы приехали в Шахматово, дорога, идущая со стороны Подсолнечной, проходила через двор мимо дома и, минуя шахматовские владенья, шла дальше через деревню Гудино, стоящую за версту с лишним от Шахматова. Впоследствии дорогу отвели в сторону, но пока живы были наши родители, через шахматовский двор то и дело проезжали окрестные крестьяне: то на Подсолнечную, то в торговое село Рогачево, лежавшее в 12-ти верстах от Шахматова, а после Успенья (15 авг. ст. ст.), когда начинался сезон деревенских свадеб, чуть не каждый день лихо проскакивали мимо нас телеги с молодыми, со свахой и поезжанами и раздавались пьяные песни. Но это в скобках...

Вся шахматовская усадьба была обнесена забором, а пашни и гумно отделялись от дороги околицей. Сад, в свою очередь, отгорожен был от двора забором, который окружал его со всех сторон. Двор, выходявший на северо-запад, имел веселый и оживленный вид. Среднюю часть его занимали две большие круглые куртины цветущих кустов, обнесенные низкой оградой из зеленых столбиков, соединенных перекладинами. В клумбах преобладал розовый шиповник. «Стеной шиповника душистой // Встречал въезжаю-

щего двор» («Возмездие»). Особенно сильно разрослась та клумба, мимо которой приходилось въезжать на двор с подсолнечной дороги. Кроме шиповника, в ней было много кустов белой таволги и корнуса (cornus). Не знаю русского названия этого растения: у него упругие и гладкие красные стебли и довольно крупные листья яйцевидной формы. Оно цветет мелкими белыми цветами, составляющими небольшие пучки, но зелень его эффектна. Таволга была из того сорта, у которого сильно разрезные, наподобие рябиновых, листья, ломкие стебли и белые цветы, которые бывают очень красивы, пока они еще не распустились и их крупные бутончики, плотно сидящие на больших красноватых ветках, напоминают зерна красноватого жемчуга. Распускаясь, эти цветы покрывают всю ветку желтовато-белым пухом и теряют всю свою прелесть. В другой куртине был особый сорт бледного и нежного шиповника, который не так заполнял всю клумбу, так что там оставались пустые места, которые мы засадили вскоре самбуком, неприхотливым растением, выпускающим из земли высокие толстые стебли с зонтиками мелких и грубых белых цветов.

По краям двора расположены были службы и флигель. Прямо против большого дома стоял хлебный амбар. К нему вела от дома тропинка, протоптанная в траве между куртинами. Левее амбара при самом въезде во двор со стороны станции стоял флигель. Ехали мимо него и, обогнув большую куртину, сворачивали к дому. С этой стороны двор за-



мыкался непрерывной стеной. Под углом к садовому забору шел надворный фасад так называемой скотной избы, где жили шахматовские служащие (работники, скотница и пастух), а дальше – боковая стена скотного двора. С противоположной стороны, по другой линии двора был ледник с двускатной тесовой крышей, а в дальнем углу, прислоненное вплотную к забору, стояло длинное здание так называемого каретного сарая.

Начну описание надворных построек с амбара. Он был очень правильной симметричной формы с крутой тесовой крышей красного цвета и полукруглой аркой над входной дверью. По обеим сторонам амбара были совершенно одинаковые низенькие сарайчики с покатыми крышами, сливавшимися с крышей амбара: в одном из них хранились разные инструменты и доски, в другом складывались дрова и жила летом цепная собака. Внутри амбара были крепкие дубовые закрома. Отец называл в шутку амбар пантеоном.

В 70-тых годах вид флигеля, считая ближайшее окружение, несколько отличался от того, как описан он мною в биографии Блока. Это был тот же самый бревенчатый домик с крытой террасой, окруженной решеткой из прямых баясин. Крыша в то время была тесовая, красного цвета, но вокруг флигеля не было ни ограды, ни живой изгороди, только с той стороны, где был въезд во двор, флигель заслоняли кусты шиповника и сирени. Перед террасой с покатым навесом, которую мы называли галерейкой, была площадка,

усыпанная песком. С этой стороны был вход во флигель. В нескольких саженях от галерейки у ближайшей стены амбара рос огромный куст лиловой сирени с темными листьями, а поблизости от него стояла одинокая сосна оригинальной формы: верхушка ее была сломлена бурей и росла вширь, образуя плоскую крону наподобие итальянских пиний, так хорошо знакомых по видам Неаполя. Галерейка занимала целую стену, но в ширину была не более двух аршин. В правом углу была дверь, ведущая в сени. Здесь была лестница на чердак, где сушили белье в дождливую пору, и три двери: правая вела в пристройку, служившую для известного употребления; средняя, в глубине сеней, вела в небольшую комнату, в которой жили только в крайних случаях, так как там было сыро от слишком близко подходивших кустов; левая дверь, тяжелая, одностворчатая, вела в жилые комнаты флигеля. Их было всего четыре с общей печкой посередине. Прямо из сеней входили в полутемную комнату с окном на галерейку. Направо от нее была комната с видом на часть двора, примыкавшую к скотной избе. Вторая половина жилого помещения, обращенная в сторону дома, состояла из двух очень светлых комнат, которые между собой сообщались. Все комнаты были маленькие и низенькие, с одним окном, дверь была только в комнате, расположенной направо от темной. Внутри флигеля не было ни обоев, ни тесовой обшивки. В первый же год, если не ошибаюсь, мы обили стены флигеля ради тепла картоном и оклеили дешевенькими обо-

ями, купленными на станции. В комнате с дверью жила первые годы наша бабушка, А. Н. Карелина, рядом с нею кто-нибудь из прислуги; остальные предоставлялись гостям.

Скотная изба состояла из двух комнат. В меньшей, выходящей на двор, была русская печка с лежанкой, в большой было два окна в сад на солнечную сторону. Вход был со двора через длинные крытые сени, в глубине которых устроены насесты для кур. Налево из сеней была дверь в избу, направо – крутая лестница, выходящая на скотный двор, окруженный сараями для скотины и высоким частоколом с воротами, которые выходили на гумно, откуда выгоняли скотину на дорогу и дальше.

Последняя из надворных построек – каретный сарай с тесовой крышей и воротами – служила для экипажей и разной хозяйственной утвари, в числе которой был каток для белья. В наше время там не было никаких карет, но стояла хорошая рессорная коляска с кожаным верхом и фартуком, да еще одна тележка без рессор и без верха. На гвоздях развешаны были хомуты, вожжи и прочая конская сбруя. Тут же стояли обыкновенно телеги. В сарае было очень просторно и пахло дегтем, пол был деревянный, из тесаных бревен, с покатым настилом на двор для вкатыванья и выкатыванья экипажей.

Под высокой крышей было много ласточкиных гнезд. В первые годы шахматовского житья мы с сестрой Асей любили ходить в сарай и рассматривать разные остатки старой мебели. Большая половина сарая была обыкновенно пустая, и

потому там с удобствами располагались приходившие из соседних деревень столяры и обойщики, подновлявшие нашу мебель. Особенно часто являлся черный и смуглый Афанасий с густейшими курчавыми волосами, такой же бородой и круглыми черными глазищами. Мы с сестрой Асей часто заходили в сарай во время его работы и любовались на вновь обитые кресла и мягкие стулья, а самого Афанасия считали очень симпатичным и находили, что он очень похож на Олоферна<sup>24</sup>.

Все пространство двора, не занятое строениями и клумбами, было покрыто травой. В одном месте забор между домом и скотной избой вдавался в сад пологой дугой. Здесь росли два молодых серебристых тополя, а под ними стояли две длинные скамейки, на которых часто сидели мы в ожидании гостей, так как отсюда видна была подсолнечная дорога и еще издали слышны были колокольчики подъезжавших троек.

---

<sup>24</sup> *Олоферн* – библейский герой, убитый красавицей Иудифью.

# Сад

Шахматовский сад очень трудно описывать. Это было бы просто, если бы он был похож на сады многих подмосковных усадеб средней руки, которые мне приходилось видеть, а именно: правильный прямоугольник перед домом с двумя аллеями по бокам, в конце его пруд, река или поле. Между аллеями или открытая луговина, прорезанная посередине дорожкой, или пространство, засаженное деревьями, с аллеей посередине.

Шахматовский сад имел форму неправильной вытянутой трапеции. Кроме того, в нем было множество извилистых дорожек, идущих в разных направлениях, и везде какие-то неожиданные уголки и повороты. Он был невелик, но очень своеобразен и привлекателен. Главную прелесть его составляли старые деревья разных пород, расположенные аллеями и красивыми группами, и виды, которые открывались с различных точек, а причудливая путаница дорожек придавала ему большое разнообразие. В нем не было никаких особых затей вроде фонтанов, беседок и мостиков, но это был поэтический сад старопомещичьих русских усадеб, очень тенистый, но несколько не мрачный. Шахматово вообще отличалось веселым и уютным характером, что объясняется тем, что оно расположено на холме, а сад обращен был на юго-восток. Во многих русских усадьбах северной и средней по-

лосы сады и парки обращены на север, что придает им или мрачный, или меланхолический вид. Наш сад окружен был забором, тонувшим в зелени, и канавой, заросшей бурьяном. Из глубины его против лицевой стороны дома поднимались кусты шиповника среди зарослей мелких деревьев:

Снится – снова я мальчик, и снова любовник,  
И овраг, и бурьян,  
И в бурьяне – колючий шиповник,  
И вечерний туман.  
Сквозь цветы, и листья, и колючие ветки, я знаю,  
Старый дом глянет в сердце мое...

*(Блок. «Приближается звук...»,  
из третьей книги стихов поэта)*

План, приложенный мною, поможет читателю разобраться в лабиринте нашего сада и даст понятие о его расположении. Сад был разбит на юго-восточном краю холма, занимаемого усадьбой. Большая лужайка А представляла собою пологий скат к линии трапеции, обозначенный цифрой II, а лужайка В и нижняя часть Д круто спускались к линии III. В конце лужайки Г был огород и парники, по линии IV за огородом виднелась группа старой черемухи, а сейчас за нею начинался ряд высоких и толстых елей, доходивших до ската лужайки В. Липовая аллея, разделявшая верхнюю часть сада приблизительно пополам, составляла стержень, от которого расходились в обе стороны поперечные дорожки.

По обеим сторонам балкона под окнами росли два громадных куста жасмина<sup>25</sup>, они красиво выделялись темной зеленью на серой окраске дома, а в пору цветения сияли белизной и благоухали под жужжание пушистых шмелей. Перед домом, на площадке, усыпанной песком, было первоначально четыре цветника с дерновыми валиками: в середине круглый, по бокам его два закругленных продолговатых, а впереди еще один овальный. В первые годы мы засевали их незатейливыми цветами вроде ярких настурций, голубых белдежуров, анютиных глазок и т. д. Позднее стали привозить летники, сажали резеду, левкой, флоксы, вербену и проч., но все это выходило довольно плохо, потому что было затенено ей всех сторон деревьями и кустами.

К левому краю площадки подходила целая заросль розового шиповника, направо была лужайка, в глубине которой поднималась стена бледно-лиловой сирени, которая все больше и больше наклонялась вперед по направлению к солнцу, а на краю лужайки, ближайшем к дому, росла красивая яблоня, о которой упоминалось в начале главы. В глубине площадки за цветниками начиналась липовая аллея, уходившая вправо. Липы были старые и очень густые. Местами деревья расступались, давая место поперечным дорожкам. В ряду лип у выхода площадки в аллею росли две прекрасные

---

<sup>25</sup> Точное название этого растения филадельфус, оно не имеет ничего общего с настоящим вьющимся жасмином, мелкие желтоватые цветы которого пахнут совсем иначе, распространяя сильный запах жасминных духов.

сосны; особенно хороши они были в час заката, когда стволы их принимали медно-красный оттенок. Под сенью лип на площадке ставился летом большой зеленый стол. Здесь в сухую погоду пили утренний чай, завтракали и обедали. Позади стола вплотную к стволам деревьев стояла длинная зеленая скамейка, другая такая же стояла поодаль от стола в другом направлении, под углом. За ней поднималась стена акаций, и на заднем плане поднимались большие деревья. В этом тенистом углу у скамейки мать по целым дням варила варенье на традиционной жаровне:

В темноте на треножнике ярком  
Мать варила варенье в саду...

*(Фет)*

На лужайке Г вблизи дома против бокового фасада тоже было несколько цветников, но и здесь сильно мешали деревья. С этой стороны:

Огромный тополь серебристый  
Склонял над домом свой шатер...

*(Ал. Блок. «Возмездие»)*

Этих прекрасных тополей было два. Они стояли в саду у забора, близ дома, сейчас за калиткой, которая вела во двор. Их могучие стволы с неровной серой корой наподобие слоновой кожи были в несколько обхватов, а длиннейшие ветки



осеняли и сад и двор, распространяясь на далекое пространство. Большинство цветников на этой лужайке мы уничтожили. Сейчас за дорожкой, которая шла под широким окном той комнаты, где жила мать, виднелась круглая куртина, засаженная розами и шиповником. Розы были простые, так называемые «уксусные», обыкновенного розового цвета и довольно растрепанные. В куртине были и более нежные белые с серединой телесного оттенка.

Отец развел в саду прекрасные ирисы, белые нарциссы и кусты прованских роз, нежные розово-алые цветы которых роскошно цвели среди лета. Особенно хорош был высокий куст в круглом цветнике перед окном пристройки (первоначально кухни), он долго цвел, весь усыпанный цветами, уподобляясь библейской неопалимой купине.

Нарциссы и ирисы были посажены по сторонам изогнутой дорожки, разделявшей лужайки «а» и «б». Нарциссы зацвели весной в мае, образуя зыбкую белую гирлянду вдоль изгибов дорожки. Их опьяняющий запах разносился по всему саду, особенно вечером:

В час, когда пьянеют нарциссы  
И театр в закатном огне...

*(Блок. «Стихи о Прекрасной Даме»)*

Когда они отцветали, их высокие хрупкие стебли и узкие листья завядали, сохли и, наконец, совсем пропадали, а летом из земли поднимались жесткие остроконечные листья и

между ними высокие сильные стебли, на которых расцвели пышные ирисы с их причудливой формой и затейливой пестрой окраской: темно-лиловые с желтизной, переходящей в дымчатые тона, голубые с белым, красноватые с желтым и т. д.

Там и сям разбросаны были по лужайкам ягодные кусты, вишневые деревья и яблони, несказанно украшавшие сад во время цветения. На перекрестках дорожек, а иногда посреди лужайки попадались то белые розы, то клумбы белой и розовой таволги, то куртины рыжевато-красных лилий. На краю одной из дорожек была рбатка с пионами двух сортов: ярко-красных, махровых и розовых, немахровых. Во многих местах попадались одичалые турецкие гвоздики, венерины колесницы (по-народному – голубки) и царские кудри. Одним из главных украшений сада была сирень трех сортов: розовато-лиловая, белая и голубоватая. Она виднелась и на дворе у флигеля, и среди сада, а главное вдоль забора. Всего красивее был полукруг, огибавший лужайку А. Тут были высокие кусты лиловой и белой сирени. Они отличались особенно сочной зеленью и почти заглушали акацию, посаженную позади них у забора. Именно эту сирень мы чаще всего рвали для букетов. Солнечная лужайка А, окаймленная полукольцом сирени, связана в моем воображении со стихами сестры Екатерины Андреевны «Сирень» («Поутру, на заре...»), положенными на музыку Рахманиновым.

Крутой короткий спуск с левого края площадки приво-

дил к «нижней дорожке». Так называли сестры Бекетовы ту аллею, которая шла вдоль забора, огибая нижнюю часть сада. Здесь живописно сплетались корни развесистых старых берез. В начале аллеи стояла простая деревянная скамейка (других и не было в Шахматове). Отсюда был виден луг за садом и чужой лес, поднимавшийся по ту сторону дороги против шахматовского холма. Здесь дожидались мы часто восхода луны, а поздним вечером или ночью смотрели, как луна озаряла окрестность и бросала яркие пятна среди теней неровной дорожки. В конце аллеи была калитка, которую кто-то назвал Тургеневской. Ее положение в укромном углу в части сада, удаленной от дома, действительно наводило на мысль о романтических встречах и тайных свиданиях, тем более, что она неожиданно выводила в длинную неправильную аллею, которая круто спускалась к пруду, осеняемая с обеих сторон целым лесом из старых елей, сосен, ольхи и берез.

Одним из любимых мест в саду был «березовый круг». Так называли мы небольшую площадку в глубине сада, которую обступали кольцом очень высокие старые березы. В глубине площадки стояла полукруглая скамейка, где проводили мы целые часы, ведя между собой значительные или просто веселые разговоры. К березовому кругу можно было подойти разными путями, свернув с липовой аллеи в глубину сада (см. план). Последний из этих поворотов представляла собой тенистая аллея, которую мы называли кленовой толь-

ко потому, что в начале ее росли молодые кудрявые клены, под которыми стояли друг против друга скамейки. Это место было веселое: отсюда был виден огород, дом и лужайки, а за кленами шли серебристые тополя, которые были немногим моложе тех, что росли у дома, но далеко не так хороши. На лужайке Ж, подходившей к березовому кругу, была красивая группа берез и елей, а на свободном месте рос одинокий клен, молодой, высокий и особенно стройный. В золотом осеннем наряде он виден был издали и положительно освещал весь сад сиянием своей листвы.

Не этот ли стройный клен внушил Блоку его юношеские стихи:

Я и молод, и свеж, и влюблен,  
Я в тревоге, в тоске, и в мольбе  
Зеленю, таинственный клен,  
Неизменно склоненный к тебе.

*(31 июля 1902 г.*

*«Стихи о Прекрасной Даме»)*

На лужайке Д была лучшая во всем саду плакучая береза, под которой похоронили однажды мою собаку Пика (см. мою книгу «Ал. Блок и его мать»). Недалеко от этой старой березы было уютное местечко, где сестры Бекетовы любили сидеть с работой или читать. Это было подобие беседки из разных деревьев, между которыми на расчищенном месте стоял небольшой стол и скамейки. Нельзя не вспомнить еще о той

«раскидистой рябине», которая упоминается в отроческих стихах Блока, обращенных к собаке Дианке:

Но ни к пастырю в долине  
Я не смог свой слух склонить,  
Ни к раскидистой рябине  
Взор умильный обратить.

Эта рябина стояла у края лужайки А близ главной площадки и была хорошо видна из той комнаты, где жил Блок гимназистом. Рябина росла одиноко и потому особенно широко раскинула свои ветки, которые начинались так низко, что на них удобно было сидеть. С этим деревом связано много интимных воспоминаний шахматовской жизни.

Мы очень любили свой сад и находили в нем тысячу радостей. Хорошо было просто гулять по саду, весело было рвать цветы, составляя бесчисленные букеты из садовых и полевых цветов. Со страстью охотились мы за белыми грибами, которых было особенно много под елками. Мы каждый день обходили грибные места, причем самой зоркой и удачливой была сестра Катя. В саду водилось множество певчих птиц. Соловьи заливались около самого дома в кустах шиповника и сирени, и целые хоры их звенели из-за пруда и со стороны рощ и лесов, подходивших к нашей усадьбе. На липы в солнечные летние дни любили прилетать иволги. Они оглашали сад своим звонким свистом и мелькали яркой желтизной, перелетая с одного дерева на другое. Дрозды всех сортов во-

дились во множестве. Они трещали, свистели и прыгали по лужайкам и по деревьям. Оживленный крик дятла и стук его крепкого носа раздавался в стороне дуплистых берез. Среди лета неизменно прилетала пара горлинок, и в глубине сада раздавалось их нежное воркование. Белки водились в самом саду и приходили к нам в гости из окрестных лесов, привлекаемые еловыми шишками и кустами орешника, которого много было в саду. Часто мы, притаившись, следили за их игрой и смелыми прыжками с ветки на ветку. Заметив людей, они сердито щелкали и скрывались из виду, мелькнув пушистым хвостом среди зелени. Отсутствие охотников и уединенность места придавали смелости и зверям, и птицам. Одно лето в смородинном кусте поселилась даже зайчиха с семейством. Ворон и грачей в усадьбе у нас не водилось. Иногда прилетали сороки. В сумерки и по ночам прилетали совы, привлеченные обилием птиц и летучих мышей. Вокруг дома летали и садились на крышу маленькие совы, издающие резкий крик вроде звука: кю-и, кю-и. А иногда хохотали и завывали большие совы. В лунные ночи они перелетали в саду с одной дуплистой березы на другую, и мы с сестрами прислушивались к их разнообразным крикам. Видеть их можно было только на лету или неподвижно сидящими на крыше какого-нибудь строения. Их протяжные стенящие крики, совсем похожие на призыв человека в беде, раздавались иногда очень издалека, из глубины казенного леса, и часто пугали меня во время ночной бессонницы, но когда

они приближались, я понимала свое заблуждение. Не знаю, когда было лучше в саду. Ранней весной молодая листва рисовалась на голубом небе, в прохладном воздухе пахло черемухой, купы которой белели в разных местах сада, а в сумерки виден был тонкий серп молодого месяца, трепетали бледные звезды и соловьи заливались в кустах. Немного позднее роскошно цвела сирень, зацветали нежные вишни и яблони. А среди лета в пору зрелости трав и сенокоса разливался:

И запах роз под балконом  
И сена вокруг...

*(Фет)*

В июле вспоминались стихи Полонского «В глуши»:

И откуда, откуда тот ветер летит,  
Что, стряхая росу, по цветам шелестит,  
Веет запахом лип и, концами ветвей  
Помавая, влечет в сумрак влажных аллей?

А осенью, осенью, когда сад расцветивался золотом лип, кленов и берез, сиявших среди темной зелени елок и сосен, было, право, не хуже, чем летом. А впрочем, осень – мое любимое время года. Я люблю, когда:

Свежеет воздух, птиц не слышно боле,

...

И льется тихая и ясная лазурь

На отдыхающее поле.

*(Тютчев)*

А какие виды открывались из окон и из разных уголков сада! Направо виднелись лесные дали, налево – уже описанная мною ширина русских сел и полей:

И дверь звенящая балкона  
Открылась в липы и в сирень,  
И в синий купол небосклона,  
И в лень окрестных деревень.  
Туда, где вьется пестрым лугом  
Дороги узкой колея...

...

И по холмам, и по ложбинам,  
Меж полосами светлой ржи  
Бегут, сбегаются, к овинам  
Темно-зеленые межи,  
Стада белеют, серебрятся  
Далекой речки рукава...

*(А. Блок. «Возмездие»)*

Недаром назвал Блок нашу усадьбу «благоуханной глушью» (см. его автобиографию.) Мы жили очень уединенно. Даже ближайшая деревня сверх обычая оказалась очень далеко, более чем в версте расстояния, а подходившие с разных сторон леса еще усиливали впечатление глуши и обособленности нашего летнего приюта.



# Глава VII

## За чертой усадьбы.

### Пруд и долина на полях

В первый же день водворения в Шахматове мы обошли все уголки сада. Пройдя по нижней дороге (см. «Сад»), мы открыли калитку, которая ее замыкала, и перед нами открылся неожиданный вид: за калиткой оказалась неправильная узкая аллея, которая круто спускалась вниз среди заросли сосен, елей, берез и кустов. Она вела к пруду и кончалась у обрыва, переходившего в луг, который шел до самой воды. В конце аллеи была скамейка, с которой открывался вид на пруд и видна была шедшая по левому краю его плотина, заросшая травой и кустами. За плотиной поднимались большие деревья; ниже и левее их, у лужайки, виднелась группа толстейших елей, а еще левее – заросль ольшаника. В тени этих деревьев был проход на дорогу, которая шла к колодцу. За прудом поднималась так называемая *Малиновая гора*, поросшая лесом, за которой кончались в правой стороне наши владенья, примыкавшие с того края к казенному лесу *Праслово*.

В пору нашего водворения в Шахматове пруд был невелик, а, по рассказам старожилков, по нему когда-то ходили лодки и в одном месте был островок. Он обмелел после того,

как срубили сосновый бор, покрывавший Малиновую гору, о присутствии которого в старину свидетельствовали огромные пни, торчавшие у самой реки. Теперь же поднималась на месте бора чаща совсем молодого лиственного леса, перемежанного с елями, а пруд неудержимо мелел с каждым годом. Плотины были сделаны в широкой его части, там, где выливался из него ручей, шедший издалека, со стороны Праслова, но во время половодья плотины всегда прорывало. Мы несколько раз ее чинили, но безуспешно, и наконец бросили это бесплодное занятие. В первые годы нашего шахматовского житья еще можно было купаться в пруду и в нем водились караси; в последние – пруд усох наполовину, но в пору весеннего половодья, когда он наполнялся, а ручей вздувался, образуя целые водопады, уже из сада был слышен гармоничный шум бегущей воды. Летом ручей тихонько бежал по песчаному ложу, пробираясь по камушкам, а около его прозрачных вод цвели в изобилии незабудки. Старожилы говорили, что именно из того соснового бора, что сведен был с Малиновой горы, и построен был, помнится, Богенгардтом тот шахматовский дом, в котором мы жили.

Пруд лежал в глубокой долине, по одному краю которого бежал ручей, осеяемый столетними елями и березами. С этой стороны поднималась Малиновая гора, а с другой – крутой склон шахматовского холма, поросший могучим еловым лесом. Правее пруда долина становилась все уже и уже и постепенно зарастала чащей молодого ольшаника. В одном ме-

сте, где склон был менее крут, еловый лес расступался, давая место лужайке, по которой вилась тропинка, шедшая вверх и приводившая к большому лугу, о котором будет сказано ниже. Несколько кудрявых дубов и берез, росших в полугоре <?> близ тропинки, отмечали это место, выделяясь на темной зелени елок.

# Колодезь

Совсем другой вид был за нижней дорожкой. С этой стороны шахматовский холм спускался вниз большой луговиной. На верху холма, поблизости от нижней калитки, разбросано было несколько сосен, а дальше до самого низа шел цветистый луг, где в год нашего прибытия в Шахматово виднелись чуть заметные березовые кустики. Впоследствии из этих кустиков выросла целая роща, что и видно на снимке, сделанном в 1894-ом году, т. е. через 19 лет после покупки Шахматова. По крутому спуску этого холма мы с сестрой Асей, тогда еще девочки, очень любили кататься. Мы ложились на траву параллельно забору и скатывались вниз до самой дороги, шедшей внизу под горой. Эта дорога вела к колодцу, который был расположен левее пруда, на краю небольшой лужайки, поблизости от ручья. К этому месту выходила одна из дорожек, спускавшихся с Малиновой горы. Колодезь представлял собой родник, обделанный в сруб с деревянной крышкой. За ним поднималась чаща молодого ольшаника. Близ ручья и на лугу виднелись целые заросли царицы лугов (или донника). Ее желтовато-белые метелки на высоких стеблях с темной зеленью издавали сладкий и пряный запах, а у ручья цвели незабудки. По ту сторону начинались вскоре чужие владения.

Отдаленность от дома колодца и трудность подъема в го-

ру на обратном пути с тяжелой бочкой воды представляла большое неудобство. Не раз принимались мы рыть колодезь в других местах, но из этого ничего не вышло. С нижней дорожки сада, а еще лучше с той скамейки, которая стояла у забора сейчас за садом, была хорошо видна дорога к колодцу и слышно было поскрипывание колес. Старый работник Гаврила, нанятый, помнится, в год нашего водворения в Шахматово, все еще жил у нас, когда мальчику Блоку было лет пять. Фигура Гаврилы в синей рубашке, шагавшая за лошадьё, которая везла водяную бочку, то и дело виднелась на дороге, и маленький Саша, который считал Гаврилу очень важным лицом, называл эту дорогу *Гаврилиной*. Название это осталось за ней до конца нашего шахматовского житья. Набрав воды в колодце, Гаврила потихоньку отправлялся обратно и, обогнув холм, въезжал на «Собакин двор», как всерьез называл наш двор маленький Саша Блок, считая, что самое интересное на дворе – это собаки, жившие там в разных закоулках у амбара.

## Соседи

На границе нашей усадьбы, там, где выбегает в поле гудинская дорога, росло несколько старых берез. На зеленом пригорке под садом около пограничных берез любила сидеть наша прислуга за чаепитием или кофеем, с песнями и разговорами. Сюда же приходили по вечерам гудинские «ребята» побалагурить и поухаживать за девушками. Направо от дороги шли цветистые луга соседнего имения. Шагов за триста от нас дорога разветвлялась и сворачивала вправо к помещицкой усадьбе, земля которой подходила вплотную к шахматовской. От нас видна была только группа старых лип, заросль ольхи и березы, да какой-то сарай. Отсюда и начиналась «усадьба чья-то и ничья», упоминаемая в «Возмездии». Выражение это не только поэтично, но и буквально верно, т. к. за время нашего житья в Шахматове владельцы усадьбы менялись три раза, а бывали периоды, когда она стояла заброшенной и там никто не жил. Имение это называлось Никольское. Когда мы приехали, оно принадлежало помещицам Трегубовым. Гуляя по соседнему лесу, который виден был с Гаврилиной дороги, мы с сестрой Асей встречали иногда двух старушек в темных ситцевых платьях, но знакомства с Трегубовыми наша семья не водила, т. к. новых связей в деревне мы вообще не заводили, находя, что их довольно и в городе.

Именье Трегубовых, по словам старожил, составляло когда-то третью часть большого поместья, принадлежавшего одному и тому же владельцу, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Богенгардт. Кроме Никольского, было еще Верхнее и Нижнее Шахматово, Верхнее – наше, а Нижнее подходило к нашей земле с другой стороны. Усадьба была поблизости от реки Лутосни, на низком месте, близ деревни Осинки. Эти три именья были, как мне говорили, даны в приданое трем дочерям. Самое маленькое было Нижнее Шахматово (60 десятин земли), которым владел в наше время купец Зарайский, а потом его наследники: дочь и зять Анкудимов. Мы там никогда не бывали. В Никольском бывали в то время, когда там никто не жил. Один только раз мы с матерью посетили помещицу Портнову, которая была купеческого звания. В именье был живописный спуск в сторону Гудина, под горой с другой стороны протекал ручей, а, самое усадьба много уступала нашей. Там был небольшой сад, состоявший из одних елок, и длинный одноэтажный дом, перед которым виднелся цветник, где разведены были розовые пионы и еще какие-то многочисленные цветы. Все вместе было как-то неуютно и мрачно, но луга и лес были прекрасны. Наш сад был разбит, вероятно, Богенгардтом, после него, если не ошибаюсь, именье перешло в руки купца Толченова, чьим именем называлось то поле, выходившее на Подсолнечную дорогу, где паслось наше стадо, но почему именно ему присвоено было это название, я не знаю.

# Орешник

Сейчас за двором в стороне Гудина начиналась налево от дороги большая лужайка, в конце которой была роща под названием «Маршешников лес». У самой дороги был чисто еловый лес. У подножия толстых развесистых елей виднелись моховики и плеси, засыпанные хвоей. Под елками у дороги и у забора, замыкавшего рощу на границе владений Зарайского, находили мы в конце лета и осенью сотни белых грибов. Дальше от дороги ели попадались все реже. Здесь росли главным образом березы и осины, а на опушке, огибавшей луг под прямым углом от линии елок, была густая заросль орешника. Мы начали осмотр леса с этой опушки. Высокие кусты густого орешника сразу бросились нам в глаза. Тут же нашли мы впервые и ландыши. Под этим впечатлением мы с сестрами, а за нами и родители, стали называть эту рощу «Орешником». Тем более, что мы еще не знали тогда ее настоящего названия. В дальнем конце рощи был одинокий дуб, очень толстый, кучерявый и свежий, который рос у самой опушки.

Дорога, шедшая со стороны Гудина, пересекала двор и выходила с другого конца в сторону станции. Налево от нее, сейчас за двором, виднелся обширный луг. Это было так называемое гумно, по двум сторонам которого под углом к дороге шли хозяйственные постройки. По линии, ближайшей к



двору, видна была задняя стена скотного двора, конюшня и небольшая баня, на другой стоял ряд сараев: ближе к дороге большая рига, в которой держали сено, а впоследствии молотили рожь и овес, затем небольшой сарай и овин с током для молотьбы. В глубине гумна поднимались, стоя рядом посреди луга, две большие стройные ели, под которыми стояла скамейка. Гумно было красивое место. За уютной банькой виднелась группа одичавших яблонь и вишен, которые росли в углу сада за огородом. Две сторожевые ели были так велики и обособлены среди луга, что по ним за много верст можно было узнать шахматовскую усадьбу с той стороны.

Луг шел и дальше. За скамейкой он понижался к тому месту, где были дубы и тропинка (см. выше). Левее гумна он тянулся за садом, постепенно переходя в чащу больших деревьев, сливавшихся с еловой рощей, которая спускалась по склону крутого холма в долину пруда. Слева лужайка упиралась в ту заросль, среди которой шла аллея, приводившая к пруду.

На гумно выходили ворота скотного двора, через которые выпускали скот на дорогу и дальше на пастбище. По обеим сторонам дороги шла околица, которая отгораживала гумно, поле, луг за двором и пашни, которые занимали пространство в несколько десятин направо и налево от дороги. По выходе со двора направо росли за околицей несколько старых черемух и елей. Сюда примыкало поле, расположенное за флигелем, амбаром и остальной частью двора и доходив-

шее до опушки орешника по той его линии, где рос одинокий дуб. Большая часть этого поля была под картофелем, а сейчас за амбаром виднелись клубничные гряды, обнесенные частым плетнем с калиткой. За этим полем начиналась большая лужайка, которая доходила до самой пашни, немного отступая от которой шел ряд высоких елей, посаженных, вероятно, с целью защитить это место от северо-западных ветров.

Еловая роща, спускавшаяся по склону холма в долину, кончалась приблизительно против того места, где начиналось Праслово. Здесь скат был значительно ниже и менее крут. По плоскогорью, постепенно идущему вверх по обеим сторонам дороги, и были расположены пашни. Со стороны долины к ним примыкали лужайки, к которым, то отступая, то приближаясь, подходил частый еловый лес. Он был гораздо моложе рощи над прудом и несравненно ниже по качеству. Когда мы водворились в Шахматове, он был еще молодой. На самом дальнем его участке, за последней пашней, на пригорке была поляна, среди которой стояла одна высокая елка, а молодой ельник перед ней расступался так, что с этого места открывался далекий вид за пределами Шахматова. Наша усадьба видна была с задней стороны: за пашнями виднелись сараи, а из-за них торчали верхушки двух больших елок, что росли на гумне. Этот вид не раз рисовал впоследствии Блок. Правее поляны и дальше за нею еловый лес начинал мешаться с ольхой и березой. Он доходил до са-

мой дороги, на правой стороне которой был тоже небольшой участок нашего леса. В этом месте дорога была ужасная, и приходилось ехать шагом, экипаж переваливался с боку на бок, попадая то в одну, то в другую глубокую колею, ветки деревьев хлестали по лицу так, что приходилось отстранять их руками, – но это продолжалось не больше десяти минут, после чего лошади выезжали на открытое место.

Приблизительно посредине той части дороги, которая шла по открытому пространству до леса, стояла у дороги скамейка, с которой открывался перед лицом сидящих вид на лесные дали, с другой стороны виднелись дальние деревни, раскинутые на высоких холмах, а на самом горизонте, на западе – бобловский лес.

Этот горизонт с «зубчатым лесом» зарисован был Блоком в 1899 году с пометкой «4 июня с горки»<sup>26</sup> и с вопросительным знаком, как бы ставящим под сомнение, действительно ли этот лес, замыкающий горизонт, есть бобловский, т. е. менделеевский, лес, вблизи которого жила «в своем терему» она, властительница всех его дум в те отдаленные годы. Конечно, не раз сидел на этой скамейке одинокий поэт и, всматриваясь в горизонт, сочинял приводимые ниже строки «Стихов о Прекрасной Даме»:

Там, над горой Твоей высокой,

---

<sup>26</sup> Так называли мы это высокое место, где любили сидеть, особенно по вечерам на закате

Зубчатый простирался лес...  
На дальнем золоте заката  
Стоял стеной зубчатый лес...<sup>27</sup>  
Ты горишь над высокой горою,  
Неподвижна в Своем терему...

Итак, на дороге стояла скамейка. С этого места хорошо было следить за экипажем, отъезжающим на Подсолнечную. Сначала видно было, как он въезжает в лес, постепенно пропадая из глаз в лесной чаще, немного погодя он опять появлялся на открытом месте за лесом и сворачивал влево. Три, четыре секунды его еще было видно, потом он окончательно исчезал из виду, но долго еще слышался звон колокольчика.

Еще лучше было ждать приезда близких или гостей, сидя на той же скамейке. Долго, бывало сидим мы молча и напрягаем слух. И вот звякнул вдали колокольчик. Едут! Едут! Немного погодя видно уже, как из лесу показывается морда коренника с дугой, под которой болтается колокольчик, а затем и вся тройка, которая спускается в небольшую впадину и затем быстро въезжает на наш пригорок. Тут мы уже срываемся с места и бежим к дому, чтобы встретить там долгожданных гостей.

---

<sup>27</sup> Второе двустишие – неточная цитата из стихотворения Е. А. Бекетовой.

# Прогулки за пределами Шахматова

Излюбленным местом прогулок поблизости от усадьбы был казенный лес Праслово, куда отправились мы в первые дни по приезде. Туда можно было пройти двумя путями. Дорожка, шедшая от колодца на Малиновую гору, приводила через лесную заросль к границе наших владений. Один лес переходил в другой. В первые годы нашего пребывания в Шахматове легко было заметить, где кончается Малиновая гора и начинается Праслово, потому что Малиновая гора представляла собой чащу высоких кустов попеременно с лужайками, а прасловский лес был старый. Мы предпочитали другой путь по нашей долине, мимо ручья, по лужайкам. Прасловские ели стояли высокой стеной, а перед ними стлался ровный зеленый луг, упирившийся в травянистые скаты шахматовского холма. Вскоре нашли мы удобный проход из долины в Праслово. Тут было уютное местечко, которое мы сразу заметили. Чуть отступая от леса, лежал у ручья большой серый камень плоской формы, на котором могло усестись несколько человек. У меня сохранился рисунок пером, сделанный отцом, изображающий камень со всем, что его окружает, и самого отца, сидящего на камне, и собаку Буяна. У камня стояли громадные развесистые ели, нижние ветки которых лежали на моховинах. Под ними мы поздним летом неизменно находили несколько великолепных белых грибов.

Пройти в лес не всегда было удобно по причине болотистой почвы, но в сухое время мы проходили легко и попадали на лесную дорогу. Здесь было темно и прохладно, хвоя засыпала все пространство между деревьями, травы почти не было, но в одном месте мы набрали на ландыши. Они были здесь не такие, как в орешнике. Там водились низкорослые с круглыми цветами и светлой листвой, здесь же были высокие с удлинёнными цветами и темной листвой. Описанная мною дорожка в первый же раз привела нас на широкую поляну, где мы всегда сидели на поваленных деревьях и пнях. Она заросла густой цветистой травой, вокруг нее по опушке стояли вперемешку с елями высокие кудрявые осины такой толщины, каких я не видала в других лесах нашей округи.

В Праслове вообще были редкие по высоте и силе деревья. Мы очень полюбили эту веселую и залитую солнцем поляну, выведившую на простор и на свет из таинственного и молчаливого сумрака леса. Здесь было много цветов и певчих птиц, между тем как в еловой гуще водились только совы, ястребы и другие хищники. От этой поляны шло множество лесных дорог, выведивших на Подсолнечную дорогу и в другие места. Лес тянулся на много верст, и в нем легко было заблудиться. Впоследствии мы узнали многие из этих путей и еще одно место, где рос на поляне одинокий ясень, большая редкость в Московской губернии, где морозы не дают развиваться этому дереву, так часто встречающемуся в Ленинградской губернии и в самом Ленинграде.

Малиновая гора хорошела на наших глазах по мере вы­растания леса. В какие-нибудь десять лет она превратилась в густой смешанный лес, где преобладала береза и было много крушины, орешника и т. д. Она тоже была изрезана лесны­ми дорогами. Скоро изучили мы все ее поляны, заповедные грибные места и т. д. На одной из сыроватых полян Прас­лова цвели по веснам толпы высоких купальниц. Очевидно, именно это место, где попадались там и сям и обросшие мо­хом упавшие деревья, навело впоследствии Блока на мысль об его стихотворении «Золотисты лица купальниц» (II-ой т. «Твари весенние»).

# Глава VIII

## Тетя Соня

Чуть ли не первый, кто приехал к нам в Шахматово, была знаменитая тетя Соня, известная под этим именем не только в широком кругу родных, но и знакомых. Это была старшая сестра нашей матери, Софья Григорьевна Карелина, единственная незамужняя из семьи Карелиных. В молодости она была некрасива: рыжеватые гладкие волосы, бесцветные глаза, длинное лицо с выдающимся подбородком и худощавая фигура, к которой очень не шли тогдашние моды, с обтянутым лифом и кринолином. Но в старости она пополнила, черты лица ее смягчились, волосы стали белы, как снег, а лицо приобрело такое милое выражение, что никому и в голову не приходило, что оно когда-нибудь могло быть неприятно. Все, знавшие ее только в старости, были уверены, что она была в молодости очень красива. Высокий рост придавал ей известную величавость, маленькие, красивой формы руки и ноги говорили о породе. Часто бывает, что некрасивые, но добрые люди, проведшие очень хорошую, чистую жизнь, к старости хорошеют. Так случилось и с тетей Соней. Она всегда была очень добра, но в молодые и в зрелые годы у нее был тяжелый характер, который еще обострился под влиянием неудачных романов и успехов в жизни. Сестры ее одна за



другой вышли замуж и разъехались по России, она же осталась одна в деревне с матерью и хозяйственными заботами. Правда, мать она обожала, а деревню любила, не прочь была и от хозяйственных забот, но по зимам тосковала в своем углу, а бывали тяжелые годы, когда мать уезжала и она оставалась в своем Трубицыне одна-одинешенька.

Тетя Соня была одних лет с моим отцом, следовательно, в год покупки Шахматова ей было 50 лет. В то время она приобрела уже свой прекрасный старческий облик. При этом пользовалась хорошим здоровьем, прямо держалась, быстро ходила, голос у нее был звонкий, зубы белые. Мы встречали ее всегда очень радостно. Она часто приезжала на своих лошадях прямо из Трубицына, которое было за 70 верст от Шахматова в соседнем Дмитровском уезде; вид у нее был старомодный, как и весь ее склад и понятия. Некоторые стародевические слабости не мешали ей быть бесконечно милой и симпатичной. Сняв свою старую шляпу и тальму, то и другое таких фасонов, каких давно никто уже не носит, она начинала весело болтать и в то же время ласково со всеми здороваться. Ее преобладающей чертой была бесконечная доброта и доверчивость: все у нее были хороши, красивы и милы. Почувствовав симпатию к новому человеку, она в ту же минуту наделяла его прекрасными качествами, которых часто у него не водилось, и оставалась в уверенности, что он очень ее полюбил. При этом она отличалась жизнерадостностью, из всего на свете делала праздник и часто приходила в

восторг. Разумеется, Шахматово ей очень понравилось. Она мигом все осмотрела и нашла, что все у нас прекрасно. Она очень радовалась, что «мои Бекеточки», как она с нежностью нас называла, приобрели такое хорошее имение. Ко всякой домашней работе она с радостью спешила присоединиться. Если она заставляла, например, своих племянниц за чисткой апельсинов для компота к обеду, она немедленно восклицала: «Апельсины чистить? Ах, как весело! Давайте я буду с вами».

Как все Карелины, она обладала даром слова и юмором, но чаще других сестер пересыпала свою речь французскими словечками и фразами, – в таких случаях, когда прекрасно можно было сказать то же самое по-русски, часто буквально переводя русское выражение совсем не в духе французского языка. Это была одна из ее слабостей, которая ничуть не мешала ее милому облику. Любовь свою распространяла она на всех, но особенно любила маленьких детей. Когда мы ходили с ней гулять в Гудино, она разговаривала со всеми бабами, причем делала нам в сторону замечания на французском языке в таком роде: «Mais il y a deux jolies femmes ici»<sup>28</sup>, – а если завидит на руках ребенка, сейчас его подхватит, начнет ласкать, подбрасывать и петь ему какую-то веселую песенку, вроде следующей: «И шумит, и гудит, словно ветер идет» и т. д.

Ее везде любили за ласковость, доброту и веселость При-

---

<sup>28</sup> А вот две красавицы (*фр.*).

слуга сразу начинала чувствовать к ней симпатию. Молодежь к ней всегда льнула, потому что она сама ее любила и входила в ее интересы. Кроме того, она рассказывала массу интересного из времен своей молодости, а знакома она была с такими людьми, как Боратынские, Дельвиги, Аксаковы, Чичерины, а позднее и Тютчевы. Немного слишком любила она царскую фамилию, титулы и прочее в таком роде, но все это выражалось совершенно наивно и пропадало в избытке ее прекрасных качеств. Она была не только исключительно добра и щедра, но еще и в высшей степени независима и благородна. Получая после отца какую-то ничтожную пенсию вроде 13 рублей в месяц, она жила на доходы с имения. Трубицыно было значительно больше Шахматова. В нем насчитывалось десятин 300. В именье был хороший строевой лес и пойменные луга. Жить можно было, не делая долгов, но тетя Соня не умела соблюдать экономию. Не то чтобы она роскошно жила или наряжалась, нет, обиход ее был скромн: простой, хотя и не грубый стол, очень умеренный, так как ела она очень мало, простые платья, сшитые или своими руками, или у дешевой портнихи. Держала она то одного, то двух работников, скотницу и трехрублевую бабу для домашних услуг. Лошадей и коров бывало и несколько. Шесть баранов, да десятка два кур, гусей и уток – вот и все ее хозяйство. Не очень аккуратно платя жалованье, она много тратила на подарки. Поедет, бывало, в Москву за пенсией и навезет всяких обнов: ситца, платков, табаку и т. д. Она охотно раздаривала и

то, что было у нее в доме. Получит, например, в подарок от богатых соседей старый ненужный им тарантас, а сама снимет со стены одну из копий в золотой раме с известной картины, нарочно заказанной когда-то хорошему художнику, и пошлет с обратным. Мать моя каждый год посылала ей из Шахматова то мешок овса или ржи на посев, то мешок картофеля. Тетя Соня примет дар с благодарностью, напишет милое письмо: «Спасибо, друг Лиза, уже как ты меня раздолжила» и т. д. А там, смотришь, в один прекрасный вечер показывается на дороге телега, а поверх ее торчат какие-то непонятные предметы: оказывается, это тетя Соня прислала нам со своим работником живого гуся и живую индюшку к именинам нашей матери (5 сентября ст. ст.). Помню, что гуся этого долго держали, должно быть, откармливали, ему было, вероятно, очень скучно одному, и он частенько отправлялся гулять по гудинской дороге, очевидно, ища подругу. У нас жила тогда кухарка Устинья, ловкая костромская баба приятного вида, которая обожала этого гуся: «Красавец ты мой», – говорила она ему, высунувшись из окна кухни, под которым он гоготал, ожидая подачи, а когда он уходил, отправлялась его искать и сама приводила его обратно.

В другой раз тетя Соня приехала прямо из Трубицына в тележке, к которой привязан был сзади молодой доморощенный конек – роскошный подарок специально для верховой езды одного из моих племянников. Помню, как тетя Соня, легко соскочив с тележки, достала из-под сиденья хлеба и

стала сейчас же кормить им конька. Так-то отдаривала она натурой за полезные дары моей матери. Но деньги водились у нее редко. Время от времени сводила она какой-нибудь лес и на полученные деньги платила запущенные налоги, жалованье прислуге и проч. У нее было много друзей, которые все ее очень любили, и время от времени она ездила то в знаменитую Мару – именье Боратынских в Тамбовской губернии, о котором потом рассказывала преувеличенные чудеса, то в Премухино к Бакуниным и т. д. Она была очень общительна и всякому развлечению радовалась, как дитя.

Не обладая блестящими способностями моей матери, она была все же очень и очень приятной собеседницей: ее живость, умение рассказывать и запас интересных воспоминаний делали ее разговор очень привлекательным. Доброта ее проявлялась в очень серьезных случаях. Так, если нужно было походить за трудной больной, друзья и родные часто поручали ей это дело, и она, бросив все свои дела, уезжала в Москву и по целым месяцам выносила причуды своей душевнобольной племянницы или трудный характер морфинистки, оставленной на ее попечение родственниками больной. Если какая-нибудь бедная родственница оказывалась лишенной последних средств, ее брала к себе на иждивение именно тетя Соня; случалось ей и поворчать на свою жилищу, и даже ее обидеть, но кров и пищу давала ей все же она, а не другие родные. У нее вечно жили какие-то старушки, которым некуда было деться. А то вдруг явится из провин-

ции друг детства без места, в дырявом платье и без копейки в кармане, и по ее приглашению живет у нее подолгу в ожидании места, которое должно свалиться ему с неба, пока он благоденствует на ее харчах. Из ее писем к бабушке Блока Бекетовой видно, что наша мать тоже немало помогла тете Соне в ее заботах об этом беспутном «Мите», у которого было даже где-то разоренное имение. Она присылала тете Соне для него то деньги, то старое платье. С добродушным юмором описывала тетя Соня, как принимал заботы о нем беззаботный друг детства: «Второго июля 1899 года, Трубицыно. – Была весело встречена своими сожителями» (по возвращении из Шахматова). «Митя очень доволен макферланом (т. е. разлетающей моего отца), а сюртучок маловат, но нашли большие запасы, дело поправимое, он, впрочем, ни за что не благодарил, но сказав: „Это, пожалуй, что очень кстати“, – надел и ушел гулять. Потом портной принес отлично сшитое все новое платье, – повторилось то же, нарядился, показался и спереди и сзади – и ушел. Съездил к Троице к Фоминскому (муж хорошей знакомой сестер Карелиных). Тот по крайней доброте своей взялся обо всем хлопотать за \*\*\* – и землю ему продавать, и место приискивать, и наш Митя снова преисполнился высокомерных надежд и мечтаний, предоставив все Фоминскому, а сам растянулся на зеленом оттомане и с утра до ночи читает Эберса „Уарду“, – кушает, гуляет и почивает после обеда три часа сряду, вечером играет в преферанс с Пелагеей Лукиничной (другая

иждивенка) и знать ничего не хочет, в Москве брать место в губернском правлении, кажется, раздумал, ибо диваны мягки, в окна пахнут розы, кушанье в известные часы готово, а он в лежке чуть ли не сутки напролет и в ус не дует» и т. д.

Но сшить все новое старому другу и продолжать его содержать тетя Соня могла, конечно, только благодаря щедрому дару нашей матери, которой пишет в письме от 7 июля того же года: «25 рублей твои, благодетельная фея, получила. Безмерно благодарю». Бабушка Блока, которая с 1890 года много работала в журнале «Вестник иностранной литературы», пользовалась всяким случаем, чтобы из своего заработка помочь и тете Соне, и той бедной родственнице, которая у нее жила, посылая той небольшое, но ежемесячное пособие.

Живя в своем Трубицыне, тетя Соня коротала долгую зиму чтением и шитьем. Тут тоже помогала наша мать: она подписывалась для нее на журнал «Вестник иностранной литературы» и дарила ей бесчисленные приложения к этому изданию. Зимой тете Соне часто приходилось туго: ее одолевало безденежье, которое особенно чувствовалось при вечных ее постояльцах. В таких случаях она продавала обыкновенно какую-нибудь лишнюю лошадь и кое-как справлялась. А нередко и тут выручала ее щедрая сестра: то пошлет ей ящик провизии, то просто денег. Нелегко жилось тете Соне зимой, особенно с тех пор, как умерла ее мать и она взяла к себе бедную родственницу, которая была ей очень не по душе; но с наступлением весны она совсем оживала и писала

нашей матери письма, полные самых восторженных изъяснений радости по поводу расцвета природы и своего благополучия. «У меня просто рай теперь, куда ни взглянешь», – пишет она 7 мая 1899 года. «Сад выметен чисто, огород посажен, крупные кисти черемухи, зеленый лист всюду. Благоухание чистейшего воздуха – и веселые лица нарядного народа в нынешний год, сытого и довольного, все пашем, сеем. У меня вчера два прелестных жеребеночка родились – и как это все весело, мудро и даже красиво в природе устроено...» И дальше: «Я здорова и очень деятельна снова и 24 часов мне мало на мое милое хозяйство, очень интересное и в большом порядке содержанное, несмотря на малые средства». Хозяйство ее само не так уже хорошо, как ей казалось при ее розовом взгляде на вещи, но она его действительно очень любила и, не в пример нашей матери, проводила целые дни в полях и в лесу, сама наблюдая за полевыми работами. У нее было много лугов, и она за право пасти у ней стадо (крестьянам соседней деревни Якшино) очень дешево, с небольшим числом подсобных поденщиц, снимала и убирала свой сенокос, вывозила навоз и т. д. С крестьянами она была в наилучших отношениях, чему способствовало и обхождение ее, и доброта, а также то, что она многих лечила. Один раз она спасла от смерти мужика, которого пырнула рогом корова. За ней приехали вечером зимой из небольшой деревни, и она, захватив с собой нужные инструменты и материал, села в дровни и сейчас же отправилась куда следо-



вало, а на месте храбро зашила мужику живот и спасла его. Случалось ей и детей принимать у баб, и мало ли еще что.

Расскажу еще один случай из ее жизни, очень для нее характерный, и тем закончу свой рассказ о тете Соне. Однажды зимой в лесную сторожку, находившуюся недалеко от Трубицына, зашел прохожий, который попросился ночевать. Самого сторожа не было дома, а приняла прохожего его жена, которая жила в лесу с целой охапкой детей. Мужика накормили и положили спать, а ночью он зарубил топором всю семью из-за несчастного двугривенного, с которым и скрылся. Пока не приехал следователь, крестьяне ходили смотреть на убитых, и вот на второй день после убийства к тете Соне пришел знакомый мальчик из соседней деревни, который рассказал тете Соне, что одна из девочек, зарубленных мужиком, как будто жива: один глазок смотрит. Тетя Соня немедленно снарядила дровни, взяла с собой лишнюю теплую одежду и отправилась в сторожку. Она взяла девочку и, укутав ее, свезла домой, а там отогрела ее горячими бутылками и убедилась, что она в самом деле жива. Рана на голове была не смертельна и, благодаря морозу, не загноилась. Тетя Соня выходила девочку и взяла ее на воспитание. Этой Маше было тогда года четыре. Тетя Соня выучила ее впоследствии грамоте и сделала из нее горничную. Маша не отличалась ни красотой, ни особым умом или бойкостью. Когда она выросла, к ней присватался костромской плотник Дмитрий, который работал с артелью над какой-то постройкой у тети

Сони. Тетя Соня в своей сентиментальной наивности вообразила, что между Машей и Дмитрием завязался роман, но никакой любви тут не было: Маша была непривлекательна и ничем не взяла, просто ловкий костромич рассчитывал на то, что добрая и «простая» барыня не оставит своими милостями ни его, ни свою воспитанницу. И не ошибся. Тетя Соня сыграла свадьбу на свой счет, сделала Маше приданое и устроила молодым спальню в амбаре, обив стены розовым коленкором. Мать наша, трунившая над этой романтической затеей, говорила нам, что, наверное, тетя Соня приготовила для молодых в виде угощения вымя с незабудками. Как бы то ни было, молодые зажили в розовом амбаре, а, немного погодя, на клочке земли в несколько десятин, который тетя Соня подарила Дмитрию. Он построил там дом из ее леса, огородил свое владение забором и завел свое хозяйство. Нрав у него оказался крутой: он жестоко бил жену, но, когда родился первый сын Ларион, тетя Соня взяла его к себе и с упоением нянчила, несмотря на протесты отца. Она баловала этого Ларю до последней степени, не расставаясь с ним ни на миг. Однажды, глядя на это неразумное баловство, одна из гостивших у нее более трезвых родственниц спросила у нее по-французски: «Que veux-tu en faire?» (Что ты хочешь из него сделать?) «Mais un charpentier!» (Да плотника!) – отвечала в полной наивности тетя Соня, не подозревая, до чего ее воспитание не подходит к этому назначению. Мальчик послужил яблоком раздора между тетей Соней и Дмитрием.

Отец, естественно, желавший сам воспитать своего наследника и будущего помощника, – косился на кулаках и стал во всеуслышание грозить, что убьет Софью Григорьевну. Она подала на него в суд, и его, кажется, удалили. Конца этой истории я не помню, но знаю, что, кроме Лари, были и другие дети. Ларю тетя Соня отдала в ученье. Из него вышел довольно плохой щеточник. Впоследствии тетя Соня его женила, и он стал ее соседом, так как отец его, кажется, вскоре умер.

Все это показывает, что тетя Соня была более добра, чем практична и разумна, но облик ее был очень цельный и глубоко симпатичный по своей непосредственности, бесконечно доброй жизнерадостности и доброте. У нее был, что называется, легкий характер, т. е. она ни над чем особенно не задумывалась и принимала жизнь, как она есть, легко радуясь и терпеливо перенося невзгоды. Мне придется не раз еще вспоминать о ней в течение этой книги.

# Глава IX

## Мамаечка

Прабабушка Блока Александра Николаевна Карелина, которую звали в семье «мамаечка», гостила у нас в Шахматове много раз, приезжая на целое лето. Большую часть дня она проводила у себя во флигеле за каким-нибудь рукодельем и за чтением журнала «Revue des deux mondes» («Обозрение старого и нового света»). Она читала и перечитывала преимущественно путешествия и статьи по истории. Утром бабушка пила у себя в комнате кофе с топлеными сливками и необыкновенно вкусными московскими сухарями, густо посыпанными крупным сахаром, а, являясь в большой дом к завтраку или к обеду, часто говорила: «Ну, братцы, какой я вчера интересный *увраж* прочитала!» И затем сообщала нам вкратце содержание «увража». При появлении мамаечки все шли к ней навстречу здороваться, отец почтительно целовал ей ручку и говорил ей *вы*. Они были большие друзья. Мамаечка была худощавая брюнетка среднего роста с орлиным носом и карими глазами, говорила по-русски очень правильно и хорошо, но по временам вставляла в свою речь фразы на прекрасном французском языке. Ходила она в неизменном черном шерстяном платье, с пелериной, очень простого покроя, и в белом кисейном чепце с плюеными оборочками и

всегда носила с собой монокль в золотой оправе на золотой цепочке. Работала она в очках, но когда хотела что-нибудь рассмотреть, брала монокль, висевший на пуговке. В холодную погоду надевала она черную кофту из пухлого плюша, которую ее внуки называли в детстве «полканкой», находя, что она похожа на шерсть дворовой собаки Полканки.

В кармане у бабушки всегда была золотая табакерка с римской мозаикой на крышке. Она до конца жизни нюхала табак, но делала это очень аккуратно и вообще была очень опрятна.

История бабушки Александры Николаевны такова. Она была дочь гвардейского офицера Семенова. Родилась в Оренбурге. Мать ее, рожденная Плотникова, была женщина умная, но знала только грамоту. Желая дать своей единственной дочери хорошее образование, она отвезла ее в Петербург и отдала в лучший пансион для благородных девиц m-me Шредер, где преподавали, между прочим, такие учителя, как Плетнев и Греч. Там Сашенька Семенова выучилась французскому, немецкому и английскому языку и всему, что требовалось по части наук и манер тогдашней барышни. «Я, друзья мои, была ведь красавицей», – говорила нам бабушка. Будучи брюнеткой, она презирала блондинок и называла их белобрысыми, а о красоте своей рассказывала разные чудеса. Будто бы это про нее сказал Пушкин<sup>29</sup>: «Вокруг лилейного чела // Ты косу дважды обвила». В семиде-

---

<sup>29</sup> В «Бахчисарайском фонтане», описывая красоту Заремы.

сятых годах она ездила в Казанский собор с внучкой Асей разыскивать образ св. Варвары, который по слухам, разумеется, очень давним, походил на нее. По свидетельству дочерей, она была действительно очень хороша. Вернувшись из Петербурга в родной Оренбург, она вскоре вышла замуж за поручика артиллерии Григория Силыча Карелина, человека гениальных способностей, но некрасивого. Вышла она не по любви, а «par dépit», как тогда говорилось, т. е. с досады на кого-то, кто не ответил на ее чувства. Кто был этот неблагодарный, я не знаю, бабушка его не называла, но про свой брак откровенно говорила: «В один прескверный день, дети мои, вышла я замуж». В ее записной книжке, где наполовину по-французски, наполовину по-русски были записаны главные события и чувства ее жизни, я прочла: «Что может быть хуже неудачного брака? Какое томление, какую тоску чувствуешь в сердце!» И далее: «Что принесешь ты мне, время неизвестное?» Ответ через много лет: «Соня, Надя, Саша, Лиза».

Григорий Силыч Карелин был весельчак и шутник, за что сильно поплатился в молодости. Окончив курс в первом кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, он вышел прапорщиком и вскоре за отличные способности и прекрасный почерк был зачислен в собственную канцелярию Аракчеева. Прослужив благополучно и, надо думать, с большой скукой с 1817 по 1822 год, Григорий Силыч имел неосторожность в стенах канцелярии пропеть перед молодыми товарищами со-

чиненную им колыбельную песенку на Аракчеева, да еще тут же нарисовал карикатуру на известный герб Аракчеева с девизом: «Без лести предан», а именно: изобразил чертика и подписал под ним «Бес лести предан». Можно себе представить, как потешались его сослуживцы. Но, очевидно, кто-то донес об этой шутке, т. к. веселого поручика прямо из канцелярии без всяких объяснений посадили в фельдъегерскую тележку и увезли в Оренбург, где он был зачислен в одну из артиллерийских рот тамошнего гарнизона.

Эта ссылка была исходным пунктом всей дальнейшей карьеры Карелина. В городе его очень полюбили, но он... все-таки сильно скучал и со скуки занялся естественными науками, к которым всегда чувствовал склонность. В этом помог ему профессор Казанского университета Эверсман, с которым он близко сошелся. В короткое время Григорий Силыч изучил все главные отрасли естественных наук, совершая экскурсии в окрестностях Оренбурга. Его блестящие способности и знания были замечены начальством, и уже в 1823 году он был послан по высочайшему повелению в Киргизскую степь как участник экспедиции полковника Берга – в качестве топографа. Он участвовал в нескольких сражениях с киргизами и с успехом исполнил возложенные на него работы. С этого времени начались его путешествия, цели которых были очень разнообразны. Исследуя различные местности Средней Азии и Сибири, он делал подробные описания края и собирал богатые коллекции – ботанические, зоо-

логические и минералогические. Насколько разностороння была его деятельность, можно судить по перечню трудов его экспедиции к юго-восточным берегам Каспийского моря, совершенной в 1832 году. 1) Дневник или путевые записки. 2) Морской журнал. 3) Астрономические и магнитные наблюдения. 4) Об обмелении устьев Урала и Каспийского моря. 5) О морских разбойниках в северной части Каспийского моря. 6) О тюленьем промысле и об уральском морском рыболовстве. Во время своих путешествий Карелин заводил сношения с туркменами, номудами и другими племенами Средней Азии, распространяя влияние России в торговом и политическом отношении. Между прочим, он дружески сошелся с ханом Букеевской Орды Джангером и по его предложению поступил к нему на службу с обязательством обучать его наукам и управлять его делами. Это предложение принял Григорий Силыч только ради денег, в которых терпел большую нужду, и служил у хана недолго. О хане Джангере я много слышала в детстве. Насколько я помню, именно от него получил Григорий Силыч некоторые из тех драгоценностей, которые дарил он жене. Тут были и бриллианты, и редкая по красоте бирюза, и перстень с рубином и изумрудом. Привожу выдержки из юмористического письма Карелина к жене, касающегося его пребывания у хана на Рынт-Песках.

4 декабря 1828 г. «После препакостной дороги, в продолжении которой дрог я, как собака, приехали мы на форпост Глиняный, где, кроме соленой воды и бесплодной степи, ни-



чего нет хорошего. Но теперь-то начинается самое приятное: хан останавливается дня на четыре в открытой степи между киргизами. Будем посиживать на морозе и греться у огня; следовательно, лицу Петр, а затылку Рождество, как говорят здешние казаки. Мы уже провели одну ночьку в камышах, сидя кружком у огня в полуразорванной кибитке. Мороз был примерно градусов 17. Здесь нет отбоя от посетителей. В маленькой кибитке усаживаются несколько десятков султанов, старшин, беев и прочее, бормочат и выгоняют на мороз излишней опрятностью. Покушиваем лошадинку с волосочками и прочими вложениями...» и т. д.

Дед Карелин отличался совершенно неутомимой энергией, находчивостью и неутомимостью. Все возлагаемые на него поручения он исполнял блестяще и с наименьшей затратой денег, не жалея своих сил и терпя всевозможные лишения. При этом он с отеческой заботливостью относился к тем казакам, которых он брал с собой в экспедиции для всевозможных работ, и в кругу семьи и друзей с восторгом отзывался о казачьей смелости, ловкости и проворстве.

В числе разнообразных работ Карелина, была постройка крепости Ново-Александровской. Эпизод этот настолько характерен, что я позволю себе на нем остановиться.

Мысль о постройке крепости возникла у самого Карелина. То и дело встречаясь в своих поездках с киргизами и туркменами, Григорий Силыч хорошо изучил их нравы и снискал их доверие простым и открытым своим обхождением.

Ему известны были их нужды, а также и то, что те и другие нередко захватывали в плен застигнутых врасплох русских и продавали их в Хиву, как невольников. Узнав об этом обстоятельстве, по рассказам и по собственным наблюдениям, Карелин пришел к тому заключению, что нужно соорудить крепость на восточном берегу Каспийского моря. Он выбрал очень подходящее место на высоком утесе залива Кондак, который образовал под утесом глубокий порт. На вершине утеса были прекрасные ключи пресной воды, материалы для постройки были под рукой, город Гурьев поблизости: всего три дня плавания; недалеко была и Хива, с которой предполагалось завести сношения. Карелин сообщил свое мнение оренбургскому военному губернатору графу Сухтелену; будучи вызван в Петербург, изложил свой проект министру иностранных дел Нессельроде и начальнику Азиатского департамента Родофиникину, а затем был представлен царю Николаю I, который долго с ним беседовал и настолько проникся его идеей, что поручил ему начальство над секретной экспедицией с целью сооружения проектируемой им крепости.

Наняв нужных людей, закупив суда и материалы, Карелин простился с семьей в Оренбурге и отправился в путь. В мае 1834 года он заложил крепость, а 22 июля окончены были главные работы. Привожу отрывки из большого письма Карелина к начальнику Азиатского департамента Родофиникину, касающиеся постройки и значения крепости: «... 18 мая

торжественно заложен Ново-Александровск. Солдаты, казаки, матросы пили, пели, веселились и шумели всю ночь...». Далее следует описание крепости, из которого видно, что это было настоящее военное укрепление, сооруженное по всем правилам тогдашней фортификации, затем Григорий Силыч переходит к другому и пишет так: «Хивинский хан рассердился, узнав о нашем нечаянном посещении... но это не может иметь никаких дальнейших последствий, ибо он отпустил караван в Оренбург и в Астрахань. Последний должен проходить мимо укрепления в двух только сутках. Наше место представляет им многие преважные выгоды. 1) Караваны избавятся <от> хлопот и издержек двенадцатидневного лишнего ходу. 2) Будут находиться не во власти вечно враждующих между собой кочевых племен, но под защитой укрепления. 3) Не подвергнутся опасности и издержкам при переезде за море. 4) Получат возможность вместо одного рейса в год совершать три, четыре, пять, и будет это делом домашним: ибо будет в Хиву рукой подать... По Аральскому морю путь к Хиве другой, но оба ведут к одной цели: непосредственной торговле с Индией. Сколько до сих пор мог я разведать, по устьям Аму-Дарьи идти можно; следовательно, имея угол на Аральском море и волоском не трогая Хиву, можете от нас вынудить все: и наших несчастных пленных, и уплату за многочисленные потери от их грабежей, и свободный по реке путь в большую Бухарию, и далее до ворот Индии...»

Предначертания Карелина оправдались: люди, посылаемые им в Хиву с целью изучить новые пути и пригласить хивинские караваны идти по новой дороге, возвратились благополучно и гораздо скорее, чем по старому пути, а кочевые жители, встречавшиеся по дороге, выражали радость, узнав о постройке русского укрепленного города, обещавшей покровительство от набегов разбойников и выгодной мены и торговли в таком близком от них расстоянии.

По окончании работ Карелин сдал крепость гарнизону и поехал к семье в Оренбург, но в январе 1835-го года к ужасу своему узнал от начальника Оренбурга Перовского, что провиант для гарнизона крепости Ново-Александровска, отправленный на двух судах из Астрахани, по недобросовестности отправителей зазимовал в устье Урала и не может двинуться дальше. Зная, что такое промедление грозит гибелью гарнизону, Карелин предложил озабоченному Перовскому лично взяться за поправку этого дела. Проскакав верхом без усталости несколько суток, Карелин приехал в Гурьев, сейчас же погрузил провиант на сто казачьих саней и доставил его на место под конвоем уральских казаков, пробираясь отчасти по льду, отчасти берегом Каспийского моря. Крепость была уже совсем близко, когда один из верблюдов, навьюченный пушкой, и сани, в которых ехал Григорий Силыч, неожиданно провалились под лед. Казаки бросились в воду и вытащили не только самого Карелина, но и пушку, и верблюда, и шкатулку с казенными деньгами, и даже мелкие вещи

Карелина. Все было доставлено вовремя к великой радости гарнизона, а спасенный Карелин стоял на берегу до тех пор, пока казаки не вынырнули из-под льда, и только убедившись в том, что всё и все целы, вскочил на лошадь и отправился в крепость. Пришлось скакать по взморью несколько верст в мороз и при резком ветре. Платье на нем совершенно обледенело, но, к удивлению, после всей этой передряги Карелин не заболел, отделавшись только насморком и ломотой в руках. Здоровье у него было железное.

Во время своих скитаний Григорий Силыч привязался, как к родным детям, к двум участникам своих экспедиций. Это были бездомные сироты – казачий урядник Григорий Александрович Маслянников и студент Иван Петрович Кирилов. Маслянников был смелый охотник и хороший чучельник, а Кирилов – талантливый ботаник. Оба много помогали Григорию Силычу при собирании его зоологических и ботанических коллекций. И того, и другого он ввел в свою семью, где они живали подолгу и, сделавшись своими людьми, привязались к жене и детям Карелина (четырем дочерям), как к родным. Оба называли его «папкой», во время экспедиций Кирилов часто писал Александре Николаевне, извещая ее обо всех подробностях их походов. Маслянников, особенно любивший детей, часто играл с маленькими дочерьми Григория Силыча, которые звали его «Лисанка», и это прозвище, составленное из его имени и отчества, и осталось за ним в семье Карелина. Кирилов был из-

вестен под именем «Ваничка». Маслянникова Григорий Силыч впоследствии устроил на место, а Кирилов 20 лет от роду погиб от какой-то острой желудочной болезни по дороге в Москву из Оренбурга. Эта преждевременная смерть потрясла Карелина. Он был в совершенном отчаянии, долго не мог опомниться и даже поседел с горя. Привожу письмо Кирилова, написанное Александре Николаевне Карелиной.

*«Милая, бесценная мамочка!*

*Наконец, папка явился, и я забыл все свои печали. Однако же он порядочно скверный; опять, говорит, поеду туда, и туда. Итак, не ждите его! А какой чудесный бурундучий мех достал для Вас папка, так я Вам скажу! Бархат, серебро!*

*Здесь папка попал в лекаря. У какого-то чиновника увидел он, что рука распухла, и посоветовал ему пускать кровь, тому сделалось гораздо лучше от этого, он всячески стал восхвалять папку, а жена предложила даже папке подарок: дорожный серебряный сервиз. Натурально, папка отказался от него.*

*Жду с нетерпеньем, когда папке вздумается отпустить меня к Вам, а теперь куда целую миллион раз Ваши ручки».*

Засим следуют приветствия и поклоны Ванички.

На первой странице сбоку приписка: «Не взыщите, что пишу мало и несвязно, непоседливейший из папок сидит у меня под носом и ворчит на то, что я копаюсь».

А вот его письмо (Кирилова) ко всеобщей любимице и забавнице, маленькой дочке Григория Силыча (будущей бабушке Блока), которую называет и он, и отец «путасная», то есть прекрасная Лилеточка. Ей было в то время года четыре.

*«Путасная моя Лилеточка!*

*Я сижу и думаю, о чем бы написать тебе, кроме того, что задаю тебе зацюфку, а папка и говорит: пиши хорошенько, да не обижай у меня буценинького, пище всего не поминай ей про китайцев; да есть еще у нас всех к тебе просьба: напиши нам стихи на какой-нибудь случай, например, хоть на Лисанкину охоту за зайцами, или мадригал, а впрочем, хорошо и шараду. Григорыша хотел было написать тебе, да ему стыдно стало того, что ты теперь лучше его пишешь. Скажи мамуле, что я целую тысячу раз ее ручки и бабуле тоже, а сестер всех поцелуй за меня, да хорошенько. Ну, буценинькой, до свидания, пиши почаще; да и забыл было: мы нынче увидим китайцев; уведоми, что сказать им, если они спросят о тебе?*

*Брат твой Ваничка».*

Приведу и письмо к той же дочке Григория Силыча, написанное прекрасным почерком на той же бумажке.

*«Благодарю тебя, моя буценинькая путасная Лилеточка за твои прекрасные письма. Я их очень берегу. Ты добрая и умная девочка. Одно мне удивительно: как ты умудряешься, что всякое твое письмо выпачкано? Не помогает ли тебе Петька? Пиши*

*ко мне почаще да побольше. Да нельзя ли сочинить каких-нибудь стихов? Скажи мне, дружочек, что у тебя за тамга такая? В конце каждого письма рисуешь ты четырехугольник с бахромой, а в середине его число 28. Лисанка говорит, что это по-китайски. Правда ли это? Мы все тебя любим и часто о тебе вспоминаем. Целую и благословляю тебя.  
Твой папка».*

Сбоку страницы: «Получила ли ты штуку лямзы на куклы?»

Большую часть сведений о Григории Силыче Карелине я заимствую из книги ботаника Липского «Гр. С. Карелин. Его жизнь и путешествия». Санкт-Петербург, 1905, в которой есть, между прочим, и краткая биография Григория Силыча, написанная его старшей дочерью Софьей Григорьевной<sup>30</sup>.

Увлечшись содержанием книги Липского, я несколько дольше остановилась на личности моего деда, оригинальная фигура которого, совершенно незнакомая потомству, невольно привлекла мое внимание, тем более что у Григория Силыча было много общих черт с его младшей и любимой дочерью, то есть бабушкой Александра Блока Елизаветой Григорьевной. Возвращаясь к истории моей бабушки Александры Николаевны.

Пока Григорий Силыч совершал одно путешествие за другим, семья его, т. е. жена, теща и четыре дочери, безвыездно

---

<sup>30</sup> Эта книга (экземпляр, принадлежавший матери поэта) сохранилась в библиотеке Блока (*Библиотека*, вып. 2, с. 70).



жили в Оренбурге, в собственном доме. В начале сороковых годов Александра Николаевна заболела изнурительной лихорадкой. С каждым днем теряла она силы и дошла до такого состояния, что доктора посоветовали ей переменить климат и переселиться в Москву. Так и было сделано. Продав дом и часть вещей, бабушка отправилась со всей семьей и слугами в трех экипажах и на своих лошадях в Москву, где друзья ее мужа уже приготовили ей квартиру. Тронувшись в путь в середине мая, ехали на долгих, со многими остановками, и больная уже в дороге почувствовала облегчение. В Москве она совсем оправилась, но жизнь в большом городе надоела и ей, и семье. Тут подвернулось подходящее имение вблизи Москвы с домом, садом, речкой и ста десятинами елового леса. Кстати, в это время Григорий Силыч получил от царя Николая I награду и пенсию, так что, сделав небольшой долг и заложив имение, Карелины могли приобрести его и поселиться там всей семьей. Это и было Трубицыно, упоминаемое в письмах Блока. В деревне жили Карелины небогато, но в общем неплохо.

Григорий Силыч большую часть времени проводил в путешествиях. Из своих странствий он посылал жене материи, меха, драгоценности и другие подарки, посылал он, конечно, и деньги, но их было недостаточно для такого большого семейства. Поэтому бабушка Александра Николаевна по тогдашней моде брала на воспитание дочек богатых дворян и купцов, а в помощь себе заставляла свою шуструю и начи-

танную дочку Лизу учить их разным предметам, и та уже с 15 лет с великой скукой обучала разных девиц истории и географии. Об одной из них, очень глупой, ходило много анекдотов. Так, например, она говорила: «Какая хорошенькая опера „Почта“». Так называла она известную итальянскую оперу «Норма», название которой «Norma», написанное латинским шрифтом, она читала по-русски, не подозревая своей ошибки. В одно из своих посещений Трубицына Григорий Силыч, присутствуя на уроке, подсказывал глупой барышне всякий вздор, а она повторяла за ним всякое слово.

Бабушка Александра Николаевна была вообще тяжела на подъем. Она большей частью сидела дома и вообще не отличалась подвижностью. Детей своих, сколько знаю, она не столько учила, – сколько воспитывала. Подпав под влияние одной очень почтенной, но не особенно умной своей соседки, она переняла ее педагогический метод, сильно отзывавший немецким духом, в нем было и хорошее, и дурное. Воспитание было суровое, оно закаляло тело детей и вырабатывало их волю, развивало в них чувство долга. Мать требовала от них не только безусловного повиновения, что при ее уме и ровном характере не мешало, но еще и полной откровенности. По словам моей матери, она и сестры ее должны были вести дневник, где записывали все свои мысли и проступки. Последнее, т. е. ведение дневника для матери, очень не нравилось свободолюбивой и особенно своеобразной Лизе, которая рано начала думать не так, как принято было в

то время и как думали ее мать и сестры. Так, например, на вопрос матери, верит ли она в то, что причастие есть тело и кровь Христова, она прямо ответила: «Нет, не верю», — чем, разумеется, привела в ужас и мать, и сестер. Время от времени Карелины ездили в Москву, где, конечно, останавливались у каких-нибудь родственников или знакомых, причем им позволялось посещать оперу и театр. Лиза Карелина страстно любила театр и музыку и очень охотно бывала в семье хорошего знакомого Карелиных композитора Верстовского, который был женат на танцовщице, и не раз выражала то мнение, что артисты достойны такого же уважения, как и люди других профессий. Этот и другие подобные взгляды, считавшиеся по тому времени вольными, вызывали недовольство семьи. Все это было известно под общим названием «*les tristes propensions de Lise*», т. е. печальные <склонности> Лизы. Впоследствии, отчасти под влиянием Жорж Занд, эти *tristes propensions* еще больше развились.

Возвращаясь к бабушке Александре Николаевне, я скажу, что некоторая ее суровость не мешала ее детям относиться к ней с большой нежностью, что видно из их писем пятидесятих годов, сохранившихся у меня. Уважали ее в высшей степени. Что касается образования детей, то здесь сильно помог ей следующий случай: после особенно успешной экспедиции 1836 года к восточным и южным берегам Каспийского моря, закончившейся постройкой крепости Ново-Александровск, Григорию Силычу была пожалована царем Никола-

ем I награда в 3000 р. и назначена пожизненная пенсия 800 р. в год. Тогда же предложено было принять всех его дочерей на казенный счет в институт, но Григорий Силыч отклонил последнее предложение, находя, так же, как и жена его, что лучше воспитывать детей дома, что, конечно, было очень разумно, особенно при наличии такой умной и просвещенной матери, какою была Александра Николаевна. Желая помочь при образовании дочерей, Григорий Силыч купил целую библиотеку по литературе, географии и истории на русском и французском языках. Часть их перешла впоследствии к нам. Это были прекрасно изданные книги в кожаных переплетах: «История открытия Америки», «Завоевание Мексики и Перу» Вашингтона Ирвинга в изящном, но неточном и бесцветном французском переводе Defocompres, также «Путешествие в Исландию», тоже на французском языке, и полное собрание сочинений Вальтер Скотта с английскими гравюрами на меди и прозаическим переводом баллад. Особенно любимый Александрой Николаевной Шиллер был в подлиннике и в двух разных изданиях: лирические стихи, баллады и поэмы в одном толстом томе in quarto<sup>31</sup>, а драмы – во многих томах в переплетах желтой кожи с гравюрами. То и другое напечатано, разумеется, готическим шрифтом. Была, между прочим, и «Исповедь» Жан-Жака Руссо в подлиннике с прекрасным его портретом, и большущий том собрания стихов Ламартина, и многое другое, чего я не помню. Все-

---

<sup>31</sup> В четвертую долю листа (*лат.*).

ми этими богатствами особенно воспользовалась Лиза. По этим-то книгам она и выучилась своему прекрасному французскому языку, да и презираемому ею немецкому.

Кстати скажу, что Лиза Карелина была ближе с отцом и бабушкой, чем с матерью. С отцом она была, что называется, запанибрата, чего никак уже нельзя было себе позволить с матерью. Когда Григорий Силыч приезжал в Трубицыно, они вместе шалили и потешали всю компанию. Приведу один эпизод, рассказанный мне матерью, который рисует облик Григория Силыча и его жены. Когда Лизе Карелиной было лет 12, мать наняла ей немку для разговоров. Немка была молодая, но глупая и сентиментальная. Так, например, поймав комара, она деликатно брала его двумя пальчиками за крылья и отпускала на волю со словами: «Du, Theirehen!» (Ах, ты, зверек!). Григорий Силыч вздумал подурочить немку, он сделал вид, что в нее влюблен: при встречах с нею прикладывал руку к сердцу, закатывая глаза, вздыхал и т. д. И, наконец, написал ей стихи следующего содержания:

Scharlotte meine Liebe,  
Sie sind eine Diebe;  
Sie haben mein Herz gestohlen,  
Und daruns ieh war болен.

32.

---

<sup>32</sup> Милая Шарлотта, Вы воровка. Вы похитили мое сердце, И от этого я был болен.

Послав эти вирши с дочерью Лизой, он ждал, что будет. Лиза вернулась с известием, что немка рассердилась и сказала: «Ihr Vater ist ein alberner Mensch!»<sup>33</sup> «Тащи скорей лексикон, – сказал Лизе отец, – что значит „alberner“?» Найдя в лексиконе требуемое слово, он остался очень доволен, а немка пошла жаловаться к Александре Николаевне, приняв всерьез шутку Григория Силыча. Бабушка, как женщина умная, отлично поняла, в чем дело, и, кусая губы, чтобы не расхохотаться, приняла жалобу немки на безнравственность своего мужа, который в это время стоял в стороне с притворно-виноватым видом. Насколько я помню, немка отказалась от места.

Каждый приезд Григория Силыча в Трубицыно был для семьи настоящим праздником. Появляясь всегда неожиданно, он оживлял весь дом своими шутками, затеями и интересными рассказами о своих странствиях. Ему очень нравилась жизнь в семье и в деревне. Он наслаждался вкусной едой: грибами, ягодами, варениками и пр., но спустя некоторое время опять срывался с места и пускался в новое странствие. С годами его отлучки становились все более и более продолжительными. Был случай, когда он находился в отлучке целых шесть лет. Семья его, конечно, сильно страдала от этого положения: она была в вечной тревоге, часто подолгу не получая писем и даже не зная, жив ли Григорий Силыч, а, кроме того, приходилось страдать от безденежья,

---

<sup>33</sup> Ваш отец глупый человек! (нем.).

неразлучного с такой неправильной жизнью отца семейства. Александра Николаевна, которая с течением времени оценила мужа и сильно к нему привязалась, страдала, разумеется, больше всех и *от беспокойства*, и от ответственности за остальную семью. Она уговаривала мужа в письмах побереечь свое здоровье и отдохнуть в семейной обстановке, но это не помогало. Увлеченный все новыми и новыми проектами путешествий, Григорий Силыч и не думал беречь себя, подвергаясь опасностям и неудобствам далеких своих путешествий по диким местам в некультурных условиях. Последний раз приезжал он в Трубицыно в 1846 году. Считая с отлучками по делам в Москву, он пробыл в общей сложности дома шесть лет, после чего опять стосковался по кочевой жизни исследователя малознакомых стран. На этот раз он отправился в Уральские степи и на Индерское озеро. Уехал он летом 1852 года с тем, чтобы вернуться через полгода к своим, но они его больше не видели.

Прожил Карелин еще 20 лет, но путешествие в Уральские степи было последним. Сведения о последних годах его жизни очень скудны. Известно только, что он жил постоянно в захолустном городе Гурьеве вблизи устья Волги, много работал, делал интересные наблюдения над полетом птиц, приводил в порядок свои коллекции и дневники и приготовил к печати свои записки, которые составили 12 томов, но все это погибло во время пожара. Сам он был в то время в параличе, без ног, его вынесли на руках из горящего дома дру-

зья его казаки, после чего он вскоре скончался. То, что он не вернулся к своим и прожил столько лет в одиночестве, вдали от любимой семьи, приводило в недоумение его биографов, но интимные письма, находящиеся у меня в руках, вполне объясняют это загадочное обстоятельство. В письме от 27 февраля 1845 года он пишет Николаю Александровичу Мансурову, его личному другу, близкому всей семье Карелиных<sup>34</sup>: «Добрейший, единственный друг мой, Николай Александрович! Много раз собирался я написать тебе или к жене о причинах, задерживающих меня в Сибири...»

Причин этих было три, но мы остановимся только на второй, которая, по словам самого Григория Силыча, была самая важная: «*Второе*. Я имел здесь связь, от которой родилась девочка, как две капли воды похожая на Лизу. Этого ребенка люблю я без памяти, словом, как остальных детей моих. Мать ее – бедная девка, которой родители люди беспутные, а отец вдобавок горчайший пьяница. Она живет у меня в квартире... Надобно купить им домик рублей в 300 и оставить на пропитание рублей по 25 в месяц... Доселе я еще ничего не мог и не в состоянии был сделать...» Говоря о дочери, Григорий Силыч пишет: «Милое, кроткое это создание привязано ко мне безмерно, и хотя я найду силы с ним расстаться, но скорее сам буду питаться черствым хлебом, нежели бросить бедное дитя без помощи...» «Хотя я бла-

---

<sup>34</sup> Н. А. Мансуров был дядя зятя Григория Силыча Николая Эверсмана, жена-того на его второй дочери Надежде Григорьевне.



гоговею перед ангельскими свойствами жены моей, но она женщина и при болезненном состоянии своем легко может огорчиться и вознегодовать на мою слабость. Отдаю, друг, на твою волю, не прочитывать этого письма, но открыть ей истину, и быть за меня ходатаем. *Я ее не стою...*».

Вследствие болезни Мансурова это письмо попало в руки Александры Николаевны, которая отнеслась к измене мужа вполне снисходительно, чем доказала и большой ум, и доброту, и широту взглядов, редкую в женщине, особенно того времени. В ответ на письмо ее Григорий Силыч пишет из Семипалатинска от 6 марта 1848 года: «Милый, бесценный мой друг Саша! Последнее письмо твое преисполнило меня сердечным умилением. Ты светлый Ангел доброты, мой Ангел хранитель. Как! Ты через мои ошибки и нерадение лишилась почти единственной помощи и ты же еще утешаешь и поддерживаешь меня!.. За низость считаю оправдываться, я виновен безотчетно...»

Получив известие о помолвке своей дочери Александры Григорьевны с Михаилом Ильичом Коваленским, Григорий Силыч писал, что на свадьбу ее приехать не может, и только после рождения ее первого ребенка в 1846 году вернулся к своим. Тогда-то и прожил он в семье целых шесть лет, после уехал в свое последнее путешествие, по возвращении из которого поселился в Гурьеве. Оттуда он несколько раз писал жене, что собирается к ней, но ряд неудач в делах и невозможность устроить, как он хотел, свою незаконную се-

мью, помешали ему исполнить свое намерение, а катастрофа, уничтожившая плоды его многолетних трудов, вероятно, ускорила его смерть.

Не знаю, когда именно узнала Александра Николаевна о смерти мужа. Много испытаний пришлось ей перенести на своем веку. Быть женой столь замечательного и вместе с тем страстно увлекающегося человека, каким был Григорий Силыч Карелин, дело нелегкое. При всей его горячей любви к семье, он был слишком широк и разносторонен, чтобы довольствоваться только семейной жизнью. Всего сильнее влекло его к науке, исследование и всестороннее изучение новых стран было его настоящим призванием. Такому человеку лучше было совсем не иметь семьи, но жена его, наиболее страдавшая от его скитальческой жизни, была женщина сильная духом. Характер ее только закалился от испытаний. Она отличалась редкой выдержкой, ни малейших следов озлобленности в ней не замечалось. Натура у нее была благородная, она держала себя с большим достоинством, но никаких мелких черт не проявляла. В нашей семье бабушка Александра Николаевна оставила самые лучшие воспоминания. С матерью нашей она была в наилучших отношениях, они часто раскладывали вместе пасьянсы и дружески разговаривали. Мамаечка особенно любила нашу семью. Ее нигде так не ласкали, как у нас, и за это она платила большой привязанностью. Не будучи мелочной и не требуя церемонной почтительности, она, однако, не прощала обид. Было

время, когда плохие средства заставили ее поселиться в семье ее <...> дочери Александры Григорьевны Коваленской, жившей тогда в своем имении Дедове близ станции Крюково Николаевской ж. д. Мамаечка взялась учить ее детей, но отношение к ней самой хозяйки, ее внуков, было такое сухое и холодное, что она на всю жизнь сохранила неприязнь к дому Коваленских и иначе не выражалась, как «дочь моя Александра Григорьевна». Исключение составляла старшая внучка Александра Михайловна, в замужестве Марконет, которая была хороша с Мамаечкой и охотно бывала в Трубицыне, с остальными членами семьи отношения были натянуты.

Умерла бабушка в 1888 году у себя в Трубицыне, когда маленькому Саше Блоку было лет 8. Живя у нас по зимам, в обеих казенных квартирах в университете, а потом и на частных, она знала его с первого момента рождения и очень любила его. В нашей семье она особенно любила старшую внучку Катю, которая родилась в Трубицыне и платила ей тем же, любя ее больше родной матери. В собрании стихов сестре Екатерины Андреевны есть стихотворение «Родной», посвященное бабушке. Приведу его целиком.

## Родной

Ничего нет в целом мире  
Старше неба голубого,  
Старше звезд в ночном эфире,  
Старше солнца золотого.  
Но красой непроходящей  
Наполняет мирозданье  
Солнца свет животворящий,  
Звезд алмазное сиянье.  
Так и ты, звезда родная,  
Дольше всех душе светила;  
Но стареясь, догорая,  
Свет свой ясный сохранила.  
Свет любви неугасимый,  
Как небесных звезд сиянье,  
Пережил в душе родимой  
Жизни долгое страданье.

(1888)

Дата, которой помечено это стихотворенье, и есть год смерти бабушки Александры Николаевны, на что указывает одна семейная запись. Мамаечка любила нас всех, сестер Бекетовых, по-разному, сообразно нашим характерам. Самые непринужденные и близкие отношения были у нее с внучкой Асей (Александрой Андреевной), потому что та была с

ней особенно ласкова и внимательна. В ректорском доме у них были смежные комнаты, а потому наша Мамаечка часто звала эту внучку «соседишка». После рождения Саши Блока эта дружба еще окрепла. Со мной у бабушки были очень хорошие, хотя и не такие близкие отношения: я была не такая ласковая и изъяснительная, как Ася. Мамаечка называла меня «малость» или «малик» и с необыкновенным добродушием смеялась над моей рассеянностью. Посылает меня, бывало, в Гостиный двор с разными поручениями для своих рукоделей, а я все куплю шиворот-навыворот, а она только засмеется и скажет: «Ах, эта Малость! Опять все перепутала», – с таким видом, точно я что хорошее сделала. С сестрой Софьей Андреевной у Мамаечки были самые далекие отношения, вероятно, потому, что та была с ней несколько церемонна и слишком сдержанна. У меня сохранилось несколько писем бабушки из Трубицына. Приведу несколько отрывков, дающих понятие о ней самой и о ее отношении к нашей семье.

*«25 апреля 1882 г.*

*Посылаю на почту и загадываю: кто меня больше любит, тот ко мне прежде напишет. После того жду и боюсь, что ни одного письма не будет, – но тогда, мои милые, я уже гаданью не поверю, потому что все ваше баловство так ясно доказывает противное, что лучше я все грехи сложу на Петербургскую почту...*

*Погода здесь восхитительная... Сегодня опять яркое солнце и все кругом зелено... Вчера прилетел*

*соловей среди двора в цветник и защелкал и раскатился на все лады, согласись, что ведь это стоит ваших концертов, и даже Сашурка мой сказал бы: ах! ах!<sup>35</sup>*

*Вот этого последнего возгласа мне все время не достает, и каждый день целую только баשמачишко с его толстой лапки. Пожалуйста, пишите мне про всякую новую его затею...»*

*«10 августа 1882 года.*

*Поздравляю тебя, родная моя Малость, с получением капитала. Я воображаю, как эта новинка должна быть приятна, уже не говоря о том, как она полезна в нашем состоянии. Не знаю, как тебя благодарить, мой милый дитенок, за твои милые, подробные письма. Пожалуйста, продолжай осведомлять меня с той же любезностью обо всех наших. Негодный Котенок (сестра моя Катя) совсем перестала писать мне и вся надежда на тебя».*

*«30 сентября 1883 года.*

*Дорогой мой Малик, бесконечная тебе благодарность за твои милые письма, на которые я тебе так редко отвечаю, но которые зато часто перечитываю. В последнем ты говоришь, что бесценный мальчишка<sup>36</sup> вырос на целую голову. Этого я себе представить не умею, а потому доверши свои*

---

<sup>35</sup> Маленькому Саше Блоку было в то время полтора года.

<sup>36</sup> Саша Блок.

*благодарения, смеряй его и пришли мне мерку...»*

*«24 марта 1885 года.*

*Сегодня день моего рожденья, и я только открыла глаза, увидела подле себя письмо твое, дорогой мой Малик, и так первой радостью этого года я обязана тебе, мой родной ребенок...*

*Я кое-как прожила эту зиму, замерзая понемножку и согреваясь мыслью, что вот придет весна и населит мой уголок, и обоймут меня родные лапки, которые я буду целовать и будет мне очень тепло и отрадно...*

*И вот вместо всех этих радостей получаю письмо, из которого вижу, что всем мечтам конец<sup>37</sup> и может быть навсегда...»*

Так думала бабушка ввиду своего преклонного возраста, но она ошибалась. <...> Этими отрывками из писем кончается мой очерк, касающийся Мамаечки, т. е. прабабушки поэта Блока – Александры Николаевны Карелиной.

Григорий Силыч Карелин был, несомненно, самым замечательным и ярким из предков Александра Блока. Его характер и даровитость наиболее передались его дочери Елизавете Григорьевне (бабушке Блока), которая имела в семье преобладающее влияние. Ее склонности взяли верх над началом Бекетовским, т. е. над тяготением к общественности и к науке. Бекетовское начало, более отвлеченное и менее жизнен-

---

<sup>37</sup> В это лето наша семья уезжала в Швейцарию, а до тех пор проводила лето обыкновенно в Трубицыне.

ное, чем Карелинское, сыграло особую роль: оно смягчило жесткие черты Блоковского начала, прибавив еще через деда Блока Бекетова особенно сильно развитое благородство и честность натуры. Широта и щедрость, присущие Александру Блоку, были одинаково сильно выражены и в Карелинских, и в Бекетовых. Замечательно, что, имея в роду так много ученых, Александр Блок не имел никакой склонности к науке. Здесь можно заметить одно: ни прадед его Карелин, ни дед Бекетов, ни отец Александр Львович Блок не были учеными в чистом виде: прадед был ученый-путешественник, дед – ученый-общественник, отец – ученый-философ, в котором вдобавок были столь сильно выражены музыкальность и литературность. Чтобы довершить этот экскурс в область наследственности, скажу, что мать Александра Блока, заимствовав литературность от его бабушки Бекетовой, была наиболее лиричная из ее дочерей. Сильную отвлеченность Блок унаследовал от отца, что же касается его тяги к общественности, которая развилась в нем в более зрелые годы, то корни ее, разумеется, шли от деда Бекетова, но в противовес его западничеству Блок был одержим, как и мать его, стихийной любовью к России и, благоговей перед искусством и наукой Европы, с самой злой иронией относился к ее культуре в общем (см. его письма к матери из-за границы-11-13-е годы)<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> См.: *Письма к родным*, т. II, с. 145–183, 234–250.



# Глава X

## Семья Ковалевских

Родственники, посещавшие нас в первые годы шахматовского житья, были все со стороны матери. Кроме Мамаечки и тети Сони, не раз перебивали почти все члены многочисленной семьи Коваленских. Они жили зимой в Москве, а летом в своем имении Дедове близ станции Крюково Николаевской ж. д. Владелица этого имения Александра Григорьевна Коваленская была третья дочь супругов Карелиных. Ее муж, Михаил Ильич Коваленский, умерший до нашего водворения в Шахматове, был сын большого московского барина, женатого на рязанской крестьянке. Отец Михаила Ильича был человек просвещенный и, сколько я знаю, значительный. С ним дружил, между прочим, Григорий Силыч Карелин. М<ихаил> И<льич> был воспитан каким-то очень образованным гувернером-англичанином, знал языки, любил музыку, но, рано женившись по любви на очень молодой и красивой девушке, мало-помалу стушевался и был затенен ее личностью. Я знала его уже пожилым, когда его старшие дети были взрослые, а мне было тогда всего четыре года. Судя по портретам, он никогда не был красив, а в описываемое мною время совершенно опустился, был неопрятен, вечно ходил в халате и производил впечатление челове-

ка, игравшего в доме последнюю роль. Помню, что мать моя относилась к нему очень хорошо, так же, как и он к ней. Они вместе распевали под фортепьяно старинные дуэты, в одном из которых повторялся припев:

«Ni jamais, ni toujours  
N'est la devise de l'amour»<sup>39</sup>

Но зато тетя Соня терпеть не могла Мишеля, как его тогда называли, и рассказывала разные ужасы о его безнравственном поведении. Сопоставляя все, что я слышала о нем и об его семье, я думаю, что это был человек очень чувствительный, а по характеру слабый, – черты, которые он передал полностью мужской половине своей семьи. Вообще это был человек незначительный. Облик Михаила Ильича был, что называется, неказистый.

В годы моего детства он поражал своим несоответствием с внешностью жены, которая была женщина не только красивая, но на редкость изящная. Тонкий профиль, благородная осанка, большие голубые глаза красивого разреза и нежный цвет лица – все это вместе составляло гармоничное целое. Все, что ее касалось, начиная с костюма и кончая обстановкой ее комнаты, имело отпечаток изящного и своеобразного вкуса. Прилагаемый портрет дает хорошее понятие об ее наружностей манере одеваться. С мужем, сколько я пом-

---

<sup>39</sup> Как никогда, так и всегда Девиз не для любви. (фр).

ню, она обращалась холодно и пренебрежительно. У нее была отдельная спальня, убранство которой производило на меня впечатление даже в четыре года. Это была большая комната в два окна, выходящая в сад. Перед окнами видна была большая лужайка, окаймленная с двух сторон березовыми аллеями, в конце ее был довольно большой пруд, не видный, впрочем, из дома. В комнате Александры Григорьевны были светлые обои, на окнах кисейные занавески, умывальный прибор был из толстого голубого стекла, кувшины покрыты от мух белым тюлем, овальное зеркало в серебряной раме стояло на туалетном столе, убранном белой кисеей, но в особенности восхищала меня картина в овальной золотой раме, висевшая на стене. Это был, как я узнала впоследствии, известный ангел Неффа с камильницей в руках. Александра Григорьевна была очень умна и остроумна. Манера у нее была тихая и сдержанная, голос слабый. В ее облике было что-то аристократическое, чего она не передала никому из своих детей. У нее были все данные для того, чтобы играть выдающуюся роль в высшем обществе, что и было ее идеалом, но с непременным ореолом добродетельной женщины ангельского характера. Имея большую слабость к титулам, она, конечно, сильно досадовала на то, что муж ее был сыном простой крестьянки, и, умалчивая об этом обстоятельстве, любила рассказывать об очень проблематичном родстве своего тестя с кн. Потемкиным. Муж ее несколько лет сряду занимал выдающийся пост председателя казенной палаты в Ти-

флисе и Ставрополе. Живя в Тифлисе, Ал<ексан>дра Григ<орьевна> блистала на балах наместника Кавказа князя Воронцова<sup>40</sup> и вообще играла заметную роль в тамошнем обществе. Это и было, вероятно, лучшее время ее жизни. Она, очевидно, надеялась, что муж ее сделает блестящую карьеру и составит себе состояние, но этого не случилось. С Кавказа семья Коваленских со всеми детьми переехала в Москву. Тогда и было куплено Дедово, где зажили уже довольно скромно, затем звезда Михаила Ильича стала меркнуть, и он умер еще не старым, не оставив семье ничего, кроме Дедова. (Его вдова осталась с пятью детьми на руках, из которых младший, Виктор, был еще в гимназии, другой, Николай, в университете, и только одна старшая дочь, Александра, была уже замужем за присяжным поверенным Марконетом, который был довольно известен в Москве как хороший адвокат по гражданским делам и впоследствии составил себе состояние).

Оставшись в довольно затруднительном положении с пятью детьми, из которых только старшая дочь была обеспечена, Александра Григорьевна не растерялась. Она не продала свое Дедово, которое представляло собою имение десятин в триста с большим домом и двумя флигелями, стоявшими по обеим сторонам двора, с лесом и с хорошими покосами. Ближайшая деревня была сейчас за прудом, станция в 8-ми вер-

---

<sup>40</sup> Михаил Семенович *Воронцов* (1782–1856) – наместник Кавказа и главнокомандующий Отдельным кавказским корпусом в 1844–1854 гг.

стах. Александра Григорьевна рассудила, что хозяйничать ей не на что, а жить круглый год в Москве и неприятно, и дорого, поэтому она упразднила все сельское хозяйство, оставив только необходимую домашнюю прислугу, и отдала в аренду луга, что составило несколько сот рублей в год, и таким образом могла спокойно проводить лето в деревне. Конечно, этого не могло хватить на жизнь в Москве, хотя бы и самую скромную. Для этого у Александры Григорьевны был другой, более благородный ресурс. Еще при жизни мужа она написала и издала «Семь детских сказок», книжку с иллюстрациями худ. Саврасова, которая имела большой успех во времена моего детства и очень нравилась детям, особенно девочкам. Тут была и фантастическая сказочка про царевну Глупочку, и рассказ о голубке, которая ворковала: «Живите мирно, живите мирно», умиротворяя дерущихся воробьев, и вполне реальные рассказы. Вслед за этой книгой Александра Григорьевна выпустила много рассказов и повестей, появившихся сначала в детских журналах, а потом и отдельными сборниками. Комитет грамотности издал ее повести «Назарыч» и «Крутилки», последнее – история солдата, ветерана турецкой войны. Александра Григорьевна была несомненно талантливая писательница. Книги ее написаны литературно и живо, со знанием крестьянского и отчасти мещанского быта; местами там, где вступает фантастика, они отзываются балетом. Теперь они уже устарели, но в свое время были очень ценны. Это, во всяком случае, хорошее чтение, и, несмотря

на наивную морализацию и некоторую сентиментальность, книги Коваленской заслуживают похвалы и сыграли заметную роль в то время, когда наша детская литература была еще очень бедна и по большей части пробавлялась переводами с иностранных языков. Александра Григорьевна с удовольствием вспоминала, что однажды ее посетил Тургенев. Вообще она очень держалась за свою литературную репутацию, хотя и уверяла, что у нее нет никакого авторского самолюбия. Писанье повестей было для моей тетушки не только очень приятным, но и прибыльным занятием. Вместе с арендой Дедова оно доставляло ей возможность воспитывать детей. Правда, жили Коваленские очень скромно, и только благодаря мудрой экономии Александры Григорьевны можно было жить так прилично, как они жили, да еще дать возможность двум сыновьям закончить образование в университете и развлекать детей, посылая их время от времени в Малый театр и в страстно любимую ими итальянскую оперу. При этом она сохраняла свой изящный облик и ту обстановку, которую я описала вначале. Выкраивала она деньги и на поездки любимицы своей Наташи (вторая дочь) к нам в Петербург, где у нее был не только приятный родственный дом, но и друзья, которых она очень любила.

У Александры Григорьевны было пятеро детей (6-ой, Михаил, рано умер): два сына и три дочери. Особенностью этой семьи было то, что дочери были гораздо значительнее и интереснее сыновей. Старшая, Александра Михайловна, бы-

ла замужем за присяжным поверенным А. Ф. Марконетом. Он был сын французского коммерсанта, эмигрировавшего в Россию после французской революции. Это был красивый брюнет чисто французского типа, очень веселый и открытый, хорошая, но довольно примитивная натура. Он женился на Александре Михайловне Коваленской по страстной любви сейчас же по окончании курса и был очень любящим мужем. Он не только любил, но и уважал свою жену, у которой было много прекрасных качеств. Она отличалась редкой правдивостью и полным отсутствием суетности. В противоположность матери она нимало не чуралась своего родства с бабушкой Марфой Григорьевной Коваленской и говорила иногда: «Я так и чувствую в себе эту рязанскую крестьянку». У нее был своеобразный, чисто женский ум и очень привязчивое сердце. Она любила природу и музыку и живо чувствовала поэзию того и другого. Не будучи красивой, она была привлекательна и женственна. Я живо помню ее лет 19-ти. Так и вижу ее круглое лицо с очень ярким румянцем, к которому особенно шли ее длинные жемчужные серьги. Помню какое-то летнее светло-зеленое платье, оттенявшее ее свежесть, черную бархотку на шее и очень тонкую талию. У нее был в молодости прекрасный голос: сильное драматическое сопрано. Помню, как она пела в Дедове под аккомпанемент моей матери «Ave, Maria» Гуно. Голос у нее был страстный и звонкий, но, к сожалению, она скоро его потеряла. Марконеты жили очень согласно. Они горячо люби-

ли друг друга и были несчастливы только в детях, рождение которых всегда сопровождалось временным безумием матери. Не помню, сколько у них было детей, но все они умирали вскоре после рождения. У Александры Михайловны были самые простые вкусы. В то время, когда ее муж был очень состоятельным человеком, она скромно одевалась и скромно обставляла свой дом. У нее не было никаких склонностей к роскоши и к показному. Полное отсутствие светскости и неуменье ни щегольнуть, ни пустить пыль в глаза дополняло ее милый и своеобразный облик. Она обожала мать, которая была к ней очень холодна. В этом сказывалась полная противоположность их натур. Матери, видимо, претила и полная простота дочери, в которой она видела что-то плебейское, и ее неприязнительность и неуменье, что называется, *sauver les apparences*<sup>41</sup>, что было в высшей степени развито в ней самой. Александре Григорьевне была ближе всех ее вторая дочь Наталья Михайловна. У них было много общего во вкусах и склонностях. Она тоже имела известную слабость к титулам и придавала большое значение внешней стороне жизни, но все это было у нее не в такой степени, как у матери. Наталья Михайловна была высока и стройна, но так же неграциозна, как и ее сестры. Она была очень бела, ее милостивое лицо украшали ямочки на щеках. Говорили, что она похожа на свою бабушку Марфу Григорьевну Коваленскую. Наталья Михайловна была умна, как и другие ее сест-

---

<sup>41</sup> Соблюдать приличия (*фр.*).



ры, но у нее был очень трезвый и положительный ум, совсем другого склада, чем у них, а натура довольно грубая, даже с оттенком цинизма. Она была веселого и живого характера и вообще очень мила. Обладая очень сильным темпераментом, она пережила два неудачных романа и вышла замуж за 30 лет за доктора Дементьева, человека вполне почтенного, но не выдающегося. Она обожала мужа и была с ним очень счастлива, но рано умерла от рака. Детей у нее не было, хотя и она, и муж страстно желали иметь их. Кстати замечу, что она одна из сестер Коваленских имела материнские наклонности. За неимением своих детей она страстно привязалась к своему племяннику Сереже Соловьеву, проводила с ним очень много времени и сумела сильно привязать к себе мальчика. Образование она, как и обе ее сестры, получила домашнее. Свободно читала по-французски и по-английски. Вкусы ее были довольно примитивны. Любимым ее чтением были английские романы средней руки. Из русских писателей она, как и сестры ее, особенно любила Толстого. О Достоевском я что-то от них не слышала. К поэзии она вообще была равнодушна и, в то время как сестра ее Ольга увлекалась Фетом, подсмеивалась над этим увлечением и любила поддразнить ее и сестру мою Александру Андреевну, говоря им в насмешку: «Я видел Фета у буфета» и другое в подобном роде. Когда прошла первая пора ее юности, она стала интересоваться русской историей. Уже будучи замужем, она написала несколько книг по этой специальности в популяр-

ном изложении и в беллетристической форме. К двум историческим повестям, напечатанным ею, относятся рецензии двоюродного брата Блока Ф. Кублицкого, помещенные в последнем Но рукописного блоковского журнала «Вестник». Книги были написаны толково и хорошим языком, но не более. Пробовала она писать и другие повести, но из этого ничего не вышло. Не могу не вспомнить при этом, что когда она написала очень слабую повесть «Тихие воды – глубоки» и дала ее прочесть Бекетовым, жившая с нами в то время бабушка Александра Николаевна, прочтя повесть, выразилась о ней в следующей пренебрежительной форме: «Есть периодики, в которых нет ничего дурного». Н<аталья> М<ихайловна> была самая общительная и подвижная из сестер Коваленских. Она часто гостила у нас зимой, когда мы жили в ректорском доме. Ближе всех она была с сестрой Екатериной Андреевной, хотя настоящей близости и сердечной дружбы между ними не было. Она впервые увидела Блока годовалым ребенком. Когда она вышла замуж и переехала на житье в Петербург, она часто виделась с нашей семьей, и между нами и ею были очень хорошие отношения. Блок не раз бывал у нее мальчиком в гимназические годы, а потом и студентом первых курсов. Она умерла, когда ему было лет 20, была с ним всегда приветлива и дружелюбна, но не более. Встреча Блока с Влад. Соловьевым, о которой он упоминает в статье «Рыцарь-монах», была на ее похоронах.

Самая интересная из сестер Коваленских была младшая,

Ольга. Она была среднего роста, с тонкой гибкой фигурой, но главная прелесть ее была в лице. Смуглое, со свежим румянцем, оно было полно жизни и необычайно подвижно. Лучшее всего были глаза: не то зеленовато-серые, не то светло-карие, они беспрестанно вспыхивали каким-то внезапным светом, зажигающимся изнутри. Черные брови и ресницы еще оттеняли их мягкий блеск. Густые каштановые волосы лежали пышными волнами, обрамляя лоб завитками. Небрежная, но живописная прическа чрезвычайно шла к ее лицу. В ее улыбке было что-то русалочье, а во всем ее облике нечто цыганское. Женственная мягкость и сжигающая страстность – таковы были основные черты ее. Как нередко бывает у девушки с сильным темпераментом, она часто влюблялась и была очень кокетлива – до замужества. Предметы ее увлечений были ничтожны и вообще не подходящи, что было очень опасно при ее пылкости. Но мать ее с своим удивительным тактом и мудрой дипломатией сумела отвести от нее все подводные рифы и мели.

Уже значительно за 20 лет Ольга встретила Мих<аила> Серг<еевича> Соловьева (сын историка и брат философа), за которого и вышла замуж в 27 лет. Ему было 20, он еще не кончил курса Университета на филологическом факультете. Это был самый счастливый брак, какой мне случалось видеть на своем веку. Более подходящих друг к другу супругов и лучших отношений я не встречала. Женились Соловьевы по взаимной страстной любви, без гроша денег. Кон-

чив курс, Соловьев сделался учителем географии и истории. Жили они очень скромно, но своеобразно и содержатель-но. О<льга> М<ихайловна> была художница. Талант ее был невелик. Но небольшие картины ее отличались изяществом и законченностью. Все они были проникнуты мистицизмом. Она училась у нескольких художников, провела год в Ита-лии, где тоже училась и изучала итальянское искусство. Но главным своим учителем она считала Поленова. Она очень любила его живопись и говорила, что его краски это то же, что Фет. Для себя она писала немного, ей приходилось вы-колачивать деньги, для чего она писала небольшие картин-ки с незатейливыми сюжетами, которые продавала в эстамп-ный магазин Дациаро, и делала копии на заказ с портретов офи-циальных лиц или царя. Ее любимцами в живописи были, во-первых, старые итальянцы и испанцы, а из более новых она особенно любила английских прерафаэлистов – Россет-ти, Берн-Джонса и других. Она зарабатывала деньги также и литературой. Она переводила то английские романы, то пьесы Метерлинка, она же перевела книгу Рескина «Сезам и лилии»<sup>42</sup>. Натура у нее была глубоко художественная, совер-

<sup>42</sup> См., напр.: Рескин Дж. Искусство и действительность. Пер. О. М. Соловье-вой. М., 1900; Рескин Дж. Сезам и Лилии. Пер. О. М. Соловьевой. М., 1901 (обе книги сохранились в библиотеке Блока; *Библиотека*, вып. 2, с. 212, 214). Далее упоминается статья О. М. Соловьевой «Элиу Веддер» («Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки», 1899, т. 3, № 8, с. 136–137). См. также комментарии С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова к письму М. А. Бекетовой А. Белому от 24 января 1931 г. – Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1987, с. 259.

шенно лишенная суетности, пошлости и буржуазности. Таков же был и муж ее. Они жили преимущественно духовными интересами. Особенно тонко понимали они стихи и живопись. Михаил Сергеевич во многом составлял контраст со своей женой. Во-первых, наружно. Он был блондин с шапкой вьющихся белокурых волос и замечательными голубыми глазами. Тонкое лицо его с орлиным носом было худощаво и бледно, голова несколько велика по его небольшой худощавой фигуре, но как-то не приходило в голову критиковать его наружность, настолько приятно было его лицо и так обаятельны были его манеры и ум. Жена его при всей своей пылкости была очень сдержанна, целомудренна и отнюдь не болтлива. Мих<аил> Серг<еевич> при мягкой манере отличался авторитетностью и твердостью без тени педантизма. При строгой принципиальности и, можно сказать, добродетели, он говорил, напр<имер>, такие вещи: «Что приятно, то полезно». Это было сказано в семейном кругу, где были и дети. На слова его я возразила: «Ну как же, Миша, а касторка? Ведь она же очень неприятна, а, между тем, полезна». На это он сказал мне шепотом на ухо, чтобы не подрывать авторитета старших перед детьми: «Она очень вредна». Он имел громадное влияние на жену и на сына. Последним он занимался больше, чем мать, которая была прежде всего супруга, от мадонны в ней не было ничего, но любя и сына, она любила мужа безумно и исключительно. Про Соловьевых можно сказать, что они были люди изысканные, но при

всей обаятельности жены муж невольно играл первенствующую роль по свойствам своего характера. Он был не только интересный и оригинальный человек, но и еще на редкость благожелательный. Будучи гораздо общительнее жены, он был также шире ее по своим интересам. Ее не интересовали ни общечеловеческие задачи, ни политика, ни государственность, тогда как все это было далеко не чуждо ее мужу. Ольга Мих<айловна>, как и муж ее, интересовалась философией, и их точки зрения, соприкасаясь с религией, насколько я знаю, были сходны. Но это была отвлеченная сфера. Интересы практической жизни, реальной, были чужды Ольге Мих<айловне>. Она старательно занималась домашним хозяйством и достигала очень хороших результатов, потому что это нужно было для мужа и для сына, но я представляю себе, что это было ей очень тяжело. По характеру она была исключительно замкнута и скрытна. До замужества, особенно в ранней молодости, она была очень нелюдима. Выйдя замуж за Мих<аила> Серг<еевича>, знакомства с которым добивались очень многие, она поневоле должна была войти в большой круг разнообразных людей, что было ей совсем непривычно. А между тем та атмосфера уюта, художественности и простоты, которая была наполовину создана ею, привлекала все больше и больше посетителей в маленькую квартиру Соловьевых, обставленную старой, даже ветхой мебелью, но украшенную большим количеством книг, художественных изданий, этюдов и пр. При безалабер-

ности русской и, в частности, московской жизни эти посетители звонили с утра и до вечера, мешая Соловьевым работать, а иногда прямо-таки жить. Пришлось назначить отдельные часы и дни для посещений, но это далеко не всегда избавляло от нашествия друзей и знакомых и в неприятные дни. Мих<аил> Серг<еевич> очень уставал от этой жизни, но Ольге Мих<айловне> это доставалось много труднее. Особенно удручали ее, правда, не часто, дамы, не женщины, а именно дамы, так как разговаривать о пустяках, вести специально женский или светский разговор она совсем не умела и почти заболела от напряжения после всякого посещения такого рода.

Должна сказать, что до ее замужества мы почти не знали Ольгу Мих<айловну>. Был довольно долгий период, когда мы вообще разошлись с семьей Коваленских и мало с ними видались. Это случилось после одного года, проведенного нами в Дедове, когда их семья жила там и зиму, и лето. Не стану приводить здесь причин нашего охлаждения. Моя мать и Ал<ексан>дра Григ<орьевна> остались до конца жизни в натянутых отношениях. Впоследствии это сгладилось, но близости между ними не было. Между прочим, Ал<ексан>дра Григ<орьевна> ревновала своих детей к «тете Лизе», которую они очень любили, но в то время это не касалось Ольги. Она держалась особняком, дичилась, уходила в свои книги, живопись и романтические грезы и была вообще существом загадочным и, как казалось тогда, несколько

странным. Мы слышали об ее увлечениях, о нервной болезни, близкой к психозу, которую она пережила, но собственно ее не знали. Наше сближение с ней началось, кажется, незадолго до ее замужества. Она почувствовала ко всем нам симпатию и особенно сблизилась с сестрой Александрой Анд<ревной>. Они больше всего сошлись в те годы, когда в Ал<ексandre> Андр<еевне> совершился тот перелом, о котором я говорила в своей книге «Блок и его мать», т. е. после ее второго брака. Ольга Мих<айловна> почуяла в ней родственную душу, одинокую и мятущуюся среди условий обыденной жизни. Между ними возникла деятельная переписка. Ольга Мих<айловна> писала не длинные, но очень содержательные письма, в которых отразились все ее интересы, особенности их жизни и глубокая усталость от этой жизни, несмотря на счастливый брак и полное согласие с таким мужем, как Мих<аил> Серг<еевич>. Между прочим, она была в вечной тревоге за его здоровье, действительно очень слабое. В заключение скажу, что Соловьевы любили всю нашу семью в целом и общий дух ее. Мы платили им тем же. В редких случаях, когда мы с ними видались – несколько дней, а иногда и часов в Петербурге, в Шахматове и в Дедове – это было для всех нас особо счастливым событием. В Москве в их милой обстановке была только наиболее подвижная сестра Катя, которая вынесла от этого посещения совсем особое впечатление чего-то исключительно привлекательного, приятного и интересного. Очень ярко запомнились мне Соловьевы, когда



они приезжали к нам на несколько часов после свадьбы в Шахматове в день моих именин 22 июля ст. ст. По обыкновению в этот день были гости с разных сторон, жаркий день и чрезвычайно вкусный обед, поданный под липами, который завершился земляничным мороженым. Торопясь на поезд, Соловьевы ели это мороженое стоя. Ольга Мих<айловна> была очаровательна в своем розовом батистовом платье, отделанном желтоватыми кружевами. Ее пышные темные волосы выбивались из-под кружевной шляпы, глаза сияли. Вся она была олицетворением счастливого оживления и казалась гораздо моложе своих лет. Тогда еще ее не коснулось то, что называется «прозой жизни». Она была беззаботно счастлива. Но мятущаяся душа ее была из тех, которые обречены на страдание. В ней были темные и загадочные глубины. В течение жизни она написала несколько небольших статей с очень оригинальным содержанием. Одна из них – «Мое посещение Веддера» – дает некоторое объяснение этой загадочности. Американский художник Веддер, талантливый представитель символизма в живописи, поселился в Риме. Ольга Мих<айловна>, путешествуя по Италии вместе с мужем, пожелала видеть картины Веддера и при помощи своих американских знакомых добилась чести осмотреть его мастерскую. Впечатление от его картин, написанных на сюжет книги какого-то восточного поэта, было потрясающее. Веддер сказал, что он пишет эти картины по какому-то мучительному и непреодолимому влечению и считает, что

это его проклятие. Картины эти не многим были понятны. Когда же Ольга Мих<айловна>, на лице которой, очевидно, отразилось то, что она чувствовала, спросила Веддера, почему же она понимает его картины, он ей ответил: «А, может быть, и вы тоже прокляты». Это и был, очевидно, тот «проклятый мир», в котором томилась душа Ольги Мих<айловны>. Я думаю, что Мих<айл> Серг<еевич> пробовал вывести ее из этой темницы, но едва ли часто это ему удавалось, так как это было ее понимание мира, органически связанное с ее натурой.

Мне остается сказать только о братьях Коваленских, Николае и Викторе. Михаил умер в молодых годах, когда я еще не могла его видеть. Оба брата не имели никакого отношения к Блоку, он виделся с ними редко и мимолетно, поэтому я скажу о них очень немного. Ник<олай> Мих<айлович> был человек веселый и покладистый. Его невинные остроты и юмористические выходки были непосредственны и действительно очень смешны, но иногда впадали и в пошлость. Кончив курс в Московском университете, он пошел по судебной части. Долгое время он жил в Москве, служа в окружном суде. У него была та же склонность к живописи, как у сестры Ольги, с той только разницей, что она настойчиво развивала свои способности и достигла наибольшей степени того, что ей было дано от природы, а он учился только в самые молодые годы и, рано женившись, забросил уроки, но не живопись. Он всю жизнь рисовал пейзажи

или этюды масляными красками или карандашом, но, разумеется, его работы носят характер дилетантизма, хотя, быть может, он был и талантливее сестры. В юные годы он даже снимался в бархатной блузе с палитрой в руках. Приехав к нам в Шахматово, он сделал карандашный набросок, срисовав нижнюю дорожку, где очень удачно передал игру теней и солнечных пятен. Ранняя женитьба по любви не принесла ему счастья. У него был сын и две дочери. К жене он охладел довольно скоро и много раз ей изменял. Кончилось тем, что уже в зрелых годах жена потребовала, чтобы муж оставил семью. Его родные, конечно, очень осуждали этот поступок, но люди беспристрастные, судившие дело по существу, должны были признать, что она совершенно права и лучше было расстаться, хотя бы и поздно, а не тянуть отношения, давно уже испорченные по вине мужа. Жена Никол<ая> Мих<айловича>, Надежда Федоровна, талантливая пианистка, окончившая курс Москов<ской> консерватории по классу Николая Рубинштейна. Расставшись с мужем, она завела музыкальную школу, которая дала ей возможность содержать себя и детей при известной помощи со стороны мужа. Виктор Михайлович был по образованию математик. Кончив курс в Москов<ском> университете, он получил через несколько лет кафедру приват-доцента, а после революции сделался профессором механики. Он любил свой предмет и был довольно хорошим лектором, а также давал уроки математики в нескольких учебных заведениях. Он доволь-

но рано женился по склонности на девушке без всякого состояния, некоторое время учительствовал в провинции, а затем вернулся в родную Москву, где и умер не так давно. По характеру он был похож на отца: то же бесконечное добродушие и неуклюжесть, та же чувственность и смирение. Мать и Нат<алья> Мих<айловна> предпочитали Никол<ая> Мих<айловича>, но Соловьевы большие любили Виктора и Ал<ексан>дру Мих<айловну>. С последней они были особенно близки. С матерью и сестрой Нат<альей> Мих<айловной> Ольга Мих<айловна> была далека. Соловьевы вообще держались несколько в стороне от остальных жителей Дедова и жили особняком в своем флигеле. Только Сережа любил проводить время с бабушкой, в чем ему никто не препятствовал.

# Глава XI

## Окрестности деревни и крестьяне

### Гудино

Гудино, как ближайшая к нам деревня, было нам наиболее знакомо. Мы знали всех его жителей наперечет. В деревне было домов 20 по одному порядку. Дорога туда шла все лугами или мимо пашен. Воду гудинцы брали из ручья, что был в конце деревни. Деревня сама по себе не была живописна, но виды из нее открывались широкие. У одной избы росла старая рябина, у другой недурная старая липа. Самый хозяйственный и верный человек был Иван Сергеевич Налим. Это был человек среднего роста, коренастый, с лицом, напоминающим известный тип фламандских картин, не красивых синдигов с правильными чертами, а широколицых бургомистров, умеющих наживать деньгу и копить добро. У Налима было двое детей: мало заметный Кузьма и дочка Груша, которая несколько лет жила у нас в услужении в Шахматове. У нее было некрасивое, но очень живое и милое лицо с темными бровями и голубыми глазами. Ее хорошо выучила грамоте одна из купчих Портновых (наша временная соседка по имению). Груша читала с толком и очень любила кни-

ги, от чего заметно развилась и стала лучше говорить. Живя у нас, она ничем не выделялась, но в дальнейшем приятно было видеть в ней хорошую перемену и с ней встречаться. Между прочим, она вышла замуж за того, кто ей полюбился, что редко бывало в те времена. Крестьянских девушек, как известно, выдавали, за кого находили нужным по семейным расчетам. Замужем Груша была счастлива и с нами сохранила хорошие отношения. Между прочим, у нее был звонкий голос, и, живя у нас, она вечно пела песни, которые раздавались по всему двору. Пела она не лучше других баб, которые в Московской губ. поют ужасно, главным образом стараясь петь погромче. Они так и говорят не петь песни, а «кричать песни», исключения редки. Я записала в свое время некоторые из Грушиных песен, но эти записи погибли в Шахматове. Кроме народных песен, пели в то время много романсов, взятых из песенников, «Отчего эта ночь так была хороша» и др. Я более или менее запомнила один Грушин романс, который она пела, как всегда, без всякого выражения, повторяя две последние строфы каждого куплета. Вот слова в Грушином произношении:

Во сне, как ангел, мне явился

...

Блеснув, ка-ак молния, он скрылся,

Наве-ек спокойствия решил.

Блеснув, ка-ак молния, он скрылся

Наве-ек спокойствия решил.

Вернись, ве-ернись, мой ненаглядный,  
Вернись ко-о девице своей.  
и т. д.

Романс кончается следующими потешными, очевидно переделанными словами:

Резвись, играй, моя Розета,  
И не влю-убляйся ни в ко-го.  
В твои ле-ета любить опасно,  
И ты за-авянешь, как трава.

Грушиному отцу Ивану Сергеевичу давались обыкновенно наиболее ответственные поручения, вроде посылок припасов тете Соне, которые он исполнял в точности. Он не способен был ни украсть, ни потерять порученное ему добро, ни напиться дорогой и все привозил в сохранности. Один из самых заметных гудинских мужиков был Егор Колобок, очень хороший работник, но горький пьяница, человек небольшого роста, коренастый и бледный. У него была красивая черноглазая жена Ольга и несколько дочерей. Егор Колобок отличался необычайно витиеватостью речи. По крайней мере так разговаривал он с господами. Он беспрестанно употреблял такие слова, как «двистительно», «не выделяющих из обнаковенного» и т. д. К сожалению, я не помню ни одной его целой фразы такого рода. Но не могу забыть, что объясняя моей матери, что не следует слишком жарко топить, он ска-

зал ей: «Ваше присхождение, ведь эдак можно посудины решиться». Налим умер довольно рано от какой-то тяжелой болезни у себя дома, а Колобок замерз в пьяном виде по дороге с Подсолнечной уже в последние годы нашего шахматовского житья.

Выделялся мужик Владимир Ястребов. Этот был скорее цыганского типа. Хорошо грамотный, он почитывал книжки, но от этого в голове его образовался изрядный сумбур. Он был красобай, бахвал и страшный болтун, человек довольно беспутный и большой пьяница. Жена его Александра, красивая, ловкая баба с большими зелеными глазами, кажется, презирала мужа и махала рукой, когда он в ее присутствии начинал нести околесицу. Мужик Филипп отличался от своих односельчан только красивым лицом почему-то чисто еврейского типа. У него была мало заметная жена и удивительно красивая дочка Поля, тоже смуглая брюнетка, но не похожая на отца.

До замужества она была прелестна, но, выйдя замуж, скоро погрубела и потеряла свое очарование, как большинство русских крестьянок, теряющих свой первоначальный облик в тяжелой бабьей работе. В Гудине в наше время было несколько очень хорошеньких девушек. Другая красотка, тоже Поля – высокая голубоглазая блондинка, происходила из семьи Платоновых. Родоначальник ее, дедушка Платон, был живописный высокий старик с великолепными белыми сединами. Сына его я не помню, жену – тоже смутно, а ясно



помню дочь его Ольгу и внучат Полю и Ваню, брюнета, тоже очень красивого и в детстве и ранней юности; возмужав, он потерял красоту, но был строен, высок и веселого нрава. У него была миловидная, веселая жена Саша. Жили они недурно, но Иван изрядно пил... Помню, как он в какой-то праздник пришел к нам в Шахматово и сильно навеселе плясал перед кухней.

Семья Борисовых была нам хорошо знакома. Сначала старик отец, а потом и сын его, успевший уже поседеть к концу нашего пребывания в Шахматове, часто у нас работали, возили на своих лошадях наши вещи на станцию и пр.

Но сами они ничем не выделялись. Гораздо интереснее были их двое воспитанников – так называемые Романыч и Ананьевна. Того и другую мы узнали уже в зрелом их возрасте. Им посвящу я особую главу, а пока бегло вспомню других.

Одна из самых бедных крестьянок в Гудине была вдова Агафья, уже немолодая в наше время – кругленькая бабенка с жалобными карими глазами и просительными интонациями. Ее очень обижали односельчане. Она зарабатывала себе на хлеб, чем могла, не гнушаясь ни сводничеством, ни воровством, ни попрошайничаньем, но была очень усердная работница и имела нежное сердце. Она обожала своего сына Степу, из которого сделала хорошего мастерового, и при нас его женила. Умом она не взяла и отличалась какой-то особой наивностью. Тащила, что могла, а когда однажды мать

моя попеняла ей за то, что застала ее за выламыванием досок из нашего забора, она преспокойно ответила: «А где ж мне взять-то?» Сколько я помню, изба ее служила одно время местом ночных попоек, оргий – тоже один из ее заработков. Несколько раз мы нанимали ее летом в судомойки, но ее вороватость и глупость заставили хозяйку заменить ее более ловкой, умной и честной Ананьевной.

Совсем особое место занимали две семьи. Самый зажиточный из гудинских крестьян был Николай Дмитриевич, фамилии которого я не знаю. Он был московский мастеровой, шляпочник, служил в магазине известной мадам Вандраг (Wendrague) и зарабатывал хорошие деньги. Он приезжал домой на лето для сельских работ и отдыха. Жена его, портниха, и, кажется, бывшая дворовая – Татьяна Ивановна, женщина рыхлая и несколько претенциозная, с гордостью говорила, что она никогда не знала крестьянской работы. Она шила за небольшую плату на своих односельчан, а иногда и на нас и воспитывала одно время за хорошие деньги двух детей какого-то богатого фабриканта, кажется, француза. Потом она взяла себе воспитанницу, которую очень любила. Из этой Сани выросла разбитная красавица цыганского типа, которая часто бывала у нас в гостях и на поденщине, пела песни и сильно кокетничала с денщиками отчима Блока Франца Феликсовича. На зиму она уезжала в Москву, где служила в горничных. Татьяна Ивановна много рассказывала о том, как она ловка и как ею все довольны. Николай

Дмитриевич был большой ходок по женской части и, между прочим, ухаживал за няней Саши Блока, так называемой няней Соней, но ухаживание было почтительное. Он был высокий блондин сильного сложения, потерявший мужицкий облик. Лицо у него было неприятное и некрасивое, с налетом пошлости. Жена его, тоже истая мещанка, была симпатична своей сердечностью.

Совершенно противоположный характер имела другая семья. Довольно было взглянуть на их полуразвалившуюся избу на дальнем краю деревни, чтобы понять, что они очень бедны. Красивый рослый Федот и жена его, нежнолицая хорошенькая Фиона, отличались тем, что, имея много детей, которые все оставались живы, не хотели работать. Федот время от времени нанимался к каким-то помещицам, Фиона предпочитала попрошайничать, ничего не делать. Эта странная и очень согласная пара отличалась от всей деревни. Дети их были страшно бледные, но очень миловидные.

В общем, можно сказать, что деревня Гудино, как и все деревни в нашем соседстве, была небогатая. Надел у крестьян был маленький, леса у них не было. Пьянство и косность мешали им выбиться из незавидной доли. Кроме того, дело портила близость Москвы. Только, бывало, начинает подрастать мальчик, его уже отдавали в Москву в ученье. Все почти были картузники. В Москве парни баловались, часто приобретали дурную болезнь. Возможность все купить в Москве или даже на Подсолнечной делала то, что крестьяне не раз-

водили никаких овощей, кроме картофеля, капусты, гороха и лука, даже морковь и репу они покупали. В наше время в деревне не было ни одного плуга и молотили цепами, как и у нас до самой смерти наших родителей. Грамотны были, конечно, только дети. Ближайшая школа от Гудина была за пять верст в Тараканове, или в другую сторону – в Семеновском, где было имение Шатловских. Учили плохо: дети читали без смысла и очень скоро забывали грамоту. Правда, малейшее поползновение расширить программу, ввести более интересное чтение или дать хотя бы элементарное понятие о географии и истории встречало противодействие со стороны властей. Духовенство не имело влияния. Разумный священник, пожелавший просветить и развить своих прихожан, конечно, тоже не встретил бы поощрения. Все они за редкими исключениями были пьяницы и занимались главным образом набиванием кармана. В плохих приходах они бедствовали, в хороших богатели.

Не знаю, почему наша округа была особенно бедной и ближайшие деревни все были мелкие. Богаче других было Тараканово, за 8 верст в соседстве Менделеевых деревни были гораздо больше и богаче. Не берусь решить, в чем тут дело. Весной мужики и бабы неизменно приходили встречать нас с приездом, приносили яйца и получали несколько рублей на водку. При этом мужики вели себя очень низкопоклонно (ведь со времени крепостного права прошло около 15-ти лет), говорили, что мы их отцы, а они наши дети, низко

кланялись и т. д. Бабы за всякую услугу или подачку неизменно бухались в ноги и целовали ручку. Отучить их от этого было невозможно.

Среди мужиков бывали очень умные и толковые люди, с которыми приятно было поговорить. Особым остроумием и тонкостью отличался очень вороватый и плутоватый Яков Кривой (один глаз у него был с бельмом), пришлый мужик, записавшийся в Гудинское общество, который облапошивал одно время и нас, живя у нас в работниках, а впоследствии нанялся в сторожа к купцу Тябликову, последнему владельцу соседнего с нами имения. Отец Тябликов был богатый купец, имевший в Клину изразцовую фабрику. У него было несколько сыновей, один из которых, красивый и рослый, часто наезжал в имение отца во время сенокоса. Нагнав уйму баб, он угощал их вином и, присматривая за уборкой сена, веселился.

Сено набивал он в большой сарай, но, живя у Якова по целым неделям, давал ему за постой не больше двугривенного и жил совершенно по-свински. Он был холостой и очень не прочь был поухаживать за местными красавицами, но никому не удавалось его женить на себе. Что касается Якова Кривого, то ему жилось у Тябликова неплохо. Был у него домик, корова и лошадь. Не платя ему жалованья, Тябликов дал ему право сеять на его земле сколько ему нужно для собственных потреб. Яков был уже стар, но еще крепок, когда поселился у Тябликовых. Жена его, тетка Степанида, известна была тем,

что у нее особенно хорошая капуста, яйца, молоко и т. д., но детей своих, которых было не меньше тринадцати, она не сумела сберечь: все умерли, неизвестно почему. Яков сеял рожь, овес и ячмень, сажал картофель и капусту, которую жена его усердно поливала из ручья. Яков зарабатывал кое-что с нас за разные услуги, вероятно, продавал часть своего урожая и поворовывал у Тябликова, но жил, как бедный мужик, а деньги копил и прятал где-то в усадьбе. Когда мы спросили у него, почему он не положит их в банк, он с хитрым видом, прищуривая здоровый глаз, ответил: «Зачем же солдат мучить?» Про какую-то несчастную клячу он сказал: «Да это что ж за лошадь? На ней только дым возить». Яков был высок, худощав и черноволос. У него был прямой нос и маленькая бородка клинышком. Он особенно хорошо косил и был вообще прекрасный работник. Делал он все не торопясь, всегда был спокоен и не обращал никакого внимания на то, когда его упрекали в каком-нибудь плутовстве, а, впрочем, не возражал. У него, что называется, брань на ворота не висла. Но у нас в семье и не принято было браниться. А Якова любили за остроумие. Отец, неизвестно почему, называл его Jacob Fidele<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Яков Верный (*фр.*).

## Шепляково

С балкона и из комнаты отца видна была еще одна деревня, отстоявшая от Шахматова не далее, как за полторы, две версты. Это было Шепляково. Оно стояло у края высокого холма. От нас видно было несколько изб и крутая дорога в гору с двумя-тремя плохими елками по бокам. Эта гора начиналась сейчас за ручьем, протекавшим под горой, на которой стояла соседняя с нами «усадебка чья-то и ничья». Шепляковский холм возвышался над всей нашей местностью. Подъем в гору был длинный и трудный. Деревня стояла как-то нескладно над обрывом, была особенно бедная и состояла всего из нескольких изб. Шепляковские мужики, в противоположность малорослым и корявым гудинским жителям, были высокие, с правильными, благообразными лицами и светлорусыми бородами. Они казались очень степенными, но это было обманчиво: они были отчаянные пьяницы, как, впрочем, и большинство наших соседей, доказательством чего было то, что, купив у нашего соседа через крестьянский банк очень нужный им луг, в течение многих лет ни разу не внесли процентов, вследствие чего луг этот вновь отошел к помещику.

Шепляковские бабы были не так красивы, но зато гораздо хозяйственнее. Они много работали и не пьянствовали, как их мужья. В наше время была хорошо известна шепля-

ковская Анна, женщина лет 50-ти с очень умным и оригинальным лицом, несколько схожая с покойной А. М. Калмыковой<sup>44</sup>, но приятнее. Она была интересна тем, что подняла целую семью своими трудами, так как муж ее, человек ужасного нрава, чуть ли не разбойник, пропал без вести или на каторге, я не помню точно. Анна искренно радовалась тому, что избавилась от этого супостата, и бодро, работала на своих детей. Она бывала у нас на поденщине и приносила грибы и ягоды. Но чаще всех бывала у нас шепляковская Катерина, некрасивая, но очень кокетливая и ловкая баба, полувдова, жена сумасшедшего мужа. Она то и дело работала у нас в огороде или в поле.

---

<sup>44</sup> *Александра Михайловна Калмыкова* (урожд. Чернова, 1849–1926) – деятельница в области народного образования.



## Ананьевна и Романыч

Ананьевна и Романыч, как их все называли, были воспитанники одной и той же семьи Борисовых, т. е. взятые из воспитательского дома дети, на содержание которых получали несколько рублей. Этим «шпитатам», как говорили тогда в Московской губ., давали отчество их крестного отца. Ананьевну звали Дарьей, а как звали Романыча, не помню. Держали их у Борисовых в черном теле, особенно Романыча, который пропивал обыкновенно свой заработок. Моя прислуга Аннушка сама видела, как ему ставили еду на пол у порога, как кошке. С Ананьевной этого не делали, потому что она была добытчица. Она тоже любила выпить, но умела беречь деньги и копить добро. Романыч был богатырь: высокий, широкоплечий, смуглый, с копной вьющихся черных волос. Один глаз у него был страшного вида: весь в кровавых жилках, с бельмом, это очень портило его лицо, но добродушнейшая улыбка смягчала тяжелое впечатление от глаза. Ходил Романыч всегда в красной кумачной рубашке, что шло к его полуцыганскому типу. Он был человек добрый и кроткий. Он никогда не ругался и долю свою терпел безропотно. Ему вообще не везло. Между прочим, от него убежала жена. У нас он жил по целым годам, уходил внезапно, вероятно, чтобы пропить, что заработал, так как имущества у него никакого не было даже в зрелые годы. И мы, и прислуга

наша его любили. Работал он великолепно, обладал огромной физической силой. Но вот и все, что я могу сказать про Романыча. Другое дело Ананьевна. Эта маленькая женщина незаметной наружности, всегда аккуратно одетая и гладко причесанная, ходила в темных юбках и кофтах с платком, завязанным под подбородком. У нее были маленькие, серые глазки и некрасивое лицо, казавшееся старше ее лет, но это была женщина очень умная и своеобразная. Про нее ходила дурная слава. Говорили, что она ушла от мужа и поступила в веселый дом, где заразилась дурной болезнью. Когда моя мать стала брать ее на работу, она ничего этого не знала. Если она и была больна сифилисом, то, очевидно, она вылечилась от этой болезни, у нее остался только хриплый голос, а от прежней жизни привычка ежедневно пить водку. Пила она умеренно, напивалась только по праздникам, причем вела себя смирно, но без водки жить не могла. Она была очень болтлива, охотно, хотя и негромко, пела и плясала, последнее только изредка. В Шахматове она работала в саду и на ягодниках и, кроме того, была судомойкой, что при поздних обедах и громадном количестве употребляемой нами посуды очень облегчало кухарку, у которой после обеда, подаваемого к шести часам, не было бы и свободного вечера. В противоположность Романычу, который вел себя очень независимо, Ананьевна старалась подслуживаться не только господам, но и кухарке, надеясь получить от нее лишний кусок. Обедала она летом вместе с нашей прислугой, страшно ценя

воскресные пироги и другую вкусную снедь. Нашего приезда она ждала с нетерпением. Последние годы она жила у нас и зимою за 4 рубля в месяц на наших харчах. Как только сходил снег, она начинала чистить сад: убирала опавший лист, скребла скребком дорожки и посыпала их песком, который привозил из-под сада работник. К нашему приезду все это было сделано и, кроме того, разрыхлены и выполоты цветники для летников и те, в которых были розы и пионы. Иногда она чересчур усердствовала и портила форму цветника, но, в общем, работала хорошо. Летом ей было меньше работы в саду, только иногда подчищала она дорожки, в цветниках мы работали сами, но особенно она полола ягодные гряды и обкладывала каждый кустик навозом. Работая, она все время пела себе под нос, по этому бормотанью всегда можно было узнать, где она. Она была ужасно рада, когда кто-нибудь из нас оказывался на ее пути, немедленно вступала в разговор, и тут болтовне ее не было конца. У нее были вполне крепостные понятия. Она прекрасно помнила время барщины, а когда произошла революция, не верила, что крестьяне перестанут работать на помещиков. «Всегда мы будем на вас работать», – говорила она. К господам она чувствовала большое почтение. В ее представлении все у них было грандиозно и нарядно и рисовалось сообразно этим понятиям. Так, она рассказывала, что сестра наша Екатерина Андреевна ходила в белом платье, чего никогда не было, а когда побывала в имении сестры Софьи Андреевны – Сафонове, где

был большой красивый дом очень барского вида, ей представилось, что внутренняя лестница там покрыта красным сукном. Мать наша очень ее любила за усердие в работе, понятливость и своеобразные разговоры. У Ананьевны были живописные выражения. Про красные цветы она говорила: «Вот когда цветы-то вспыхнут!» Когда кто-нибудь сердился или ворчал, она говорила: «Вот как начнет шуметь, вот шумит, вот шумит!» Про меня она говорила, что я «желанная». Это значило что-то вроде милая. Живя у нас и получая из года в год подарки, Ананьевна не только приделалась, но и справила себе все, что нужно для погребения, и скопила приданое для нежно любимой ею Маньки Борисовой, тоже воспитанницы, которая выросла на ее глазах в этой семье. К сожалению, я не помню тех песен, которые пела Ананьевна. Слышала от других про одну из них, едва ли общеизвестную. Там есть такие строки:

Питер женится,  
Москва замуж идет,  
А Клин хлопочет,  
В поезжан ехать не хочет.

Когда Ананьевне пришлось жить зимой с латышами, она была очень недовольна. Все было у них не так, как она привыкла: говорили они по-своему, а по-русски очень плохо. Она пресерьезно рассказывала: «По нашему – полка, а по ихнему – палка». Она на них не жаловалась, а только скучно

ей было с ними.

## Осинки и Тараканово

Деревня Осинки, земля которой примыкала к нашей, была от нас дальше Гудина, и дорога туда была менее удобна, и потому, хотя осиновские крестьяне часто работали у нас и вообще имели с нами дело, мы знали их меньше гудинских. Эта крошечная и бедная деревенька, кажется, в семь дворов, лежала совсем близко от Тараканова, деревни более зажиточной и живописной. Об Осинках я могу сказать только то, что, в противоположность Гудину, у тамошних крестьян был хороший лес; они могли бы жить хорошо, если бы не близость казенки, которая была под боком в Тараканове. Про многих осиновских баб ходила дурная слава: говорили, что они очень развратны. Я помню, однако, очень милостивую белокурую Фросю с большими голубыми глазами, которая еще девушкой жила у нас одно время в горничных и на наших глазах вышла замуж за своего односельчанина Петра. Он тоже жил у нас одно лето в работниках, что было незадолго до женитьбы Блока, который с ним подружился и ездил с ним вместе верхом и в телеге в Боблово. Вообще я мало знаю об этой заурядной деревне, а потому перейду к описанию более интересного Тараканова, куда мы часто ходили гулять.

Путь в Тараканово шел сначала по Подсолнечной дороге до колодца. Дальше можно было пройти, свернув направо в

осиновый лес и, пройдя вверх по осиновой лесной дорожке, спуститься по ней же вниз к Осинкам, а оттуда свернуть влево на большую дорогу. Чаще ходили более легким путем через толченовское поле мимо перекрестка, где всегда оставались сидеть и любоваться на живописный беспорядок, в котором разбросаны были избы небольшой деревни Фоминское. От перекрестка сворачивали направо и, миновав Осинки и разные участки леса, подступавшие к дороге, подходили к деревне Тараканово, в конце которой была барская усадьба, совершенно заброшенная, но очень живописная. Самая деревня была по нашим местам довольно большая и одна из зажиточных, несмотря на кабак, превращенный позднее в винную монополию, где торговал уже не кабатчик, а «винополец». Деревня была вытянута в два порядка изб, которые были обстоятельного вида, крепкие и прямые, некоторые даже с дранковой крышей. В конце деревни, немного поодаль, виднелся небольшой, но очень глубокий пруд, по берегам которого росло несколько старых берез. Его особенность состояла в том, что он был выше уровня той местности, которая была дальше за ним. На берегу пруда, со стороны противоположной деревни, стоял барский дом, а справа подходил к нему сад. Дом был красив: большой ящик под ржавой железной крышей красного цвета. Балкон, выходивший в пруд, был снят, окна наполовину заколочены. В саду были заросшие дорожки, лужайка с кустами шиповника и одичалой сирени; аллея из старых берез шла по краю

обрыва того холма, на котором расположена была усадьба. За домом среди лужайки стояла белая каменная церковь с зеленой крышей, около которой среди кустов и группы лип виднелось несколько заброшенных могил с покосившимися крестами. Церковь была довольно большая и старая, необычайной для наших мест архитектуры, внутри были старинные образа и лепные украшения, несвойственные православным храмам. По словам старожилов, церковь строил капитан Тараканов, который жил при Екатерине II. Это та самая церковь, в которой венчался в 1903 году Александр Блок.

Теперь, по слухам, она уже обречена на слом. В наше время около церкви была некрасивая деревенская колокольня, совершенно несоответствующая стилю главного здания. Прежняя сгорела от молнии.

Таракановская усадьба сама по себе была интересна только тем ароматом поэзии, который всегда сопровождает старину и заброшенные места. Березы заглохшего сада сильно разрослись, сквозь щели в ставнях окон поблескивала старая мебель. Можно было сколько угодно фантазировать над тем, кто гулял здесь когда-то в платьях старинного покроя и что вообще могло здесь происходить. Белая церковь была очень интересна, но лучше всего была местность за барской усадьбой. Под зеленым холмом за церковью шла дорога, обсаженная старыми липами и ивами. С другой стороны холма, где по краю шла березовая аллея, спуск был крутой и обрывистый. Внизу протекала река Лутосня, которая извивалась



в зеленых берегах между деревьями и лугами. Она огибала холм и с другой стороны и текла влево от Тараканова к имени Дубровки и дальше. В одном месте на запруде стояла мельница. За этим местом река разливалась по лугу вдоль дороги чуть заметной прерывистой мелкой струей, а, пройдя луг, становилась более полноводной и, огибая крутой спуск холма, шла дальше вправо в сторону Шахматова.

Не доходя до обрыва, через реку был перекинут широкий деревянный мост с перилами. К нему и подходила дорога, обсаженная деревьями. За мостом дорога шла уже в гору, поднимаясь довольно круто и очень неровно. Ехать здесь было сущее мученье, но вид был хорош. По другую сторону дороги за белой церковью, отделяемый большим лугом, поднимался высокий зеленый холм, наверху которого среди густой зелени виднелась сельская церковь – большое длинное здание с остроконечной колокольней, пестро расписанное в красный и синий цвет. Все это было грубо, но очень эффектно. Левее мельницы в конце села была лавка купца Старикова. Среди деревни была, помнится, еще одна лавка.

Мы с сестрами только раз были в таракановской церкви во время обедни. Родители, кажется, и совсем туда не заглядывали, да и все мы были не настолько богомольны, чтобы перетерпеть ужасное служение нашего приходского попа и всего его причта. Раз в год в Ильин день (20-го июля ст. ст.) в наш приходской праздник мы приглашали священника с причтом, который, обходя соседние деревни, заходил и

к нам, причем служил молебен перед иконой Ильи-пророка и оставался для угощения вместе с дьяконом. После закуски с вином и водкой, пирога и чая с вареньем, поп получал обычную мзду и отправлялся дальше в своей тележке на одной лошади, а за ним виднелась на гудинской дороге пестрая толпа таракановских девок и баб в праздничных платьях. Тут же шли, конечно, и мужики. За трапезой мои родители изо всех сил старались занимать священника разговором и усиленно угощали его и дьякона. Дьячка, псаломщика и просвирню угощали особо в девичьей комнате. Дьякон был скромный рыжий человек совершенно безобидного нрава, но священник был очень заметен в отрицательном смысле. Необыкновенно грубое лицо его было, что называется, помелом писано. Черные и непокорные волосы, тоже черные необычайно толстые изогнутые брови, приплюснутый нос и вывороченные губы. Он был горький пьяница и, вероятно, неистово скучал в своем захолустье, так как, к удивлению, не имел детей. Драл буквально с живого и мертвого. Про него рассказывали, что он не соглашался хоронить покойника, если ему не приносили каких-нибудь припасов, и, помахивая куском пирога, говорил: «А что же покойник голый, что ли, пойдет?» Это означало, что надо принести или платок, или холста. За наше нерадение по части хождения в церковь он впоследствии нас-таки наказал. Когда скончался в Шахматове отец, священника насилу уломали служить панихиду, он говорил, что не знает, какого вероисповедания был господин

Бекетов, так как никогда не видал его в церкви. Но мы послали за ним лошадей и так хорошо угостили и заплатили, что он остался доволен и перестал сопротивляться, но впоследствии опять вышла история со свадьбой Блока. Священник долго не соглашался венчать его, уверяя, что, наверно, тут есть какая-нибудь неправильность. «А, может быть, они родственники?» – говорил он. Насилу уладили это дело.

К молебну в Ильин день ставили в угол под большую старинную икону божьей матери, которой благословляли к венцу нашу мать, небольшой стол, накрытый белой скатертью, с миской воды и кропильницей из липовых веток. На стол ставилась приносимая причтом икона Ильи-пророка, и после обычных приветствий начиналось служение.

Священник служил молебен дико и безобразно, с преувеличенными возгласами, когда доходило дело до поминания особ царствующего дома. Его интонации были до такой степени грубо комичны и несоответственны благолепию, что трудно было удержаться от смеха во время его служения. Один из моих родственников, присутствовавший раз на молебне, боясь расхохотаться, ушел в соседнюю комнату и выскочил в окно.

Кончил этот священник плохо. Он допился до того, что уронил во время службы чашу с дарами, за что его могли расстричь и сослать в Сибирь. Он отделался тем, что дал взятку знакомому благочинному, который замаял это дело. Вскоре после этого случая он и умер. Надо сказать правду, что та-

кого попа я видала первый раз в жизни, нам особенно не повезло в этом отношении. Тот священник, который поступил на его место, был гораздо развитее и благообразнее, но зато начал с того, что стал просить у нас денег, чего старый никогда не делал, и вскоре прекрасно устроился, служа агентом в страховом обществе. Помимо этого, он был очень приятный человек, брал у нас книги, которые возвращал в сохранности, цитировал Чехова и мило разговаривал. Пожалуй, дикий поп был не хуже, если не лучше ловкого молодого: он был искреннее и безыскусственнее. А, впрочем, я не знаю его отношения с крестьянами, а потому предоставляю судить обоих попов читателю.

## **Глава XII**

# **Шахматовское хозяйство.**

## **Отец в деревне. Наши отношения с крестьянами**

Все заботы по шахматовскому хозяйству, включая сюда огород, скотный двор, сельские работы и т. д., лежали на матери. Отец совсем не входил в эти дела. Если кто-нибудь из соседних крестьян, придя по делу, обращался к нему, как к хозяину имения, он отмахивался от них и говорил: «Обратитесь к барыне, я здесь отдыхаю». Должно быть, мужики очень удивлялись: во-первых, хозяин не желает знать ничего о своем хозяйстве, во-вторых, по их понятиям, ему не от чего было и отдыхать, они думали, что барину только и дела, что отдыхать, и, конечно, не знали, что А. Н. Бекетов занимается наукой, читает лекции, заседает в университетском совете и различных ученых обществах, пишет книги и проч. От всего этого он, конечно, имел полное право отдохнуть летом, но все же такое полное отсутствие интереса к собственному хозяйству могло удивить не только крестьян. Но таков был отец. Его летний отдых состоял главным образом в прогулках, дома он читал газеты и журналы, определял принесенные из лесу и с лугов растения и на основании своих на-

блюдений работал над научными статьями. В сколько-нибудь сносную погоду он уходил гулять или один, или в обществе дочерей. Особенно любил он гулять в жару. С утра уже выходил он, облеченный в летний костюм: парусиновый пиджак, жилет и брюки. За утренним чаем обсуждалось, куда пойдут гулять. До завтрака можно погулять в Праслове, после завтрака пойти подальше. Собрались, например, в Праслово. Отец надевал на свои пышные седины желтую соломенную шляпу с черной лентой, вывезенную еще в 60-х годах из Италии, вешал через плечо зеленую бюксу, т. е. жестянку для растений, с широкой зеленой тесьмой, и брал палку. Мать и бабушка по обыкновению остаются дома, а мы четверо идем с «папочкой». В зеленую бюксу отец кладет по дороге какие-то цветы и травы, а мы собираем пучки желтых купальниц, перистый папоротник, грушевку, смотря по тому, что цветет в данное время. Из всего этого составляем дома букет. Приходили часто с опозданием, но веселые и довольные.

Мать тем временем занималась хозяйством. Проведя в деревне с 5 до 19-ти лет, она, конечно, знала элементы мужицкого хозяйства и вела наше по точному его образцу, не мудрствуя лукаво и даже не пробуя заводить никаких новшеств. Я говорю, разумеется, о сельском хозяйстве. Обыкновенная трехполка, т. е. рожь яровая и озимая, овес и пар, потом ввели клевер. Вот все, что было в Шахматове. Сажали еще картофель. Даже плуг завели не сразу. Из машин была толь-

ко веялка. Пашни обрабатывали обыкновенно свои работники, которых было обыкновенно два. На бороньбу брали какую-нибудь бабу. На сенокос нанимали крестьян одной из соседних деревень, чаще всего гудинских. Часть работы производилась за плату, часть ис-полу или за известное число возов сухостоя, вывозимого из лесу. Иногда крестьяне брались сделать для нас по уговору какую-нибудь работу. Относительно сухостоя договаривались с гудинскими, у которых совсем не было лесу, почему они и воровали то казенный лес, а то наш или другой соседский. Иногда их ловили с поличным наши работники, но после долгих разговоров и униженных просьб проворовавшегося всегда отпускали с миром: мои родители никогда не брали с крестьян штрафов и никогда с ними не судились.

Отношение отца к порубкам было поистине замечательно. С ним произошло два характерных случая. Один раз он, гуляя в лесу соседа Зарайского, увидел, как зять помещика бьет какого-то мужика, которого он поймал с поличным в лесу своего тестя. Отец возмутился, вскипел гневом и, не разобрав, с кем имеет дело, обратился к будущему помещику на «ты»: «Оставь его, я знаю этого мужика». Мужик был, действительно, знакомый, но едва ли это могло служить в его оправдание для человека, яростно защищавшего свое добро. Однако скромный сельский учитель, каким был тогда будущий владелец имения Зарайского, не посмел послушаться действительно статского советника и профессора Беке-

това. Он действительно «оставил» мужика, отобрав у него только свою березу. В другой раз отец встретил того же мужика, несшего из нашего леса другую березу. Тогда он предложил старику: «Дай я тебе помогу», – и взвалил березу себе на плечо. Так рассказывали соседние крестьяне. Быть может, это была только легенда, сложенная крестьянами про доброго и «простова» барина... Отец об этом случае не сообщал.

Мать наша хозяйничала особым способом. Она вставала рано, иногда в 5 часов утра, но вовсе не для того, чтобы идти смотреть, как доят коров или вообще присматривать за хозяйством. Она гуляла по саду, занималась каким-нибудь рукодельем, читала, раскладывала пасьянс, а в более поздние годы – переводила. За всеми надобностями и распоряжениями по хозяйству подходили к ней под окно. Вот идет скотница бабушка Катерина, высокая старуха с длинным, мало-выразительным лицом, довольно-таки бестолковая в разговоре, но знавшая свое дело. С ней толковалось о цыплятах, о курах, о коровах: кого зарезать, кого продать, сколько корма купить и т. д. Мать в совершенстве изображала в лицах бабушку Катерину и морила нас со смеху, подражая ее бессвязному и тягучему говору, но это было дело чисто литературное или, если хотите, театральное, так как кур и цыплят бабушка Катерина точно кормила и берегла, но с молоком было что-то сомнительное. У нас было всегда четыре дойных коровы-холмогорки, корм был прекрасный, но выходило так, что масло для кухни мы всегда покупали у баб, оно



было очень плохое и грязноватое, так как крестьяне Московской губ., по крайней мере в наших местах, не имели понятия о том, как делать хорошее чухонское масло. Они сбивали его, не отжимая, о сепараторах же не было тогда и помину. Русское масло бывало часто и хорошее. Сливочное масло к столу была обыкновенно сестра Катя – сначала просто в бутылке, а потом в стеклянной маслобойке с металлическими лопастями. Молока мы пили мало до рождения Саши Блока и двух его двоюродных братьев. Правда, на кухню требовалось много сметаны и сливок, но все же могло бы хватить и на масло, хотя бы отчасти. Но такое положение вещей никого не удивляло и считалось вполне законным. В деревне мы проводили, самое большее, четыре месяца, остальные восемь Шахматове было в полном распоряжении работников, скотницы и пастуха, остававшегося частенько и зимой на нашем иждивении. При таком ведении хозяйства неудивительно было, что нас обкрадывали, и, как когда-то сказал молодой Блок, у нас образовалась «династия Проворингов». Но это мало трогало наших родителей. Во-первых, они были большие философы, а, во-вторых, считали, что иначе и быть не может в помещичьем хозяйстве. Мать толковала с работниками о пашне, о сенокосе и других очередных делах, она же платила им жалованье и договаривалась с теми, кого нанимала.

Надо сказать правду, что при бабушке Катерине и втором работнике Гавриле, о котором я упоминала, наша корова и

лошадь были в очень хорошем виде. Гаврила был маленький и очень неказистый мужичонко среднего возраста со включенными волосами и бородой и добрыми голубыми глазами. Он отличался тем, что особенно любил животных и потому всегда хорошо их кормил, вовремя поил и вообще не обижал. В разговорах он был бестолков, характера тихого, но в праздники, когда случалось ему напиться, он много раз являлся к матери за расчетом и хорохорился. Мать спокойно отвечала на его бессвязную, грубую болтовню: «Поди пропись», что он и делал, а на другой день рано утром, как ни в чем не бывало, кормил скотину и вообще делал свое дело. Он жил у нас долго: почему и когда ушел, я забыла. Помню его, между прочим, в саду, куда приходил он с большим кошельем за спиной косить траву для лошадей, причем на плече у него сидел серый кот, обитавший на скотном дворе. Отец называл его «лирик». Мать относилась к нему добродушно, но неуважительно (он был не в ее духе) и великолепно изображала в лицах его нехитрые разговоры и безобидные пьяные бунты, которые начинались обычной фразой: «Ваше присходительство, пожалуйста расчет, я жить больше не буду»...

Должна сказать, что у нас не было ни большой близости, ни особого интереса к крестьянам. Отношения были чисто деловые. Мы нанимали их на работу, платя по ходячим ценам, которые в семидесятых годах были очень низкие. Мужик получал в день за пашню, кажется, со своей лошадыю (этого хорошо не помню) не больше рубля, т. к., судя по за-

писям 1912 г., когда цены были значительно выше, за пашню с лошадей мы платили. 1 руб. 40 к. в день. Возможно, что в 70-тых годах плавил и меньше рубля. Косцу платили не более 50-и коп. (в 1912-ом году 70 коп.), бабе за уборку сена 25 коп., мальчику-подростку 15 коп. Поденщики брали много. Смотрела за ними первые годы няня Платонида Ивановна, о которой я упоминала; когда ее поместили в петербургскую богадельню, надсмотр был поручен старшему работнику. Мать никогда не присутствовала при работах. Она смотрела только за огородом и ягодниками, сама сеяла овощи, учила, как это делать, и т. д. То же и с клубникой, которую она развела, руководствуясь книгой какого-то немецкого садовника, переведенной на русский язык. Только осенью, во время молотбы она – пока была в силах – смотрела за работой, считала, и записывала число четвертей ржи и овса, и смотрела, как ссыпали то и другое в амбар, об этом есть несколько строк у Блока в «Возмездии».

До самой смерти родителей молотили у нас цепами, это делали всегда пришлые рязанцы, народ очень ловкий и симпатичный. Наши же гудинцы топили овин и сушили снопы<sup>45</sup>. Снопы, привезенные с поля, сейчас же складывали в красивые «одонья». Так называются те высокие стоги, в которые укладывают снопы. На току кладут большой круг снопов колосьями внутрь, следующий круг кладется уже и т. д. до

---

<sup>45</sup> В Рязанской губернии не приходилось сушить снопы, и потому рязанцы были непривычны к этому делу.

верху, который увенчивается одним снопом, поставленным вверх соломой. Рязанцы всегда приходили в Московскую губернию ко времени молотбы. Была у нас веялка, не первого сорта, но все же она просеивала и сортировала хлебные зерна лучше, чем это делалось у крестьян на ветру. Рязанцы были другого типа, чем москвичи: высокие люди, по большей части брюнеты с правильными чертами и, как мне кажется, хитрее, чем московские мужики.

Обхождение моих родителей и всей нашей семьи с крестьянами было приветливое, но, конечно, на «ты». Мать очень охотно разговаривала с бабами об их домашних делах и постоянно лечила баб и детей. У нас в домашней аптечке были разные снадобья вроде касторки, хины, ромашки, мятного масла от зубной боли и пр. В Подсолнечной аптеке можно было достать очень многое, а кое-что мы привозили из города. Мы с сестрой Александрой Андреевной еще девочками помогали матери в ее заботах о лечении крестьян, но старшие сестры, помнится, этим не занимались. Одно время я вздумала учить грамоте гудинских ребятишек. Набралось человек 10 мальчиков и девочек. Они охотно ходили и кое-чему у меня научились. Больше всего, однако, нравилось им сидеть в барской комнате (столовой или гостиной). Они, конечно, шалили, но ничего злого себе не позволяли. Я была плохая, но терпеливая учительница и в короткое время заслужила любовь моих учеников. По уходе их я находила на подоконниках надписи каракулями: «Мила Ма-

рья Андревна». Это писал, вероятно, по поручению других тот мальчик, который учился в сельской школе и приходил только из любопытства и чтобы пошалить. Учила я по Толстовской азбуке, но это продолжалось не более трех лет, считая, конечно, только летнее время. Из дома мы перекочевали сначала в сад, потом в ригу. Сестра Катя изгнала нас из дому, боясь проказ и грязи ребят, в риге было темно, а потом я заболела и бросила эту затею, но дети, которые у меня учились, даже взрослыми людьми относились ко мне иначе, чем к остальным моим сестрам, и особенно приветливо со мной здоровались. Как мало, значит, было нужно для того, чтобы привязать к себе этих милых ребят.

...Кто часто их видел,  
Тот, знаю я, любит крестьянских детей.

*(Некрасов)*

Эта кратковременная школа была единственным действительным проявлением моей любви к крестьянам. Денег у меня тогда было очень мало, так что помогать им существенно я не могла, но помню, что у меня было живое чувство вины перед ними. Никогда не забуду, как однажды мы обедали на балконе в хороший летний день. Это было во время сенокоса, весь сад был скошен, и пришли мужики и бабы убирать сено совсем близко от нас. Я испытала в эту минуту чувство жгучего стыда за наш обильный и вкусный стол, прислугу и всю нашу обстановку, которая была, конечно, очень роскош-

на по сравнению с нищенским и серым обиходом крестьян. Эти люди, целый день работавшие на нас за гроши, считали нас, разумеется, богачами, да сравнительно с их достатком наша скромная по понятиям нашего круга жизнь была, конечно, очень богатой.

Время от времени наша семья помогала крестьянам, например, покупкой коровы в особенно бедную семью, но это случалось не часто. Мать шила бесчисленные покрывки на лоскутные одеяла для деревенских невест и раздавала свои капоты, которые часто снимала прямо с себя. С некоторого времени установился обычай привозить из города подарки работникам, скотнице и Ананьевне, остававшейся у нас на зиму, но первые годы, кажется, этого не делали. Правда, в то время денег на семью шло гораздо больше, т. к. на руках было 4 незамужние дочери, а жили в Шахматове широко: держали много прислуги и беспрестанно приезжали гости, не говоря уже о бабушке Александре Николаевне, которая жила в Шахматове, в те годы каждое лето. Мать наша стала зарабатывать деньги только с 1890-го года, когда получила постоянную работу в журнале «Вестник иностранной литературы», что случилось через 15 лет после покупки Шахматова. В это время мы жили уже на частных квартирах, т. к. отец с 1885-го года вышел из ректоров. Шахматово было уже заложено, и мать наша, получавшая за свои переводы не менее тысячи рублей в год, много денег тратила на Шахматово. Сестра Екатерина Андреевна, которая в восьмидесятых го-

дах зарабатывала порядочные деньги литературным трудом, тоже время от времени оплачивала на свой счет какую-нибудь затею: то наймет на лето садовника, то наймет нескольких крестьян чистить сад: вырубать сухие ветки и деревья, то подарит хорошее платье деревенской невесте, но все это носило случайный характер.

Вот, кажется, все, что можно сказать о наших отношениях с крестьянами.

# Глава XIII

## Подруги и поклонники

Вскоре после того как куплено Шахматово, отец был избран ректором Петербургского университета, и мы переехали из скромной профессорской квартиры в ректорский дом, уже описанный мною. Тут начались субботние вечера с целой толпой студентов всех курсов и факультетов. На субботах неизменно были наши подруги по гимназии. Начались ухаживания, романы, кое-кто из молодых людей стал бывать чаще, потом сделались завсегдатаями и т. д.

Из наших подруг того времени самая заметная и самая близкая была Вера Л., подруга моей сестры Софьи Анд<реевны> по частной гимназии Спешневой. Это была живая, красивая девушка южного типа. В ней была грузинская кровь, что и отразилось как на ее наружности, так и на ее характере. Брюнетка среднего роста с орлиным носом, смуглая, со сверкающими черными глазами и вьющимися волосами. Очень страстная по натуре, она была горда, отличалась глубиной и силой чувств. Умела и горячо любить, и ненавидеть. Умная от природы, она не была интеллигентна. У нее не было никаких умственных интересов, но большая склонность и способности к музыке. По окончании курса она стала очень часто у нас бывать и полюбила наших родителей.



Будучи круглой сиротой, она ценила их ласку и привязалась ко всей нашей семье. Мы, сестры, очень охотно проводили с нею время за рукоделем и за той девической болтовней, в которой много молодого вздора и смеха, некоторая доза психологии и обсуждение ближайших событий и лиц, касающихся нашего круга. Вера проводила у нас целые дни, часто с ночевкой, не пропускала ни одной субботы и не раз бывала в Шахматове. Там мы жили душа в душу с ней. Она участвовала во всех наших занятиях, начиная с собирания ягод для бесконечных варений и кончая полоньем цветников. Все мы в то время были очень молоды и беззаботны, но пришло время – и очень скоро – когда Вера Л. испытала у нас в доме большое разочарование. Среди многих студентов, бывавших в ректорском доме, был Ник<олай> Георг<и-евич> Мотовилов<sup>46</sup>. Его привел кто-то из товарищей по поводу затевавшегося у нас домашнего спектакля, кажется, в первый же год ректорства отца. Небольшого роста, довольно стройный, смуглый, с шапкой волнистых, темно-русых волос и с серыми глазами в пенсне, смотревшими из-под темных бровей, с небольшой бородой и усами по моде нашего времени, – он, собственно, не был красив, но в нем были изящество и непринужденность. У него было много юмора и довольно дерзкая манера, которая нравилась женщинам. В этой манере не было ничего предосудительного, так как

---

<sup>46</sup> Отец Мотовилова был известный деятель 60-х годов, кажется, первый председатель новых судов.

в то время нравы были очень чисты, барышни скромны, а молодые люди приличны. Но было решено, что Мотовилов дерзкий и это очень интересно. Он был юрист, человек способный, с легкостью проходивший курс. Впрочем, он ко всему относился слегка, по крайней мере имел такой вид, хотя, в сущности, был человек серьезный, что и доказал впоследствии. Но в то время, когда ему было года 22, серьезности не замечалось. Мотовилову чрезвычайно понравилось у нас в доме. Его полюбили мои родители, особенно мать, к которой и он был очень привязан. В спектакле он принял участие, играя роль *jeune premier*<sup>47</sup> в одноактной пьесе «Осторожнее с огнем» с одной из милых сестер Вышнеградских, именно со старшей, которая была, как и Вера Л., подружкой по классу сестры моей Софьи. Вера Л. играла главную роль в водевиле «Фофочка». Она играла очень плохо, так же как и бойкая сестра моя Катя, игравшая главную роль в пьесе «До поры, до времени», но была прелестна в голубом шелковом платье.

Пропадая от смущения, пропела она дрожащим голосом куплеты на мотив из «Периколы».

Но, говорят, мужьям не надо верить,  
Что их любовь проходит так, как сон,  
Что все они умеют лицемерить  
И все своих обманывают жен.  
Ах, боже мой, как сердце замирает,

---

<sup>47</sup> Молодого премьерера (*фр.*).

Того гляди, сейчас расплачусь я.  
Ужели мне мой Виктор изменяет,  
Ужели он такой, как все мужья?  
и т. д.

Разумеется, молодые люди легко простили ей недостатки игры за женственность и красоту, а Мотовилов стал ухаживать за ней именно во время этого спектакля. Ухаживанье было очень настойчивое, оба были сильно влюблены друг в друга и после субботнего чая обыкновенно уединялись в одном из углов нашей белой залы. Впрочем, иногда можно было их видеть на знаменитом желтом диване ясеневое дерево, который стоял против окон на площадке, составлявшей переход от внутренней лестницы в залу. Влюбленные пары любили сидеть на этом диване. На этом же спектакле выяснилось окончательно, что в сестру Софу влюблен Ф. Д. Батюшков (известный впоследствии историк литературы). Но об этом после... Итак, Мотовилов и Вера Павловна составляли интересную пару. Вера была очень счастлива и говорила о своих чувствах преимущественно со мной, так как я всегда была складочным местом всех тайн и секретов и, не имея поклонников, по мере сил способствовала всем романам. Между прочим, Вера, уходя из столовой после чая, просила обыкновенно подстеречь приход Мотовилова в залу, и, удаляясь в гостиную рядом, говорила конфиденциальным тоном: «Душа, покарауль!» Я, разумеется, караулила и сообщала, что следует. На моей же обязанности было зани-

мать скучных и глупых студентов, чтобы они как-нибудь не помешали тем барышням, за которыми ухаживали более интересные. Я добросовестно исполняла эту обязанность. Довольно часто приходилось мне разговаривать с одним чрезвычайно наивным и глуповатого вида студентом, которого я же и назвала «малюткой» за его глупые вопросы и вид. Но к делу. Все мы были в то время крайне наивны, и, видя ухаживанье Мотовилова, были уверены, что это поведет к браку. Но, увы! Прошло не помню уж сколько времени, и Мотовилов стал бывать в доме Вышнеградских и уже не так прилежно ухаживал за Верой Л. и, наконец, обратился в другую сторону, т. е. изменил Вере Л. и стал ухаживать за Варей Вышнеградской, подругой сестры Аси. Сестры Вышнеградские были очень милые девушки, отличавшиеся талантливостью. Старшая, Соня, хорошо играла на фортепьяно, а Варя еще лучше пела. Она была в консерватории и училась у Эверарди. Очень часто пела она во время субботних вечеров под аккомпанемент нашей матери. Высокая, стройная, очень свеженькая, она была миловидна и очень сдержанна. Сестры Вышнеградские отличались, при большой простоте, известной светскостью, которая выражалась в полной непринужденности обхождения. Отец их был известный министр финансов и друг Витте, который впоследствии сел на его место<sup>48</sup>. У Вышнеградских был особняк на Английской набережной, где они жили очень открыто. Встречаясь с ними у

---

<sup>48</sup> Иван Алексеевич *Вышнеградский* (1830–1895).

нас и у них, Мотовилов видал их и в домашней обстановке и пленился Варей, которая вообще имела успех, причем большое очарование имело для него ее пение, так как сам он был очень музыкален. Вскоре стало известно, что Мотовилов жених Вари Вышнеградской, но это довольно скоро расстроилось, так как отцу невесты, очень консервативному деятелю, к тому же сильно приверженному к земным благам, вовсе не нравился жених из либеральной семьи, да еще без состояния. Словом, их разлучили, увезя за границу Варю, которая впоследствии вышла замуж за известного дирижера В. И. Сафонова. Мотовилов перенес разрыв с Варей очень легко и вскоре стал ухаживать за другой барышней, которую мы не знали. Но Вере Л. это все досталось очень тяжело. Она жестоко страдала от ревности и от оскорбленного самолюбия, а про Мотовилова говорила: «Отольются кошке мышкены слезки». Вышнеградских Вера возненавидела – и не только свою разлучницу Варю, но и ни в чем не повинную и добрейшую Соню. Как раз в то время, когда произошел этот неудачный роман, за Верой стал ухаживать у нас в доме студент-филолог граф Мусин-Пушкин. Это был очень скромный и серьезный человек, который никогда не выставлял ни своего титула, ни громадного богатства (по матери он был Кушелев-Безбородко и обладал великолепным домом в Мешковом переулке, большими именьями и громадным состоянием). Мусин-Пушкин усердно посещал лекции профессоров и наш дом. Он страстно влюбился в Веру Л., постоянно уви-

вался около нее, познакомился с ее сестрой, адмиральшей Пилкиной, у которой она жила, и выказывал особое внимание мне, как самой близкой в то время подруге Веры. Так как он был некрасив, неинтересен и даже довольно смешон со своей ковыляющей походкой (он был хромым) и нескладной фигурой, то Вера начала с того, что старалась его избегать и втихомолку над ним смеялась, так же как сестры Бекетовы во главе с остроумной матерью. Но после несчастной истории с Мотовиловым Вера стала к нему благосклоннее и кончила тем, что приняла его предложение и стала его невестой. Само собой разумеется, что никакой любви с ее стороны здесь не было, все дело в том, чтобы наклеить нос Вышнеградским, сделавшись графиней, очень богатой женщиной и попав в аристократический круг. При этом она уверила себя, что его полюбила, а об Мотовилове забыла и думать. Все это было, конечно, натяжка, но брак этот не состоялся и, вероятно, к лучшему, так как у Веры были все данные, чтобы составить счастье любящего ее человека, но никакого светского лоска, она даже плохо говорила по-французски. Внезапно Вера прервала всякие отношения с Мусиным-Пушкиным и перестала бывать у нас в доме, считая, что он приносит ей несчастье. Причину этого разрыва с женихом она открыла тогда под секретом только нашему отцу, к которому питала особое доверие, а мы узнали о ней впоследствии, когда она вышла замуж за учителя своих племянников, молодого путейца. Все было в том, что мать Мусина-Пушкина не

позволила ему жениться на девушке без титула и состояния, и он предложил Вере сделаться его любовницей. По понятиям того времени это было смертельное оскорбление и, разумеется, Вера с негодованием отвергла предложение графа. Брак Веры Л. был очень счастливый, но она довольно рано умерла, оставив единственную дочку лет десяти.

С Мотовиловым дружил его однокурсник К. В. Недзвецкий, стройный и довольно высокий блондин с приятным, хотя и некрасивым, лицом и живыми глазами. Это был пламенный патриот-поляк, хотя по матери немец. Он отличался восторженностью, обожал Мицкевича и Шопена и обладал веселым и милым покладчивым характером при подлинной доброте и большой дозе легкомыслия. Он мечтал о семейном очаге, о детях и о свободе Польши, и всего этого дождался почти без всяких терний на своем пути. Он слегка ухаживал за многими барышнями, даже, пожалуй, за мной, но романа у нас не вышло: во-первых, он был не в моем вкусе, а, во-вторых, я увлекалась в то время его товарищем, чрезвычайно красивым поляком, который, подобно метеору, блеснул и быстро исчез с моего горизонта, но оставил глубокое впечатление. В результате – много стихов, которых никто не читал, усиленные занятия польским языком, пристрастие к Шопену, интерес к полякам и к их литературе и проч. Конрад Викторович, которого, недаром бабушка Карелина называла «быстроглазый Недзвецкий», быстро проник в мою тайну, хотя я очень старалась скрывать свои чувства. Что по-

делаешь: мне было в то время 16 лет, и тайна моя, к моему горю, стала общеизвестной. Но К<онрад> В<икторович> был моим учителем. Он приносил мне польские книги, прекрасно играл баллады и мазурки Шопена, а главное, рассказывал мне о своем интересном товарище, так как в то время жил в одной комнате с ним.

Мотовилов относился к Недзвецкову дружески, но юмористически. Он называл его сначала «Кондрат», потом «Контракт» и наконец «Документ», охотно играл с ним в четыре руки и слегка подтрунивал над его патриотизмом, в общем они были большие друзья, но раз в жизни произошла между ними большая ссора. Они ухаживали за одной и той же барышней, которая была очень хороша собой, умна и прекрасно пела. К<онрад> В<икторович>, обладавший изрядной долей самоуверенности, вообразил, что она им увлеклась, чего не было на самом деле, и, когда Мотовилов сделался ее женихом, вызвал его на дуэль. Дело кончилось тем, что кто-то из них был опасно ранен в руку. После этого случая произошло некоторое охлаждение. Мотовилов женился на той, которая была причиной дуэли, а Недзвецкий, быстро утешившись, – на моей двоюродной сестре А. М. Енишерловой. Недзвецкий, женившийся не по страсти, а по благоразумному выбору и симпатии на хорошенькой, умной девушке спокойного характера из хорошей семьи, да еще и с приданым, был очень счастлив в семейной жизни. Избрав карьеру прис<яжного> пов<еренного> по гражданским делам, он



достиг хороших результатов.

Жизнь его протекала, в общем, благополучно и завершилась после германской войны переселением в столицу независимой Польши вместе с семьей женатого сына, когда-то игравшего с Блоком. Две его дочери остались в России: одна, Анна Конрадовна, жена московского профессора, другая, Ольга Конрадовна, жена ленинградского хирурга. Она еще до войны окончила Бестужевские курсы на романо-германском отделении и с успехом выступает как лектор в нескольких учреждениях. Восемилетней девочкой она выступала во французском спектакле, где Блок играл старого и глупого академика, а ее старший брат – лакея. Ольга Конрадовна живо интересовалась поэзией Блока, так же как и ее отец, который всегда относился с большой симпатией и сочувствием к Блоку, несмотря на то, что он после женитьбы редко бывал в их доме, а кончил тем, что совсем отдалился от них, так же как и от остальных своих родственников, за очень немногими исключениями. Что касается семьи Недзвецких, то наиболее дружеские отношения у нее всегда были и сохранились со мной.

Судьба Мотовилова определилась совсем иначе, чем судьба друга его юности. Как человек с сильным темпераментом, он женился по страсти на исключительно привлекательной девушке, с которой был очень несчастлив. Вскоре обнаружилось, что она его не любит и вышла замуж только со скуки. Ее отношение к мужу было хронически-презрительное, че-

му я была свидетельницей через год после их свадьбы, когда они гостили у нас в Шахматове, причем она всех нас поразила своей красотой, остроумием и тонким исполнением незаурядных романсов, но также и своим презрительным равнодушием к мужу. Глядя на них, я невольно вспомнила слова обиженной Мотовиловым Веры Л.: «Отольются кошке мышкены слезки». От этого неудачного брака родилась девочка, которая умерла дифтеритом, когда ей было 3 года. Вскоре после этого по желанию жены произошел развод, и Мотовилов остался, что называется, при пиковом интересе. Несколько лет сряду он был соломенным вдовцом и страдал от несчастной страсти к жене. Наружно он этого не выказывал, был как всегда юмористичен и небрежен; но из веселого юноши превратился, что называется, в брюзгу. Он был в очень дружеских отношениях с семьей моей сестры Софьи Андреевны и с ее мужем Адамом Феликсовичем, часто бывал и у нас, возобновил дружбу с Недзвецким и кончил тем, что женился вторично на очень милой девушке, в которой находил – едва ли основательно – сходство со своей первой женой. Это был счастливый брак. Жена Мотовилова была прекрасная жена и мать, и сам он любил семью, но, по-видимому, жизнь его не удовлетворяла. Он остроумно ворчал на своей службе в сенате и что-то уж очень пристрастился к водке, которая, несомненно, вредила его наследственной болезни сердца. Он умер внезапно, далеко не старым, оставив в большом горе совсем молодую жену и двух дочерей.

Должна сознаться, что я никогда не чувствовала большой симпатии к Мотовилову и даже не находила его привлекательным. Это был не мой жанр. С ним совсем нельзя было разговаривать, можно было только флиртовать и кокетничать, чего я совсем не умела. Он не выносил, чтобы женщина в его присутствии занималась чем-нибудь, кроме него. Застав ее, например, за рукоделем, он вырывал его у нее из рук и не давал ей работать. Он признавал только пение и игру на фортепьяно. С ним невозможно было говорить серьезно.

Изредка он произносил суждения, из которых я увидела, что его вкусы очень узки: при большой музыкальности он признавал только русскую музыку, за исключением Шопена, он не любил даже Бетховена. Литература не русская была ему неинтересна, он не признавал даже Шекспира, Гете и лучших западных романистов. Я не помню, чтобы он когда-нибудь принес книгу, но он очень любил, когда мать наша читала вслух что-нибудь вроде рассказов Слепцова. Проводя у нас в Шахматове по целым неделям, он никогда ничего не делал, не любил длинных прогулок, хождений за грибами и проч. и приезжал обыкновенно один. Удивительно то, что очень любя наш дом, он не был влюблен ни в одну из моих сестер, и они тоже им не увлекались, хотя и любили его общество. Всего охотнее с ним проводила время Софья Андреевна, что объясняется отчасти тем, что до замужества она не имела серьезных интересов и легко могла оставить пустяшное рукоделье или чтение легкого английского рома-

на для еще более легкого препровождения времени с остроумным и веселым кавалером. Екатерина Андреевна, как хозяйка и литератор, располагала меньшим количеством свободного времени, а, кроме того, не без критики в моем духе относилась к самому Мотовилкову. Александра Андреевна очень рано вышла замуж. За ней Мотовилков изредка ухаживал, когда она оставила мужа, он ей нравился, но не очень, и, кроме того, было слишком ясно (да он и не скрывал этого), что его ухаживанье не пойдет далее легкой связи, он ее не любил, а она была избалована серьезными чувствами к ней остальных поклонников. Для нее было важно и то, что он нисколько не интересовался маленьким Сашей, которому было в то время лет 5. Маленький Блок очень не любил Мотовилкова, называл его за глаза сердитым тоном «Мотовилька-вилька-вилька» и вообще относился к нему враждебно, тогда как Франца Феликсовича сразу полюбил и почувствовал к нему доверие, хотя тот им тоже не интересовался.

Перехожу к другой паре студентов, посещавших Шахматово в качестве поклонников моих сестер. То были филологи Майков и Батюшков, оба известные впоследствии: Майков – как талантливый критик, Батюшков – как историк литературы и критик. Молодыми студентами они занимали общую комнату. Трудно было найти столь разительные контрасты, как эти приятели и однокурсники. Валер. Ник<олаевич> Майков, племянник тогда еще здравствовавшего поэта, был маленький, худенький юноша, сильный брюнет

с черными глазами и мелкими чертами довольно красивого личика, в пенсне и с несколько напускной мрачностью и с глубоким басом при полном отсутствии мужественности. Фед<ор> Дмитр<иевич> Батюшков был жизнерадостный, широкоплечий блондин высокого роста с грубоватым, но правильным профилем и слегка выющейся шевелюрой. Фед<ор> Дм<итриевич> был из богатой помещицкой семьи и тоже потомок поэта. В то время он интересовался славянофилами и приносил Софье Андр<еевне> сочинения Хомякова, но, избрав почему-то романо-германское отделение, очень увлекался лекциями талантливого Ал<ексан>дра Ник<олаевича> Веселовского, что сблизило его с сестрой нашей Катей. Она была тогда на Бестужевских курсах и тоже восхищалась лекциями Веселовского. Между ними были дружеские отношения не без оттенка флирта, но как-то, я помню, произошла между ними размолвка, не помню уж, по какому именно случаю. Когда инцидент был исчерпан, Фед<ор> Дм<итриевич> написал стихотворение, которое начиналось словами:

Прости, закралось подозренье  
в мою – какую-то там – грудь.

Сестра Катя немедленно сочинила ответное двустишие, которое не сообщила поэту:

Жаль, что закралось подозренье

Во Федор-Дмитричеву грудь.

Она же придумала ему название: «Фита Батюшков» и вообще относилась к нему с насмешкой.

Но не так отнеслась к нему сестра моя Софья. На его оживленное ухаживание она ответила сильным чувством. Разумеется, прочла Хомякова, который вряд ли ее тогда заинтересовал.

Батюшков приезжал в Шахматове вместе с Майковым, который ухаживал за сестрой Катей. Она безжалостно поднимала его на смех, дразня на каждом шагу чрезмерным классицизмом и пристрастием, к греческим словечкам. Он был неизменно мрачен и меланхоличен, переводил стихи Гейне и разговаривал со мной о переводах того же поэта, которым я тогда занималась из любви к искусству. С этими двумя мы ходили в лес за грибами и сиживали на опушке великолепного батюшковского леса, причем Фед<ор> Дмитр<иевич> запевал веселым тенором:

Сизенький голу-у-у-бчик  
Сидит на дубочке.

А Майков окончательно кис и мрачнел от насмешек задорной и хорошенькой сестры моей Кати. Сестра Софа тихо и нежно расцветала под взорами своего ухаживателя, но увы! После этого лета, когда все родные и подружки окончательно решили, что Фед<ор> Дмитр<иевич> – будущий же-

них Софы, он охладел к ней и стал ухаживать за близкой ее подругой Соней Вышнеградской, которая, право же, не была в этом виновата. Софа очень страдала от измены своего обожателя и, наконец, поступила столь же решительно, как и романтично, а именно, отправляясь на бал к Вышнеградским в голубом гренадиновом платье с четырехугольным вырезом, в котором она напоминала не то маркизу XVIII века, не то фарфоровую пастушку, она спрятала под корсаж записку, в которой просила Фед<ора> Дмитр <иевича> не бывать у нас в доме, так как ей тяжело его видеть и передала ее ему во время бала, на котором этот неверный увивался за ее подругой.

Фед<ор> Дм<итриевич>, как человек легкомысленный, но добрый, был огорчен и поражен тем, что дело приняло столь трагический оборот, но исполнил просьбу Соф<ьи> Андр<еевны>. Он принадлежал к числу тех немногих мужчин, которые часто увлекаются, но никогда не женятся. Следует заметить, что он был более привлекателен для женщин как мужчина, чем его приятель Майков, но, несомненно, уступал тому же в уме и талантах. Мне и тогда уже казалось, что Майков гораздо интереснее его в разговоре. Впоследствии Батюшков развился, но в то время ему было очень далеко до Майкова, который в дальнейшем оказался талантливее и значительнее его.

После эпизода с бальной запиской Софа поплакала и погрустила, но к весне чуть ли не того же сезона утешилась. За

ней стал ухаживать Адам Феликс<ович> Кублицкий, красивый и энергичный брюнет живого характера, сильно обрусевший поляк и неусердный католик. Он был юрист, дружил со своим земляком Недзвецким (оба были родом из Витебска и учились в тамошней гимназии) и жил на учительское жалованье, но всегда хорошо одевался. Последнему обстоятельству, т. е. хорошему и модному костюму, Софья Андр<еевна> придавала значение. Кстати замечу, что Блок, характеризовавший эту сестру Бекетову метким двустишием:

Старшая томится

И над кипсэком мужа ждет... —

в дальнейшем изменил ее облик, дав ей в мужья лохматого студента с демократическими наклонностями. За такого Соф<ья> Андр<еевна> не только никогда бы не вышла замуж, но и смотреть на него бы не стала. Итак, к весне завязался роман между сестрой Софьей и Ад<амом> Фел<иксовичем> Кублицким, что кончилось сватовством и браком к тому времени, как Ад<ам> Феликс<ович> с успехом кончил курс и был оставлен при университете у талантливого криминалиста проф. Фойницкого. В то время, т. е. в начале 80-х годов, Ад<ам> Фел<иксович> еще не забыл Мицкевича, радовался, когда убили Александра II-го, назвав его тираном, и вообще не был чужд политике. Впоследствии он поправел, но всегда хорошо помнил родной язык, который совершенно



забыли его военные братья. Ученую карьеру он скоро бросил, не написав даже магистерской диссертации, и, пробыв короткое время пом. прис. пов. адвоката Люстига, оставил и это занятие и сделался мало-помалу отменно честным и рьяным чиновником. К службе своей относился он с редким интересом и рвением, основательно изучая те отрасли, которыми приходилось ему заниматься. Так, будучи уже в зрелых годах директором лесного департамента, он самолично изъездил и исходил все леса России, совершенно загоняв подведомственных ему чиновников, не обладавших ни его здоровьем, ни интересом к делу. Он энергично преследовал воровство, с бешенством выгонял людей, пытавшихся дать ему взятку, а в своем департаменте – в каком бы ведомстве он ни служил – проводил столько времени, что, когда он опаздывал домой к обеду, его младший сын, глухонемой Андрей, которого выучили говорить по губам, говорил обыкновенно: «Бедные папины советники». Его работоспособность и любовь к делу были совершенно исключительны, причем основательные его познания в юридических науках и, в частности, в законах придавали его деятельности особую ценность.

В Шахматово Ад<ам> Фел<иксович> приезжал не раз еще женихом. Помню одно лето, когда отец мой и старшая сестра Катя были за границей, а Ал<ександра>Андреевна еще в Варшаве, Ад<ам> Феликсовиче приехал в Шахматово вместе с Недзвецким. Тогда же гостила у нас одна из моих подруг Леля М. Это была очень полная девушка, отличавша-

яся томной грацией и некоторой театральностью манер, которая была у нее врожденная, но многим казалась фальшивой. Она была милая, умная и ласковая девушка, очень привязчивая и постоянная в своих чувствах, но актерская среда среднего пошиба, в которой она вращалась (ее дядя был второстепенный артист Александрийского театра), а также наследственная в их семье страсть к актерству, приучили ее к рисовке, которая ее портила. Она бы сильно выиграла в нашем обществе, если бы в ней было побольше простоты и поменьше претензий. Между прочим, будучи действительно нервной, она очень этим рисовалась, считая, что так интереснее, и не подозревая, что сдержанность была бы ей больше к лицу. Помимо этих слабостей, она была очень мила. Мы с ней сдружились еще с гимназии, она стала бывать у нас очень часто, ее полюбили и сестры мои, и родители. Никто из моих друзей, которых у меня было несколько, не был так близок к нашей семье, как она. В Шахматове она приезжала много раз. В числе молодых людей, побывавших в Шахматове, были граф Мусин-Пушкин, который так настойчиво ухаживал за Верой Л., но ее он в Шахматове не встретил. Сколько я помню, он главным образом проводил время с нашей матерью, которая после его отъезда изобразила свои разговоры с ним в юмористической форме. Самое выдающееся событие во время его пребывания в Шахматове было то, что он страшно напугал нашу горничную, пришедшую в комнату, где он спал, с намерением вычистить его сапоги и платье.

Она с ужасом рассказывала, что в углу стояла нога. У бедного графа одна нога была сухая или с другим каким-то дефектом, и он снимал на ночь свой аппарат. Этим недостатком и объяснялась его странная походка. Вообще он у нас, что называется, не привился: что-то в нем было пресное, чего мы все не полюбили. А, впрочем, мы были в то время ужасные насмешницы и, легко подмечая смешные стороны, не замечали за ними серьезных достоинств, которые, несомненно, были у Мусина-Пушкина. Он не был ни талантлив, ни оригинален, но занимал впоследствии место попечителя Уч. Округа в Ленинграде, показал себя с хорошей стороны, т. к. был человек просвещенный и гуманный.

# Леля Мазурова

Кажется, мы познакомились с ней как раз в том году, когда наша семья переехала в ректорский дом и начались наши многолюдные субботние вечера. Ей было в то время около 16-ти лет. Ее нельзя было назвать красивой, но она была привлекательная. В своем кругу она очень нравилась, но у нас ей вначале не повезло. Я думаю, что тут играла большую роль ее манера себя держать, а также и то, что она не освоилась в нашей среде и чувствовала себя не свободно. За ней никто не ухаживал. А так как все барышни, часто нас тогда посещавшие, неизменно влюблялись в кого-нибудь из студентов, то эта участь постигла и Лелю... Но роман ее был неудачен. Как водится, Леля изливала мне все свои чувства, и я была ее верной и сочувствующей confidentкой. Во время ее ночевок у нас после субботы мы проводили полночи в разговорах о том, можно ли ей надеяться на взаимность и «если нет, то почему», как значится в какой-то современной анкете, но Леле нравилось быть несчастной, и она все время как бы играла роль безнадежно влюбленной, но молодость все же брала свое, и, несмотря на все свои страдания, Леля часто от души веселилась, особенно если к нам присоединялась веселая и беспардонная сестра моя Ася, с которой трудно было выдержать меланхолическую нотку. В то время она уже отдохнула от страшных впечатлений своего брака, а с

Лелей очень сошлась. В Шахматово Ольга Алексеевна приезжала много раз. Одно лето выдалось на редкость жаркое. Помню душные ночи и горы великолепной клубники, которую мы поедали в огромном количестве и просто не знали, куда ее девать, тем более что как раз в это время заболела мать, а у нас были гости, и поэтому никто не варил варенье. Мать лежала в жару в своей комнате, мы вызвали со станции земского доктора и ухаживали за ней, как умели. Как раз в это же время приехал жених сестры Софьи Адам Феликсович и его приятель Недзвецкий. Сестре приходилось и хозяйничать, и наблюдать за лечением матери. Мы с Лелей, конечно, ей помогали, но все же ей приходилось часто уходить от жениха. Но она все-таки находила время уединиться с ним под сень шахматовского сада, и их можно было заметить в нежном дуэте на дерновой скамейке в конце нижней дорожки. Когда матери стало лучше, начались общие прогулки молодежи по лесам и лугам. Помню несколько походов на Малиновую гору за грибами, в Праслово на полянку и т. д. Посещение Лели в это лето было неудачное, т. к. у ней разболелась нога, она хромала, и это сильно мешало ей во время прогулок, приходилось то помогать ей перебираться через канавы, то переходить по кладкам через ручей. Мы с сестрой Софьей с легкостью преодолевали все эти преграды, ей же было это особенно трудно при ее грузной фигуре. Но это было единственное лето, когда моей подруге не посчастливилось. В другие разы все шло гладко, и мы особенно ве-

село проводили время.

Семья наша имела хорошее влияние на Лелю. С годами она заметно утратила свою театральность и стала гораздо проще, а потому и милее. У нас же научилась она более к лицу причесываться и одеваться. Потом она как-то развернулась и стала гораздо живее и веселее. Тут появились, разумеется, и поклонники, с которыми она очень удачно и непринужденно кокетничала. Одно из милых воспоминаний этого времени – это ее отношение к двухлетнему Саше Блоку, с которым она по целым часам просиживала у окна, выходявшего на Неву. Саша стоял на подоконнике, а Леля ждала вместе с ним то полуденную пушку, то хриплый свисток буксирного парохода «Николая», который появлялся всегда в одни и те же часы, и Саша говорил при этом, что он сморкается.

Когда Ольге Алексеевне было лет 20, она уехала в Кронштадт вместе с родителями. Отец, занимавший место экзекутора в Петербургской таможне, отличался необычайной честностью (редкая черта в его звании). Прослужив много лет в этой должности, он был переведен в Кронштадтскую таможню, где тоже имел казенную квартиру и довольно скромное жалованье. Тут моя Леля расцвела окончательно. Она имела большой успех среди моряков, танцевала и играла на любительских спектаклях в Морском собрании и вообще очень веселилась. Поклонников было несколько. За ней ухаживал, между прочим, и не на шутку поэт Надсон. Но она вышла замуж не за него, а за солидного Николая Алексее-

вича Мазурова, который познакомился с ней, снимая комнату у содержателей того пансиона, в котором она преподавала. Подобно некому Вертеру уже зрелого возраста, Николай Алексеевич пленился девушкой, которую он увидел, окруженной детьми.

Ольга Александровна очень любила детей и имела особый дар ласково, но твердо руководить их занятиями и оживленно и весело забавлять их в часы досуга. Николай Алексеевич сам чрезвычайно любил детей и поэтому сразу был очарован этой милой и женственной наставницей с пышной фигурой и красивыми глазами. Он был значительно старше своей жены, но оказался как раз подходящим ей мужем, так как нежно любил ее и детей и легко переносил ее причуды, которых при всех ее добродетелях у нее было немало. Сама же она до такой степени любила и берегла своего мужа, что даже мешала ему иногда есть, беспрестанно спрашивая его за обедом – не болит ли у него что-нибудь, не имея оснований этого опасаться. Ольга Александровна была очень любящей, но властной женой. Несколько лет Мазуровы прожили в Ленинграде, где Николай Алексеевич занимал какую-то скромную должность. Здесь родился у них первый сын, который на третьем году жизни умер от молниеносной скарлатины. Это было большое горе для обоих родителей, особенно для Ольги Александровны. Вскоре после этого случая Николай Алексеевич переселился с женой своей в Тверь, где получил место инспектора судоходства. Здесь Мазуровы

прожили много лет. Николай Алексеевич был честнейший и ревностный служака и добрейший человек, которому многие обязаны были своей поддержкой. Жалованье он получал изрядное, жизнь в Твери в то время была очень дешевая, и поэтому Мазуровы жили довольно широко. Дом их, несмотря на скромное положение Николая Алексеевича, был один из самых приятных в Твери. У них бывали все, начиная от губернатора и кончая скромными обывателями. Они были радушные и милые хозяева-хлебосолы, а Ольга Александровна сделалась светской, но милой провинциальной дамой, которая оживляла тверское общество и принимала участие во всех, кто был с ней сколько-нибудь близок. Детей своих – мальчика и девочку – она воспитывала очень тщательно, по своему нежно, но властно, нанимала им лучших учителей и т. д. Незадолго до революции Николай Алексеевич вышел в отставку, и семья Мазуровых, проведя некоторое время в Швейцарии, переехала в Ленинград. Эти годы были уже далеко не так благополучны, как те, что они провели в Твери. Сын их поступил в Петроградский университет, где окончил курс на юридическом факультете, и в то же время занимался по классу фортепиано в школе Ренгофа. Впоследствии он держал экзамен на свободного художника в Консерватории. Дочь по окончании курса института поступила на Высшие женские курсы, специализируясь по истории искусства, а также прошла курс танцев в одной из частных школ.

Старики Мазуровы уже покойники. После смерти мужа,



которую Ольга Александровна очень оплакивала, ей жилось вообще тяжело. У нее всегда было очень плохое зрение, а последние годы своей жизни она совершенно ослепла. Живя в Петербурге, супруги Мазуровы часто у нас бывали. В первый же год их женитьбы они побывали у нас в Шахматове, причем Николай Алексеевич очень восхищался маленьким Блоком, которому было в то время года три-четыре.

В дальнейшем оба Мазуровы относились к поэту Блоку с большой симпатией и уважением.

## Глава XIV

### Друзья дома. Старшее поколение.

#### Анна Николаевна Энгельгардт

Из старых друзей дома, посещавших Шахматово, вспоминаю сейчас милую, умную А. Н. Энгельгардт, жену известного в 60-х годах Александра Николаевича Энгельгардта, химика, либерала и бонвивана, который за какие-то вольные по тому времени, а по нашему до смешного невинные речи был сослан на всю остальную жизнь в свое Смоленское имение Батищево. Человек он был талантливый и энергичный и, будучи лишен всех соблазнов и прелестей Петербурга, не опустил рук и стал усиленно заниматься сельским хозяйством, сделав из своего имения образцовую ферму, которая поступила впоследствии в ведение государства. В Батищево в 70-х и 80-х годах ездили молодые интеллигенты и интеллигентки, желавшие приобщиться к народу, опроститься, заняться физическим трудом и т. д. Особого толка из этого, кажется, не вышло, но все же эти юные мечтатели помогали Энгельгардту обрабатывать его поля, ходить за его скотом и т. д.

Жена Энгельгардта за ним не последовала. Дело в том, что, женившись на ней, Александр Николаевич сразу же объявил, что брак есть только первый этап половой жизни женщины. Анна Николаевна с этим не спорила. Она была сильно

влюблена в своего мужа, но, будучи женщиной трезвой и совершенно лишенной романтизма, прожила довольно счастливо со своим умным, очень мужественным и здоровым мужем лет десять, произвела на свет двух сыновей и дочь и безболезненно с ним рассталась. Она пребывала с ним в добрых отношениях, ездила время от времени в Батищево, где жила в отдельном флигеле, а в городе занялась переводами и журналистикой, чем и содержала себя и своих троих детей. Она была дочь составителя французского словаря Макарова<sup>49</sup>, считавшегося в дни моей юности образцовым, а на самом деле плохим: там не хватает очень многих слов, и переводы слов часто неметки, так что во многих случаях лучше пользоваться толковым словарем талантливого француза Ларусса, даже и в одготомном издании. Анна Николаевна была, кажется, смолянка, она прекрасно знала французский язык, а также и свой собственный русский, была литературно и исторически образована, очень начитана и сделалась вскоре хорошей переводчицей. Она была постоянной сотрудницей «Вестника Европы», в котором переводила Золя и других французов. Работала и в других изданиях и газетах. Свою профессию переводчицы она ненавидела, называла себя литературным батраком, но добросовестно исполняла свою работу. Зарабатывала она, по-видимому, изряд-

---

<sup>49</sup> Николай Петрович *Макаров (1810–1890)*. См. о нем: Б. М. Эйхенбаум. *Маршрут в бессмертие. Жизнь и подвиги чухломского дворянина и международного лексикографа Николая Петровича Макарова*. М., 1933.

но. Один Стасюлевич платил ей 75 руб. в месяц за ее 2½ листа – цена, считавшаяся роскошной в то время, а что получала она от других издателей, я не знаю. Сыновья ее получили высшее образование. Любимец ее, Николай, был филолог, пописывал стишки. Анна Николаевна, в своем пристрастии к сыну уверяла – без всякого основания, что он похож на Альфреда Мюссе, и вообще его обожала. Он тоже любил ее, у них были общие вкусы и воззрения. Анна Николаевна не разделяла либеральных идей своего мужа и, не интересуясь естественными науками, тяготела к литературе и к музыке. Таков был и сын ее Николай, после которого остался томик слабых стихов, несколько исторических романов патристического направления и история русской литературы. Сын Михаил Александрович был совершенно в другом Роде. Он был естественник и то, что в то время называлось радикалом или красным, а жил, как и мать, переводами. Переводил хорошо, между прочим, недурно справился с таким труднейшим переводом, как «Саламбо» Флобера. На мой взгляд, он был гораздо симпатичнее Николая, но мать была к нему равнодушна.

Дочь Вера была некоторое время в частной гимназии Спешневой, учась в одном классе со мной. Это была румяная, тяжеловесная, очень здоровая девочка, прямодушная и простая. Но как-то вскоре ее взяли из гимназии (это совпало с арестом ее отца), и она так и не кончила своего образования, а впоследствии уехала в имение к отцу и так там и оста-

лась. Я видела ее раз в Петербурге уже взрослой – красивой и рослой девушкой. Она была молчалива и очень замкнута. Думаю, что судьба ее не удалась, но ничего больше о ней не знаю.

Но вернемся к Анне Николаевне. В детстве я ее смутно помню. В 60-х годах она имела облик своего времени. Будучи очень высокой и в меру полной, она одевалась в черные платья наипростейшего покроя, напоминавшие подрясник, и стригла волосы<sup>50</sup>. Очки, которые она всегда носила по крайней близорукости, еще дополняли этот облик. У нее было приятное лицо с нежной кожей, маленькие изящные и очень холеные руки. Позднее она отрастила волосы и стала более тщательно одеваться, хотя никогда не молодилась. У нее были дружеские, хотя и неблизкие отношения с моими родителями. Но по мере того как подрастали мои сестры и я, отношения становились все ближе и теплее. Анна Николаевна подружилась с тремя из нас – с Катей, Алей и со мной. С сестрой Софьей она была дальше. Мы три сошлись с Анной Николаевной главным образом на литературе да и вообще как-то подошли друг к другу. Ей было тогда, вероятно, за 40, а нам – 16, 18 и 20, что-то в этом роде. Ко всем нам Анна Николаевна относилась по-особому и всем дала свои прозвища. Особенно она любила Катю и называла ее «русалкой» – вероятно, за переменчивые глаза и насмешливый нрав. Сестру Алю она называла «перлушек», а меня – «средневековая».

---

<sup>50</sup> *Стриженные волосы* – примета «вольномыслия» женщин в 1860-е гг.

Должна признаться, что последнее название было довольно метко, так как мой романтизм и мечтательность были наиболее сильно выражены. Анна Николаевна проводила с нами целые часы, до упаду хохоча над Катиными остроумными рассказами и беспрестанно снимая и вытирая свои очки от слез, набегавших на глаза от смеха. Не раз бывала она на наших субботах в ректорском доме и очень интересовалась победами сестры Кати. Ей очень понравился Катин поклонник Валерий Николаевич Майков. Она огорчалась тем, что Катя его только высмеивала, но, узнав, что он заложил часы нашей матери, которые было поручено ему отдать в починку, воскликнула в горести: «Разбиты все привязанности!» Она любила выражаться цитатами из наших писателей. В те времена (70-е годы) в нашем кругу считалось чудовищным заложить, хотя бы и временно, чужие часы, чем и объясняется ужас Анны Николаевны. Впоследствии, разумеется, на это взглянули бы проще, да и тогда в более демократических кругах это не показалось бы странным или зазорным. Но Анна Николаевна была отнюдь не демократка, так же как и мы, дворянские дочери.

В те времена сестра Катя, которой было 22, была бойкой курсисткой Бестужевских курсов. Она носила прическу с локонами (в то время это было в моде), и у нее было очень красивое платье лилового цвета с оттенком сливы, из индийского кашемира, которое чрезвычайно шло к ее нежному цвету лица и к стройной, хотя и худощавой фигуре. Летом Анна

Николаевна поехала в Батищево чуть ли не на целое лето и пригласила погостить к себе нашу Катю. Забрав какие-то интересные летние наряды городского покроя, сшитые у лучшей портнихи (сестра Катя зарабатывала в то время порядочные деньги и хорошо одевалась), она съездила в Батищево и произвела там фурор. Дело в том, что в дни ее пребывания случилось не то рождение, не то именины Александра Николаевича Энгельгардта, по поводу чего в Батищево наехало множество гостей. Нужно было соорудить обед на все это общество, а в обиходе не было ни одной кухарки. Александр Николаевич, очень любивший тонкие обеды, должен был довольствоваться бабьими пирогами и щами. И вдруг Екатерина Андреевна Бекетова, раздушенная барышня со шлейфом, в модном платье и с беленькими ручками, обнаружила кулинарные таланты и соорудила при помощи бабы-стряпухи и собственных рук настоящий барский обед на всю компанию: бульон с кореньями, гора пирожков «со вздохом» (крошечные вздутые пирожки из нежного пресного теста) с разными начинками, какое-то большое жаркое, кажется, телятина, и огромный земляничный мусс, сооруженный в огромном, начисто вымытом умывальном тазу. Александр Николаевич был в восторге и от обеда, и от его создательницы, а гости уплетали пирожки «со вздохом» и проч. Анна Николаевна была, разумеется, очень горда успехом своей «русалки», которая не преминула, конечно, и пофлиртовать, пустив в ход свои чары и распорядясь, как подручными,

молодыми людьми, случившимися на ту пору в Батищеве в качестве сотрудников Александра Николаевича по сельскому хозяйству.

Анна Николаевна очень любила бывать у нас в Шахматове. Помню, как однажды она приехала в ужасную погоду среди лета. Выходя из экипажа и охая после долгой езды по ужасной дороге, она возгласила: «Карикатура южных зим!» Она прожила в Шахматове около недели, в урочные часы переводила какую-то книгу и часто развлекалась разговорами с тремя сестрами, причем и ей и нам было превесело. В городе она жила некоторое время по комнатам, но потом, внезапно вообразив себя *Hausfrau*<sup>51</sup>, она наняла себе квартиру в три крошечные комнатки. В это время Анна Николаевна вообще увлекалась домовитостью и, между прочим, восхищалась воронами, находя, что это очень хозяйственная птица: «Карр-карр – такая славная мать семейства», – говорила она, изображая ворону. Она наняла прислугу и устроилась очень уютно. Свои комнаты она называла «наперстки», и мы не раз посещали ее в то время все три, и даже как-то раз привели к ней студента К. В. Недзвецкого, который пришел в восторг от интересной синеглазой писательницы Ламовской<sup>52</sup>, которая была известна между нами под именем «Полосы»,

---

<sup>51</sup> Хозяйка дома (нем.).

<sup>52</sup> Лидия Филипповна Нелидова (урожд. Королева, в первом браке Ламовская, во втором – Маклакова, 1851–1936) – беллетристка.



потому что только что напечатала в каком-то журнале интересный рассказ «Полоса», где трактовалась психологическая тема о помешательстве на какой-то полосе. Недзвецкий восхитился синими глазами этой дамы и находил, что у нее голос, как виолончель Давыдова<sup>53</sup>. В «наперстках» нам бывало пресвесело. Мы пили чай с каким-то печеньем и без конца болтали.

Будучи литературной дамой, Анна Николаевна встречалась со многими писателями: с Тургеневым, с Достоевским и другими. Она особенно ценила последнего. Из ее рассказов о нем я помню, что он говорил ей как-то: «Ведь во мне все Карамазовы сидят». Помню, как Анна Николаевна приехала к нам в Шахматово из Москвы после пушкинского праздника, на котором, к стыду нашему, никто из нас не был по причине какой-то глупой инертности. Она с восторгом рассказывала про знаменитую речь Достоевского, начинавшуюся словами: «Пушкин есть явление чрезвычайное», и призналась, что после этой речи она поцеловала Достоевскому руку<sup>54</sup>.

В 90-х годах возник журнал «Вестник иностранной литературы», издаваемый владельцем магазина серебряных ве-

---

<sup>53</sup> Карл Юльевич *Давыдов* (1838–1889) – виолончелист и композитор, профессор и директор Петербургской консерватории.

<sup>54</sup> См. в письме Достоевского к жене: «Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучали меня» (Цит. по: Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений, т. 26. Л., 1984, с. 460; ср. там же, с. 462). См. также: С. В. Белов. Романтика книжных поисков. М., 1986, с. 72–74.

щей по Садовой линии Гостиного двора Григорием Фоми-  
чом Пантелеевым. Почему он сделался издателем, не знаю,  
вероятно, кто-нибудь указал ему на выгодность этого пред-  
приятия. Он был совершенный профан в литературе, но че-  
ловек чрезвычайно приятный в обхождении, за что наша  
мать, к которой он часто являлся, так как она по нездоровью  
не могла ездить в редакцию, прозвала его «благоприят-  
ный купец Пантелеев». Этот издатель, вероятно, по чьей-то  
рекомендации, пригласил первым редактором своего журна-  
ла Анну Николаевну Энгельгардт, она же пригласила в со-  
трудники сначала мою мать, а потом и меня с сестрой Алек-  
сандрой Андреевной. Сестра Екатерина Андреевна писала  
тогда оригинальные стихи и рассказы и не нуждалась в пе-  
реводах. Первой работой матери в этом журнале было путе-  
шествие Стэнли «В дебрях Африки», за которой последовало  
множество других и при редакторе Булгакове и Трубаче-  
ве. Анна Николаевна отдавала полную справедливость жи-  
вому таланту нашей матери и поощряла мои первые работы.  
То было золотое время нашего заработка: мать зарабатывала  
больше 1000 р. в год, а я 300 руб., что было вполне достаточ-  
но для моих костюмов, развлечений и других мелких расхо-  
дов. Я даже купила себе в эти годы в рассрочку рояль взамен  
того Лихтенталя, который мать подарила сестре Александре  
Андреевне при ее вторичном выходе замуж. Новый рояль  
стоял в моей комнате, а не в гостиной, и я могла играть на  
нем без помех всех своих Бахов и Шуманов, непереносных

для моей матери. Знакомство с Анной Николаевной окончилось, однако, плачевно. Она поссорилась с сестрой Катей, «русалкой», из-за своего сына Коли, потому что та не возмутилась по поводу фельетона Буренина, остроумно отщелкавшего в «Новом Времени» стихи Ник. Энгельгардта. Анна Николаевна была оскорблена этим фельетоном до слез и сказала Кате, что если та ей не сочувствует, она просит оставить ее дом навсегда, и сама прекратила с нами знакомство. Так и кончились наши отношения с этой милой и интересной, но слишком пристрастной женщиной.

# Глава XV

## Первые годы в Шахматове

Первые годы нашего шахматовского житья прошли приятно и беззаботно. Только матери, которая вела сельское хозяйство, приходилось думать о том, как свести концы с концами. Отец зарабатывал, вероятно, тысяч семь, при казенной квартире с отоплением, считая профессорский гонорар и доходы с книг, главным образом учебников, которые шли, разумеется, очень бойко. Но у нас выходило всегда много денег, особенно с 1876-го года, когда отец сделался ректором. Как ни дешева была тогда жизнь, все же содержать жену и четырех дочерей, из которых две еще учились, было не так уж легко, так как жили мы скромно, но широко: держали кухарку и горничную, а зимой еще так называемого «кухонного мужика» для ношения дров и разных посылок; для стирки и глажения брали поденщицу, а в ректорском доме был еще особый швейцар, без которого ректору нельзя было обойтись. Кроме того, к нам часто приезжали родственники, которые гостили зимой иногда подолгу, а бабушка Александра Николаевна жила обыкновенно всю зиму. Субботние вечера, несмотря на скромное угощение (чай, бутерброды и фрукты), тоже дорого стоили, т. к. гостей на них была тьма. Гости вообще бывали часто и в самое разнообразное вре-

мя, особенно молодежь. Подруги наши часто ночевали у нас после суббот, а молодые люди, ставшие близкими в доме, приходили в воскресенье к завтраку и часто оставались чуть не весь день. По веснам устраивались длинные и поздние прогулки, которые очень мешали гимназисткам готовиться к экзаменам. Да и вообще наша тогдашняя жизнь – веселая, но безалаберная – не способствовала серьезным занятиям. Летом же количество прислуги с прибавлением судомойки, столь же частые гости и обильная еда. А Шахматово как-никак надо было содержать, а переезды туда и обратно со всеми багажами, особенно осенью, когда шли в город бесконечные ящики с вареньем, сиропами и маринадами, стоили очень дорого, т. к., хоть и дешево были билеты, но нас-то было уж очень много, считая шесть человек господ и прислугу, привезенную из города. Сестре Кате было немало хлопот с домашним хозяйством, и все же у нее оставалось много свободного времени, и она имела полную возможность предаваться любимым занятиям, не отставая от отца и сестер в прогулках и походах за цветами и за грибами. Она была самая зоркая, и потому больше всех находила грибов, а в составлении букетов цветов отличалась особым искусством, которое со временем перешло ко мне, между делом и во время одиноких блужданий в поисках земляники или цветов сестра Катя сочиняла стихи для себя или по заказу, что ей ровно ничего не стоило. Иногда рисовала она акварелью с натуры – цветы или виды. Последнее удавалось ей лучше, вообще

же у нее был необыкновенно правильный и точный рисунок, но ей не хватало чувства красок, как верно сказала про нее одна художница. Я думаю все-таки, что если бы она продолжала учиться живописи, из нее вышла бы недурная пейзажистка. Уцелевшие виды Шахматова ее работы дают полное понятие о том, что она рисовала. Сохранился вид шахматовского дома с частью сада и того холма, на котором он стоял, со стороны Гаврилиной дороги, вид флигеля, нарисованный на ящичке, да вид сарая и группа деревьев соседнего с нами имения («усадыба чья-то и ничья»). К сожалению, пропали виды амбара с сосной, двух елок, стоявших на гумне, и аллеи, ведущей к пруду. Был также точный карандашный рисунок, изображавший голубую комнату в то время, когда она была спальней старших сестер. Есть еще хорошая акварель отца с тем же видом дома, холма и части сада, снятая раньше и несколько шире захватывающая пространство, так что видны не только липы и серебряный тополь, но и ряд высоких берез за забором на нижней дорожке. Цвет крыши – зеленый – как было сначала, а на акварели сестры Екатерины Андреевны она уже красная.

Нечего и говорить, что мы с Асей были вполне беззаботны и радостно предавались деревенской свободе и милым занятиям. Сестра Софа, не имевшая никакого касания к хозяйству, тоже не знала забот. Отец, совершенно устранившийся от сельского хозяйства, бесконечно наслаждался вольным воздухом, природой, прогулками и возможностью проводить

все лето с семьей. Он, разумеется, не оставлял и летом научных занятий: собирал растения, разыскивал новые виды, определял их, описывал и т. д. Но ведь в этом была одна из больших его радостей. В общем, все были довольны и веселы. Читали довольно много, мы с Асей упивались Шекспиром, старшие сестры читали, главным образом, английские романы в издании знаменитого Таухница. Конечно, все читали журналы. Иногда мать потешала нас, читая вслух что-нибудь вроде рассказов ныне забытого Слепцова или пьес Островского, с редким искусством и чувством юмора. В темные или ненастные вечера, при зажженных лампах, отставив обеденный стол к стене, мы, сестры, танцевали иногда вчетвером кадрили под звуки модной тогда музыки «Fleur de the»<sup>55</sup>, составленной из мотивов оперетты Лекока. Отец со старшими сестрами, а иногда и мать посещали зимой Михайловский театр, где были в то время казенная и очень хорошая французская труппы, и говорили, что в оперетке «Fleur de the» смешили всех до упаду два комика Tetar и Pechna (Тэттар и Пэшна), которых отец талантливо изобразил своим бойким карандашом в китайских костюмах. Мы с Асей писали иногда стихи на одну тему, например, «Замок». Судьей нашего искусства была всегда сестра Катя. Стихи эти не сохранились, и вряд ли стоит об этом жалеть. Сестра Софа не писала стихов, в свободное от прогулок время она только читала, мечтала и вышивала по канве полоски для украше-

---

<sup>55</sup> Чайный цвет (*фр.*).

ния полотенец или рубашечек с широкими рукавами, которые носили в семидесятых годах барышни – с темными юбками, цветными кушаками и бусами – под названием «русских костюмов». Вышивание полотенец было тогда очень в ходу: на одной из групп, где изображены три сестры Бекетовы (четвертая была уже замужем) и Вера Л., у всех в руках расшитые полотенца. Эта группа у меня есть так же как и кабинетный портрет сестры Аси невестой в расшитой рубашечке и переднике и темной юбке с шелковым кушаком, с завязанным сзади бантом. Юбка была темно-коричневая, шерстяная, конечно, со шлейфом, а кушак красный с белым. Сестра Катя никогда не носила таких костюмов, справедливо находя, что они к ней не идут, но я носила. Не могу сказать, чтобы они шли к моей худощавой фигуре, но по крайней мере у меня была длинная и густая коса, что более подходит к русскому стилю, а у Кати – прическа с локонами, а, впрочем, сестре Софье и Вере Л. локоны не мешали, они даже вместе снялись в этих костюмах, составив милую поясную группу с двумя головками – белокурой и черноволосой. Так-то проживали мы в Шахматове целых три лета, но в 1878-ом году произошло событие, нарушившее наше мирное житие. Ася сделалась невестой, и жених ее, Александр Львович Блок, посетил Шахматово. Это посещение оставило мало хороших воспоминаний. Александр Львович озадачивал всех своими парадоксами и непривычными для нас мнениями. Много говорил он, вероятно, из духа противоречия, в пику забот-



ливым родителям, а, впрочем, трудно нам было тогда понять этого демона жестокости и эгоизма с нашими старыми понятиями о гуманности, семейной любви и пр.

Александр Львович проводил большую часть времени вдвоем с невестой, мы видели его мало. Очень характерно, например, было то, что, когда у его невесты заболели зубы и мать попросила сказать, что ей бы не следовало гулять в сырые вечера, Александр Львович ответил, что болезнь придает утонченность, так что нечего стесняться этого нездоровья. Вообще же во время своего пребывания в Шахматове он был очень требователен и тяжел с невестой и так расстроил ей нервы, что она была уже далеко не так весела и беззаботна, как прежде. Доказательством этого служат стихи Александры Андреевны, написанные ею значительно позже, как воспоминание прошлого, привожу их почти целиком.

Сирень распустилась. Мне душно в саду.  
По узкой дорожке я тихо иду.  
Уж смерклось, и льется сильней аромат,  
Раскрылись цветы и со мной говорят:  
О, вспомни, как здесь он тебя обнимал,  
Как страстно и нежно тебя целовал,  
Как здесь проводили вы долгие дни,  
Как в сумраке теплом сидели одни.

...

И птицы ночные летали кругом,  
И месяц сиял над спокойным прудом,

Дрожали в груди под дыханьем весны  
Весенние песни, весенние сны.  
О, вспомни, как милый тебя проклинал,  
Как гневно, жестоко тебя упрекал,  
Как плакала ты, как молилась тайком  
Здесь, в тихом саду над тенистым прудом.  
О, вспомни, как здесь ты несчастна была,  
Как смерть призывала и смерти ждала,  
Как мучилась тяжко, всем сердцем любя  
Того, кто терзал беспощадно тебя.

...

Страданья и радость опять вспомяни,  
О прошлом далеком еще раз вздохни.  
Пусть слезы помогут навеки простить,  
Но горечи тяжкой с души им не смыть.

*Санкт-Петербург. 26 апреля 1883 г.*

# Глава XVI

## Отец поэта Александр Львович Блок

Приведенные в предыдущей главе стихи свидетельствуют о том, как много приходилось терпеть моей сестре Александре Андреевне еще невестой от тяжелого характера Александра Львовича. Как это часто бывает, она, балованное дитя всей семьи, своевольная, шаловливая, вполне подчинилась не только мужу, но и жениху. Она даже не жаловалась на него и не думала с ним разорвать.

Итак, четвертое лето шахматовского житья было уже не так безмятежно, как первые три года. Говоря стихами «Возмездия»,

...И в нашу дружную семью  
Явился незнакомец странный...

Далее следует в стихах описание того, как ястреб кружит на бледном небе, высматривая гнездо, и, высмотрев, «Слетает на прямых крылах» и... «жертву бедную когтит»... Эта бедная жертва и была моя юная сестра Ася, которую ястреб вырвал из родного и теплого гнезда. Сын-поэт сравнивал своего отца и с ястребом, и с демоном.

И прав был сын, нарисовавший такими чертами облик отца. Нелады между женихом и невестой добрые и наивные наши родители не принимали всерьез, несмотря на многие предостерегающие со стороны голоса, и думали, что со временем, в браке, все «образуется», но они ошиблись... В зиму, последовавшую за тем летом, когда Александр Львович посетил Шахматово, он женился на сестре моей Асе и увез ее в Варшаву. В дальнейшем было так: прошло около двух лет, в продолжение которых ястреб продолжал пить кровь своей жертвы.

Что с ней? Как стан прозрачный тонок!  
Худа, измучена, бледна...

*(«Возмездие»)*

Такою явилась она в отчий дом через два года после свадьбы, когда муж привез ее из Варшавы, намереваясь защищать свою магистерскую диссертацию. В эти годы, проведенные без Аси, самой веселой из четырех сестер Бекетовых, все шло обычным порядком: те же субботы в ректорском доме с толпой молодежи, никаких особых событий, если не считать того, что у нас поселилась потерявшая мать племянница отца Аня Енишерлова, и сестра Катя, почувствовав утомление и прилив грусти, уехала за границу с семьей Воронина. С ней провела она несколько месяцев в Висбадене, а на виноградный сезон поехала, уже одна, в Швейцарию, где и поселилась в пансионе на берегу Женевского озера в городке Montreux.

Только я отчаянно тосковала по сестре Асе. Мне не хватало ее близости, а, кроме того, я подозревала, что ей плохо живется, хотя она и не говорила об этом в своих письмах.

Осенью 80-го года она приехала с мужем к нам. Ее жалкий вид и не свойственный ей отпечаток покорности и запуганности до того поразили меня, что, вместо того чтобы радоваться ее приезду, я долго не могла прийти в себя и справиться с припадком нервной дрожи, которая меня охватила. Затем последовали уже не раз описанные мною события: рождение на свет Саши Блока во время одной из суббот, уже после отъезда в Варшаву его отца.

Началась жестокая борьба с Александром Львовичем, который не допускал и мысли о разводе с женой. Когда его перестали пускать к жене при вторичном его приезде на рождественские каникулы, он врвался в дом, оттолкнув старого швейцара, и, проникнув к жене, умолял ее на коленях к нему вернуться; когда же принимали меры, чтобы окончательно прекратить его вторжения в дом, он простаивал целые часы под окнами жены во всякую погоду, чем немилосердно терзал Александру Андреевну. Она заболела от горя, плакала, томилась и должна была прекратить кормление ребенка, потому что у нее испортилось молоко, но материнское чувство все-таки превозмогло, да и страшная жизнь в Варшаве пугала ее своим призраком: опять терпеть побои, жить впроголодь и подвергать тому же ребенка. Александр Львович был очень скуп и не только плохо кормил жену, но

не признавал извозчиков и не хотел нанимать няню, несмотря на слабое здоровье жены. Конечно, он был жалок в своей безумной страсти, но, зная его характер, можно с уверенностью сказать, что Александр Львович сократил бы жизнь Александры Андреевны, а Саша погиб бы очень скоро, так как только усиленные заботы нашей семьи, и в особенности матери, при участии талантливого доктора укрепили его здоровье, внушавшее сначала большие опасения.

Я много раз задавала себе вопрос, откуда взялся характер Александра Львовича. Его высокая интеллигентность, образованность и утонченность не вязались с его поведением. Бывают люди бешено вспыльчивые, которые не помнят себя в порыве гнева. Александр Львович не был таким: он умел мгновенно сдержаться, когда знал, что могут видеть, как он бьет жену, в этих случаях он проявлял даже низкие чувства. Александра Андреевна рассказала мне как-то, что незадолго до рождения сына, когда она жила с мужем в ректорском доме, он повел ее в Мариинский театр слушать «Русалку». Ей сильно нездоровилось, и она насилу досидела до конца оперы, домой пришлось идти пешком, так как конок по пути не было, а извозчика взять Александр Львович поспешил. Они шли по пустынной набережной. Пока никого не было видно, Александр Львович начал бить жену, не помню уж по какому пустячному поводу, может быть, потому, что она тихо шла и дорогой молчала и вообще не была оживлена, но как только показывался прохожий, Александр

Львович оставлял ее в покое, а когда тот исчезал из виду, побои возобновлялись. Еще характернее случай, бывший в ректорском доме. Сидя в нижнем этаже, мы слышали наверху в той комнате, где жила Александра Андреевна с мужем, крики, возню и удары. Было ясно, что происходит... Отец бросился наверх, и, вбежав в комнату молодых Блоков, сейчас же увидел, в чем дело, и крикнул зятю: «Вон отсюда!» Тот сейчас же ушел, причем, уходя, сказал отцу: «Я не знал, что Вы дома». Помню, как я вошла к сестре после этой сцены. Она сидела в униженной позе и сказала мне жалобным голосом, опустив голову: «Меня избили».

Многие думали, что Александр Львович был человек ненормальный, но, по словам жены и по моим наблюдениям, это неверно, – впрочем, мне трудно судить об этом. Знаю только, что ему случалось бить и мать свою, как это говорили в его семье. Мать его была женщина добрая и смиренная, но глупая и пошлая, так что ее понятия и способы выражаться могли раздражать сына. Она выражалась, например, так: «Да, он действительный (понимай: статский советник), да он все-таки имеет». В одном из писем ее к Александру Львовичу по поводу Саши Блока, который как-то зашел к ней, когда ему было лет 20, она написала сыну: «У меня был твой Саша, такой молодец, в новом пальто». Это все, что она нашла сказать о двадцатилетнем внуке, каким был в то время Александр Блок...

Я, разумеется, не оправдываю поведения Александра

Львовича с матерью, но это поведение можно все-таки объяснить. Что касается его обращения с горячо и страстно любимой женой, которая была умна, остроумна, весела, хозяйственна и нежна и, кроме того, покорна мужу и не подавала никаких поводов к ревности, будучи очень привлекательна, то уж совсем непонятно. Она говорила мне, что он бил ее за то, что ей не нравились некоторые пьесы Шумана, или она не так спела какое-нибудь место в романсе, исполняемом под его аккомпанемент. Доставалось ей и за то, что она недостаточно хорошо переписала какое-нибудь место в его диссертации. Она переписывала ее, кажется, три или четыре раза! Когда она порвала с мужем, он писал ей сначала: «Почему ты ушла от меня? Я очень хороший муж». Спустя год или два после этого он, однако, писал ей нежные письма, в которых называл ее «мученицей». Когда от него ушла и вторая жена, далеко не избалованная жизнью и самых строгих правил, уводя с собой четырехлетнюю девочку под тем предлогом, что ее зовут к себе погостить братья, живущие в Петербурге, он отлично понял, в чем дело и, сказав: «Ты не вернешься», — даже не пробовал ее удерживать. А ведь он любил, очень любил и первую, и вторую жену, особенно первую. Любил и детей. Он берег, как святыню, все портреты Александры Андреевны и некоторые ее вещи, а также кровать дочери своей Ангелины. Александра Андреевна была во всех отношениях в его вкусе, и он понимал ее гораздо лучше, чем ее второй муж. Он ненавидел только семью Бекетовых, да и то не



всю, правда, больше после разрыва, справедливо считая, что наша семья способствовала этому разрыву. Ему, впадшему под влиянием второй жены, которая была с одной стороны английского происхождения, чуть не в ханжество, была противна религиозность Александры Андреевны. Он плевал на ее крест, бросал на пол ее Евангелие и, разумеется, злился, когда она молилась. Но какую нужно иметь утонченную жестокость, чтобы бить по лицу, как он это часто делал, нежную, любящую жену, очень молодую, почти ребенка. Между прочим, он бил ее обручальным кольцом. Это кольцо вообще мне памятно. Когда он приходил к жене через несколько лет после разрыва, уже успокоенный, так что не боялись его пускать, он давал о себе знать, стуча в запертую дверь этим кольцом, этот особый звук был для него характерен. Когда я узнала, как обращается Александр Львович с женой, его вид стал внушать мне ужас. Да, в этом человеке было что-то страшное, поистине дьявольское. Недаром сын его, примирившийся с отцом после его смерти, написал к матери через полтора месяца после его похорон: «Отцовский мрак находится еще на земле и вокруг меня увивается. Этого человека надо замаливать» (18 января (ст. ст.) 1910 г.). Но через несколько дней после смерти отца он написал ей следующее: 4 декабря (ст. ст.) 1909 г.: «Мама, сегодня были похороны... Из всего, что я здесь вижу и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-но-

вому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры...»

Приведенные мною факты, конечно, не вяжутся с благородством натуры, но я допускаю, что они были исключением из общего характера облика отца Александра Блока, а, может быть, сын понимал это слово в смысле более отвлеченном. В остальном его определение верно. Александр Львович был человек очень недюжинный и совершенно оригинальный. Напомню еще об одном суждении сына об Александре Львовиче, которое можно найти в его автобиографии: «... свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его». Слова чрезвычайно меткие. Быть может, в этой судорожности и крылась известная ненормальность.

После ухода второй жены Александр Львович сильно изменился. Уже то, что он не удерживал ее, когда она уезжала, и понял, что она к нему не вернется, показывает, что он утратил свою самоуверенность и осознал, что он виноват перед обеими своими женами. В «Возмездии» мы находим точное и высокоталантливое описание последних лет его жизни. Он прожил в одиночестве около двадцати лет...

Отец Блока был весь создан из противоречий, и вместе с тем был он человек необыкновенный, тогда как все его род-

ные: родители, братья, сестра – были люди обыкновенные... Он отличался от них и более сильным умом, и складом своим, и талантами. Лучшие стороны его натуры выражались именно в музыке. Я могу засвидетельствовать, что он играл, как никто, может быть, гениально?.. Нет никакого сомнения в том, что только случайно сделался он профессором государственного права. Он был хороший, хотя и немногими любимый, и тогда уже страстно – профессор, но это было очевидно не его дело, то была не его стихия. Вероятно, отец-правовед натолкнул его на эту специальность. Его исключительные вкусы к музыке и к литературе не были приняты в расчет. Ему бы следовало отдаться музыке. Кто знает? Если бы он изучил теорию музыки и попал бы в круг музыкантов, из него мог бы выйти композитор или хоть выдающийся, совсем особого склада пианист и музыкальный критик... Выдающимся и оригинальным человеком в семье Александра Львовича был дед его по матери, Черкасов, о страшном деспотизме и тяжелом нраве которого сохранились какие-то легенды. Вероятно, от него и заимствовал Александр Львович свои темные стороны, т. к. на своего отца он походил только скупостью, которая в том была в слабой степени, а у него превратилась в страсть. И тут, как во многом, он был непоследователен: женился два раза на бесприданницах и, копя деньги, не прятал их в сундуки и подвалы и не думал о том, что они «потекут в атласные дырявые карманы»<sup>56</sup>. А также,

---

<sup>56</sup> И потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Пушкин. «Скупой

моря жену голодом и заставляя вечно ходить пешком, часто водил ее в театр, и даже не в плохие места, и неизменно посещал вместе с ней концерты Антона Рубинштейна.

Но всего удивительнее то, что Александр Львович так несомненно и глубоко любил и Александру Андреевну, и сына. Его письма к жене о маленьком Саше прямо нежны. Правда, письма к сыну-студенту носят другой характер: по большей части они ироничны, а подчас и оскорбительны, как письмо его в ответ на присланные сыном «Стихи о Прекрасной Даме», в котором нет ничего, кроме глумления и издевательства<sup>57</sup>. Но тут уже сказалась обида непризнанного и обозленного отца, которого сын даже не пригласил на свадьбу. Он, т. е. сын, имел на это свои основания, но Александр Львович, конечно, не мог этого понять, не подозревая того, как оскорблял он своим цинизмом его исключительную чистоту.

Если мы беспристрастно оценим крупную и своеобразную фигуру Александра Львовича, то мы должны будем признать, что Александр Блок не был бы тем, чем он стал, если бы он не был сыном не только матери своей, Бекетовой, но и отца. В уме его много родственного с отцом, кое-что и в натуре. Глубоко трагическое и отвлеченное начало взял он от отца. Чувства Александра Львовича были глубоки, отношение к жизни серьезное и незаурядное, и весь он был из ряду

---

рыцарь».

<sup>57</sup> Письмо ноября 1904 (*ЛН*, т. 92, кн. 1, с. 271–272).

вон и в буржуазные, обывательские рамки не укладывался. Таков же был и сын его, только сильно смягченный кровным родством и влиянием семьи своей матери.

Что касается отношения поэта к отцу, то оно показано в следующих строках «Возмездия»:

Отец от первых лет сознания  
В душе ребенка оставлял  
Тяжелые воспоминанья —  
Отца он никогда не знал.  
Они встречались лишь случайно,  
Живя в различных городах,  
Столь чуждые во всех путях  
(Быть может, кроме самых тайных).

Когда Александр Львович успокоился и принял тот факт, что жена его оставила, Александра Андреевна разрешила ему, приезжая в Петербург, видеться с сыном, но отец не сумел привязать к себе мальчика, хотя он ему очень нравился. Он был слишком отвлеченный человек и совсем не знал, как нужно обращаться с детьми, он не умел ни приласкать Сашу, ни позабавить, ни говорить с ним на его детском языке, применяясь к его понятиям, ни подарить ему какую-нибудь игрушку или лакомство. Ребенок, очевидно, чувствовал в нем что-то страшное и глубоко чужое. Дети вообще очень чутки, а маленький Блок был особенно чуток. В этом чужом человеке, который иногда откуда-то являлся и как будто чего-то

ждал от него, не было ничего милого и ничего того, к чему ребенок привык от всех, кто его окружал. Об отношениях отца и сына в дальнейшем я скажу ниже.

## Глава XVII

### Друзья дома младшего поколения

Из молодых друзей нашего дома наиболее выделялись двое: Евгений Осипович Романовский и Иван Михайлович Прянишников. Оба не раз посещали Шахматове. Романовский познакомился с моим отцом и старшей сестрой Екатериной Андреевной в 60-х годах, уже после описанной мною истории с Сабатэром, во время пребывания в Швейцарии. Романовскому было тогда года 23, он, кажется, еще не окончил курса, а был на естественном факультете Петербургского университета. Он понравился отцу, и тот пригласил его бывать у нас в доме. Евгений Осипович охотно принял его приглашение и вскоре сделался у нас своим человеком. В год этого знакомства у нас устраивались небольшие собрания по субботам. На этих скромных субботах в профессорской квартире бывали подруги сестер Вышнеградские и Вера Леман и несколько молодых людей, в числе которых был талантливый химик Львов и Александр Васильевич Григорьев. Последние не бывали в Шахматове и не были близки в доме, поэтому я упомяну о них только вскользь. На этих вечерах занимались веселыми разговорами, бывшими тогда в ходу играми в мнения и вопросы и ответы и писали буриме – «рифмованные концы», т. е. сочиняли стихи на четыре ко-

нечные рифмы 4 строк. Все это под предводительством нашей веселой и изобретательной матери, которая давала всему тон, никого не стесняя и лучше всех придумывая забавные стихи на ею же заданные мудреные рифмы.

Романовский, о котором я и собираюсь писать, был блондин небольшого роста. Голова у него была довольно красивая, правильные черты, большие серые глаза под густейшими бровями, гладкая прическа с боковым пробором и густые усы с небольшой бородой. Его портила тяжеловесная, короткая фигура при чрезмерно большой голове. Но все это, вероятно, сошло бы, не будь в его манере чего-то, что исключало всякую возможность смотреть на него как на интересного мужчину. Он был веселый и живой юноша, умевший смешить барышень, но совсем не умел ухаживать. С самого начала знакомства с нами он обратил внимание на сестру Александру Андреевну, т. е. Асю, которой было в то время неполных 16 лет. Она уже расцветала и была очень милостива, кокетлива и свежа. Внимание Романовского выразилось исключительно в том, что он ее поддразнивал и дарил ей шоколад. Она была в то время гимназисткой казенной гимназии, носила уже прическу и крахмальные воротнички и манжеты согласно тогдашней моде. Подойдет к ней, бывало, Евгений Осипович и скажет: «Александра Андреевна, у вас на манжетке чернильное пятно». Разумеется, это ее сердило, действуя ей на самолюбие. Подобными замечаниями и вовлечением ее в спор ее поклонник доводил Асю до бело-



го каления, ей и в голову не приходило, что она ему нравится, и только проницательная сестра Катя вскоре угадала, в чем дело, и сообщила нам о своем открытии. Это несколько не расположило Асю в пользу Романовского. Помнится, она увлекалась в то время знаменитым Капулем с его прической и прочими обольстительными атрибутами и, разумеется, и смотреть не хотела на своего обожателя, тем более что он и не думал ей говорить о своих чувствах.

Романовский был по отцу донской казак, а по матери принадлежал к многочисленному семейству Бенуа, давшему нашему городу так много артистов, художников и архитекторов. Отец его рано умер. Сын унаследовал от него тип лица, т. е. голова его, особенно в бобровой шапке, очень напоминала казака. Мать Евгения Осиповича была добрая хозяйка, очень буржуазного типа, а вот эти-то хозяйственность и буржуазность, заимствованные от матери и, вероятно, и мешали нам, воспитанным в романтизме, воспринимать Евгения Осиповича как интересного мужчину. Ничего, действующего на воображение, в нем не было, а это-то нам и было нужно. Надо сказать, что в Романовском были и другие черты, но какое-то душевное целомудрие заставляло его скрывать поэтическую сторону своей натуры, которая обнаруживалась в нем позднее и притом никак не в речах, а в чувствах и в некоторых поступках. Собственно говоря, и он был романтик, но скрытый и притом не на русский лад. Это был скорее диккенсовский тип, а уж никак не тургеневский и от-

нюдь не в духе Достоевского. В те годы мы все увлекались итальянской оперой. Евгений Осипович, недурно игравший на скрипке, вообще любил музыку. Он часто посещал итальянскую оперу и с верхов райка неистово вызывал любимых певцов и певиц. Он был в то время дружен со своим кузеном Альбертом Бенуа<sup>58</sup>. Часто можно было слышать от Романовского, что они с «Бертушей» сделали овацию певице Кари и тенору Николини<sup>59</sup>. Кари была прекрасное меццо-сопрано, выступавшая вместе с тенором Николини в роли Амнерис в «Аиде», впервые дававшейся тогда в Петербурге. Кроме «Бертуши», беспрестанно было у Романовского на языке имя Блока, не Александра Львовича, а его брата Петра, который, как и Романовский, недурно играл на скрипке. Их, кажется, это и сблизило. Не знаю, где они познакомились, но мы постоянно слышали от Евгения Осиповича фразу. «Мы с Блоком „то-то и то-то“». Тогда мы на это не обращали внимания, т. к. Александр Львович еще не появлялся на нашем горизонте. Другие молодые люди, бывавшие тогда у нас, не были конкурентами Романовского на внимание Аси. Григорьев и Прянишников, как оказалось впоследствии, были оба поклонниками сестры Софьи Андреевны, а Львов, которому нравилась Ася, как-то сказал про нее: «Хороша Маша, но не наша». Она же была еще очень молода, и никому и в голову не приходило, что в недалеком будущем она выйдет за-

---

<sup>58</sup> Альберт Николаевич Бенуа (1852–1936) – художник-акварелист.

<sup>59</sup> Эрнест Николини (1833–1898) – солист итальянской оперы.

муж и оставит родительский дом. Не подозревал бедный наш Евгений Осипович, какая опасность надвигается на него со стороны семьи Блоков, тем более что Ася была еще совершенное дитя, хотя и тогда уже мечтала о детях и говорила в полном неведении тайны жизни, что у нее будет много детей: один будет Дмитрий Николаевич, другой – Иван Александрович и т. д. Кажется, все мы в то время ничего не понимали и никто нас не «просвещал». В первый же год знакомства с нами Романовского, после того как исполнилось Асе 16 лет, она познакомилась на танцевальном вечере у одной из подруг по гимназии, Сашеньки Озерецкой, с Александром Львовичем Блоком и сразу пленила этого интересного человека с демоническим обликом и складом. В следующем сезон мы уже переехали в ректорский дом и хорошо познакомились с семьей Озерецких, которая тогда уже ввела в наш дом Александра Львовича Блока, причем он стал настойчиво ухаживать за Асей. Что касается Романовского, брак Аси застал его совершенно врасплох. Я была так огорчена тем, что расстаюсь с любимой сестрой, и так рассеяна на ее многолюдной свадьбе, что даже не помню, был ли на ней Романовский. Знаю от Львова, что после венчания Аси Евгений Осипович горько плакал у него на квартире. Дальнейшие события: приезд Аси в родную семью, рождение сына и разрыв с мужем – не изменили отношение Романовского к нашей семье. Он остался навек нашим верным другом. К сестре моей, Александре Андреевне, он относился не только

дружески, но с каким-то особым уважением и очень любил Сашу Блока, как в детстве, так и тогда, когда он сделался Александром Блоком. Прошли года, отец наш вышел в отставку из ректоров, и мы стали жить на частных квартирах. Саше Блоку было года четыре, когда мы поселились на большой и прекрасной квартире на Ивановской, в том доме, где жила перед тем М. Г. Савина<sup>60</sup>. В это время приехала к нам на житье из Пензы одна из племянниц отца, дочь земского деятеля Алексея Николаевича Бекетова. Неистово скучая в захолустной Пензе и чопорной обстановке своей семьи, она выразила желание поступить на Бестужевские курсы. Отец ее охотно исполнил это похвальное желание, конечно, не подозревая, что курсы есть только предлог для того, чтобы вырваться из постылой Пензы и увидеть настоящую жизнь. Дядя Алексей Николаевич был очень рад случаю закончить образование своей дочери и дать ей возможность пожить в семье любимого брата. Мать наша была не в его вкусе, но не настолько, чтобы он боялся ее влияния. Кузине Кате недавно минуло 18 лет, она была хорошенькая, умная и бойкая девушка, но будучи воспитана чрезвычайно достойной, но малоразвитой и педантичной матерью, любимым чтением которой были немецкие романы из немецкого журнала с наивным и не литературным содержанием, она имела смутное понятие о литературе. Классики, русские и иностранные, мирно

---

<sup>60</sup> Мария Гавриловна Савина (1854–1915) – знаменитая актриса Александрийского театра.

почивали на полках шкафов в их доме, и барышни Бекетовы, которых было три, не имели понятия ни о Достоевском, ни о русских поэтах, за исключением слегка знакомого Пушкина, Лермонтова, ни о Шекспире и прочих. Попав в нашу литературную атмосферу и послушав наши разговоры, пестревшие цитатами из классиков, она живо смекнула, что ее развитие ниже нашего, и первое время разговаривала только с нами, а в обществе обыкновенно молчала, так что один из наших знакомых, человек просвещенный и интересный, спрашивал нас: «Почему Ваша хорошенькая кузина молчит?» – но довольно скоро эта игривая и кокетливая девушка увидела, что недостаток литературного развития не так уж много значит. Она поступила на курсы, стала много читать и быстро развернулась. Тут-то влюбился в нее Романовский и потерпел вторичное фиаско. Кузина Катя очень охотно с ним кокетничала, но он ей нисколько не нравился. Однако она не подозревала о серьезности его чувства и его ухаживания принимала за обыкновенный флирт. Но Романовский имел самые серьезные намерения. Поверенной своих чувств и мечтаний он избрал Александру Андреевну. Он показывал ей стихи Фета, которые находил подходящими предмету своей любви. Это было прекрасное стихотворение:

Ты вся в огнях, твоих зарниц  
Я весь сияньями украшен,  
Но из-под ласковых ресниц  
Огонь небесный мне не страшен.

Александра Андреевна не подавала ему никаких надежд, так как была близка с Катей и знала, каково ее отношение к нему, но тем не менее в один прекрасный день Романовский попросил ее сделать от его имени формальное предложение Екатерине Алексеевне Бекетовой. Александре Андреевне не очень-то хотелось быть посредницей в этом деле, но ей пришлось согласиться. Романовскому было отказано, но кузина Катя была так взволнована и огорчена тем, что ей приходится заставлять страдать такого хорошего человека, что не знала, что делать, и из чувства жалости чуть не отдала свою руку человеку, которого нисколько не любила и не выбрала себе в мужья.

Итак, бедный Евгений Осипович потерпел новый афронт в нашем семействе. Он перенес его с гордостью, т. к. вышел уже из юношеского возраста, но с тех пор уже не делал новых попыток жениться и довольно быстро приобрел все ухватки старого холостяка, хотя ему далеко еще не было 40 лет. Этому много способствовало то, что ему нечего было делать. Живя вдвоем с матерью, которая получила порядочную пенсию после мужа, и имея некоторое состояние и дом на Фонтанке, он мог жить в совершенной праздности, т. к. служить ему не хотелось, а к науке у него не было серьезной склонности. Одно время он увлекся личностью моего деда, Г. С. Карелина, перечитал все, что осталось от его записок и остатка переписки, принимал участие в некоторых отделах книги

ботаника Липского, который написал наиболее подробную биографию Карелина, разбирал его минералогические лекции и т. д.

Но это были занятия временные и случайные, обычно же Романовский посещал многочисленных родных и знакомых, преимущественно в дни их семейных праздников. Устраивал вместе с матерью воскресные завтраки с гостями, готовил какие-то непонятные составы для окрашивания – не помню даже чего, или делал одеколон и духи, которые дарил моей матери, словом – убивал время и разменивался на мелочи.

Когда сестра моя Александра Андреевна вторично вышла замуж за Фр. Ф. Кублицкого, Евгений Осипович с ним подружился, т. е. между ними не было близости, но они охотно проводили время вдвоем после какого-нибудь праздничного обеда в Гренадерских Казармах. Не знаю, право, о чем они говорили, Франц Феликсович был человек не разговорчивый и вне службы не имел интересов, но имел такое же пристрастие к мелочам, как и Романовский. Они по целым часам рассматривали вместе какие-то никому не нужные предметы, вроде винтиков, скобок и т. п., которые любил собирать Франц Феликсович и держал в своем письменном столе с необыкновенной аккуратностью, разложив по коробочкам.

Романовский любил делать маленькие подарки: небольшие вазы для цветов, резной деревянный ящичек для паcьянсных карт и т. д. Все это было очень мило, но носило

часто буржуазный характер. В дни семейных праздников он приносил обыкновенно очень вкусные торты и конфеты. Его отношение к нашей семье было трогательно по своей неизменной преданности. Между прочим, он был одним из очень немногих, посещавших нас в Шахматове в то лето, когда нашего отца разбил паралич. Он очень любил нашу мать. Последний год ее жизни, когда она была еще очень бодра и полна жизни, несмотря на злую и мучительную болезнь, он часто приходил в неуказанно позднее время, этак часов в 11 вечера, и вел с ней бесконечные и, по правде сказать, прескучные разговоры, которые она слушала с бесконечным терпением и снисходительностью. С ней же он вел оживленную переписку как в городе, так и во время наших летних отлучек в Шахматово. Письма эти были написаны на редкость красивым и четким почерком – чуть не с обозначением часов и минут их написания, полны подробностей о внешней стороне жизни писавшего и преисполнены наилучших чувств, выраженных в форме, напоминающей что-то старинное и чуждое русскому духу.

Домашняя обстановка Романовских, у которых бывала и я, была очень характерна. В низких комнатах, пронизанных солнцем, с гладко навощенными полами, стояла старая мебель. Все это было необычайно чистое и носило отпечаток буржуазности. Мать Романовского Екатерина Августиновна была милая старушка, очень неглупая, с трезвым и практическим умом, радушная хозяйка и спокойная мать, которая



говорила про сына: «Женя очень хороший господин». Евгений Осипович называл мать «маменькой», был с ней на Вы, неизменно почтителен, но несколько ироничен. Украшением квартиры были розовые камелии, за которыми с любовью и искусством ухаживала Екатерина Августиновна, доводя их до пышного цветения, что требует в нашем климате и комнате особого умения. По комнатам всегда ходило несколько кошек, число которых одно время дошло до семи. Одни были любимцами матери, другие – сына, причем для каждой кошки требовалась особая пища: кому варили кашу, кому варили рыбу и т. д. За воскресными завтраками всегда подавались великолепно выпеченные и вкусные пироги с неизменной начинкой из рыбного фарша. Во время завтрака приходилось отведать один или два сорта наливок или ликеров – изделие самого хозяина. Родственники и знакомые Романовских, которых приходилось встречать, ничего не прибавят к общему впечатлению скучноватой порядочности и буржуазности. В этой-то атмосфере и развились пышным цветом те мелочные и чудачливые черты, которые появились у Евгения Осиповича к 40 годам. Но жизнь эта, очевидно, ему не нравилась. С годами появилась у него какая-то грустная и милая улыбка, с которой он смотрел на молодежь. Он с трогательной симпатией и снисходительностью относился ко всем молодым безумствам и выходкам, любуясь на них с видом человека, который давно уже ничего не ждет от жизни. Кто знает, что вышло бы из него при других условиях и об-

стоятельствах? Несмотря на всю пустоту его жизни, он был далеко не лишен содержания, а его нравственный облик носил печать редкого благородства и глубины. Конец его жизни был очень печален и даже трагичен. Оставшись один после смерти матери, он жил анахоретом, перебравшись в только отделанный собственный дом, и там был найден убитым среди еще не вполне разобранных ящиков, книг и вещей.

Иван Михайлович Прянишников был человек совершенно другого склада, чем Романовский, хотя в судьбе их было много общего. Он познакомился с нами, когда мне было около пяти лет. Как произошло это знакомство, я не знаю, но хорошо помню, что в один из разов, когда я ходила с отцом смотреть разводимый им на университетском дворе ботанический сад и мы уже шли домой по университетской галерее, чьи-то руки внезапно подхватили меня сзади и подняли на воздух. Несколько испуганная, я очутилась на плечах незнакомого мне человека и, обернувшись, увидела смеющееся лицо с белыми зубами и белокурые усы и бородку, и над ними большой нос с горбинкой и веселые глаза.

Это и был Иван Михайлович Прянишников, который стал часто у нас бывать. Все любили его за веселость, остроумие и милый характер. Я редко видела на своем веку более веселого человека, умевшего рассмешить и детей, и взрослых. Нам с Асей, когда мы были девочками, он пел какие-то смешные, бог весть где им подобранные русские песни. В одной из них говорилось про зятьев, которые везли теще подарки. Я пом-

ню только первый куплет:

Первый зять едет, первый зять едет,  
Везет дудок, воз сопелок, воз свирелок —  
Пусть их дуют,  
Пока живы будут —  
Рамушки, рамушки, веселые мои!

В таком же роде были и другие песни, которых я не помню. Иван Михайлович был чистейший русский, родом из Пензенской губернии, кажется, отдаленного купеческого происхождения. Он был родной брат небезызвестного художника-передвижника Иллариона Михайловича Прянишникова, который очень похоже изобразил брата на одной из своих небольших картинок с несложным сюжетом: едет в дровнях по снежной дороге в лес человек в тулупе, в фуражке и в красном шарфе на шее. Иван Михайлович подружился со всей нашей семьей. Мы тогда часто сживали все вместе в описанной мною гостиной профессорской квартиры. Тут-то, бывало, Иван Михайлович изощрялся в шутках и остро-тах, сочинял всякий вздор и смешил всю компанию, рисовал какие-то необычайные ребусы, вроде следующего: «Беги, Тарас, от глаз Елизаветы», причем изображал их так: Б – гитара (рисунок), сот (рисунок), глаз (рисунок), ели (рисунок), заветы (Библия). Были и другие в том же роде. Помню еще в его очень хорошем исполнении отрывки из куплетов известного тогда куплетиста Шумахера о некоем обывателе,

который решил:

...лично съездить за границу,  
Как патриот и дворянин...

В Европе ему ничего не нравится, и всякий куплет заключается одним и тем же двустишием:

И черт занес меня в Европу!  
В России лучше, не в пример.

Но вот мы стали подрастать. Интересы детские сменились девическими. Иван Михайлович ко всем нам относился по-особому, сообразно нашим характерам. Асю он любил поддразнивать, чего с остальными не делал. Когда начались ее бесконечные увлечения, он дразнил ее по этой линии, причем всегда задевал ее романтическую струнку.

Когда мы с ней перешли в казенную гимназию и Ася была в одном из последних классов, она пленилась учителем русской словесности Елпатьевским; это был высокий, белокурый, несколько прыщеватый юноша, с розовыми щеками, довольно-таки бездарный и педантичный. Увлечение Аси было, конечно, общеизвестно. Как-то раз она сообщила, что Елпатьевский болен и не пришел на урок. «Что Вы, Асенька, – сказал ей Иван Михайлович, – совсем не болен, сам я видел, как пьяный в канаве валяется». Как бы в подтверждение этого факта Иван Михайлович тут же сочинил акростих

на имя Ася:

Алпатовский водку пьет,  
Сашу тешить не идет.  
Я ж его каналью!

Теперь уже Иван Михайлович не пел смешные песни, а потешал нас какими-то стихотворениями неизвестных авторов, вроде следующего:

Не нужно мне ни графов, ни полковников,  
Когда не ты, божественный Грибовников,  
Супругом будешь дорогим...

Дальше я, к сожалению, не помню.

Но не всегда наш веселый друг развлекал нас шуточными стихами. Он хорошо знал русских поэтов и прекрасно говорил стихи Полонского, Майкова и других. Помню, как говорил он стихи Полонского:

Соловей запел в затишье сада,  
Огоньки погасли за прудом.  
Сядь сюда. Ты, может быть, не рада,  
Что с тобой остался я вдвоем.  
Не печалься: ни о том, что было,  
Ни о том, как мог бы я любить,  
Ни о том, как это сердце ныло,  
Я с тобой не буду говорить...

и т. д.

В репертуаре Ивана Михайловича были, между прочим, стихи Апухтина «Гаданье», которые начинались словами:

Ну, старая, гадай, тоска мне сердце гложет,  
Веселой болтовней меня развесели,  
Пускай твой разговор забыть тоску поможет  
И скучный день пройдет, как многие прошли.

Помню, как в Шахматове в сумеречный час Иван Михайлович сидел на ступеньках балкона и говорил эти стихи в присутствии моей двоюродной сестры Александры Михайловны Марконет. Читал он очень просто, без всяких эффектов, но проникновенно и искренно. Дальше у Апухтина идут следующие строки:

На сердце – дама червонная – с гордой душой такой,  
Словно к тебе благосклонная,  
Будто играет тобой.  
Хочешь сказать ей про многое,  
Свидишься – все позабудешь...  
и т. д.

Конец стихов:

Но только, старая, мне в сердце не гляди,  
И не рассказывай о даме о червонной, —

Иван Михайлович произносил с такой силой и болью, что невольно приходило в голову, что стихи эти очень подходят к нему самому и выражают его личные чувства. Большинство тех стихов, что он любил говорить, было на тему о неудачной любви. Таков «Кузнечик-музыкант» Полонского, влюбленный в бабочку, и некрасовское «Застенчивость»:

Ах, ты страсть роковая, бесплодная,  
Отвяжись, не тумань головы,  
Засмеет нас красавица модная,  
Вкруг нее увиваются львы...

И недаром выбирал эти темы Иван Михайлович. Как-то раз беспардонная наша Ася, показывая Ивану Михайловичу в моем присутствии карточки сестры Софьи Андреевны, которые он что-то очень внимательно рассматривал, вдруг заподозрила, что это неспроста, и, как бесенок, захлопала в ладоши и запрыгала перед Иваном Михайловичем, приговаривая: «Иван Михайлович влюблен в Софу! Иван Михайлович влюблен в Софу!» Оказалось, что она попала в самую точку. Иван Михайлович в смущении хватал ее за руки и повторял: «Асенька, Асенька! Что Вы? Неправда, да перестаньте!» Она перестала и никогда уже больше с ним не говорила, чувствуя, что тут дело не шуточное и этого места трогать не надо.

Иван Михайлович был некрасив и не похож на светского и модного кавалера, одевался он только что прилично, жи-

вя довольно скудно на свое учительское жалованье. Кончив курс на естественном факультете, он не был оставлен при университете и удовольствовался скромной долей учителя. Педагогического таланта у него не было, и не любил он своего дела, исполняя его только ради куска хлеба. Бывало, сидит он с нами, так весело разговаривает, а потом взглянет на часы, скажет: «Иду на уроки», – и, скрепя сердце, но с бодрым видом отправляется пешком в какое-нибудь учебное заведение. Итак, Иван Михайлович был не то, что называется интересный кавалер. Сам он так описывал свою наружность: «У меня нос – римско-католический, глаза – цвета неба сквозь бутылочное стекло, смотрят из-под подворотни...» Он был довольно высок, худощав, лицо у него было живое и на редкость приятное. Любили его положительно все, и многие барышни говорили ему это в глаза, но он только отшучивался и сказал как-то раз: «Да, все-то вместе мне в любви объясняются, а вот наедине-то – никто». Он, очевидно, не имел никаких надежд на успех и даже не пробовал ухаживать ни за кем из барышень. В шутку он говорил комплименты Асе, называл ее: «Асенька, прелестная девица». Так как в семье ее называли в то время «Кот» или «Кошка», он часто обращался к ней с таким титулом: «Ваше Кошатайство», или «Кошатию», вроде польского Добродию. Всего меньше он говорил с той, которую любил. Поведение его с ней вообще напоминало, как это ни странно, французского дворянина Сирано де Бержерака из комедии Ростана. Будучи влюблен в свою



кузину Роксану, модницу и красавицу, что называлось в те времена «Precieuse», т. е. утонченную светскую женщину, и сознавая свою некрасивость, Сирано никогда не говорил ей о своих чувствах и был неизменно весел, забавен и пр. Иван Михайлович, конечно, очень страдал от несчастной, вполне безнадежной любви, но никогда этого не показывал. Он носил маску вечной веселости и беззаботности. На его глазах сестра моя Софья Андреевна увлеклась Батюшковым. В разгар ухаживания Федора Дмитриевича на спектакле в ректорском доме Иван Михайлович мастерски, с настоящим комизмом сыграл небольшую роль лакея в одной из пьес, а после спектакля, во время танцев, влез на подмостки, встал перед суфлерской будкой и с помощью какой-то палочки изобразил капельмейстера, причем ради вящего комизма подвезал себе щеку черным платком. Судя по тому как он играл на сцене и читал стихи, думаю, что он мог бы быть неплохим актером, но ему это и в голову не приходило. Во время этого вечера со спектаклем у него, вероятно, сильно скребли на сердце кошки, но он и виду не показал. Через несколько лет сестра Софья Андреевна вышла замуж. Словом, все случилось почти так, как в «Гаданьи» Апухтина, с той только разницей, что еще до замужества сестры моей Софьи Андреевны Иван Михайлович уехал в Москву. Там он как-то случайно женился, вернее, его женили на девушке, которая его полюбила, и довольно скоро умер в чахотке, которая началась у него еще в Петербурге, когда мы с ним часто виделись. Он

всегда был слабого здоровья, но не имел средств на лечение и погиб в возрасте сорока с небольшим лет. Был он человек очень яркий, оригинальный и, несомненно, даровитый, но как-то не сумел найти свое место в жизни. Таких было много на русской почве, особенно в те времена.

# Глава XVIII

## Блок и Шахматово

До семилетнего возраста маленький Блок проводил всякое лето в Шахматове. Даже в тот год, когда его возили за границу, в Триест и Флоренцию, в сопровождении матери, бабушки, няни Сони и меня, почти все лето было проведено в Шахматове, и только в августе мы уехали в Триест через Москву и Варшаву. Итак, первые семь лет своей жизни, когда складывается наиболее прочный фундамент телесного и духовного человека, маленький Блок проводил три или четыре месяца года в условиях шахматовской природы и быта, и, разумеется, эти годы и положили основание той любви к природе и к русской деревне, которая так характерна для его поэзии. Самое поверхностное листание стихов Блока покажет читателю, какое большое количество их посвящено деревенской природе, которую он видел именно в Шахматове, так как даже и не знал остальной России и только раз в жизни был на нижегородской ярмарке.

Если мы проследим влияние Шахматова на творчество Блока с самого раннего детства, то мы увидим, что первые стихи его сочинены несомненно под впечатлением Шахматова:

Зая милый, зая серый,  
Я тебя люблю.  
Для тебя-то в огороде  
Я капустку и коплю.

Лет около девяти, когда начались первые неуклюжие попытки писать в антологическом роде, было сочинено стихотворение «Конец весны» (см. мою книгу «Ал. Блок и его мать»). Здесь влияние Шахматова несомненно. Так и видишь луг за шахматовским садом, вблизи которого начинается пруд. С 1894 года Блок начал издавать журнал «Вестник». В этом рукописном журнале все наиболее удачные произведения Блока в стихах и в прозе навеяны Шахматовым. Таковы стихотворения «Весной», «Осенний вечер» и шуточные стихи, посвященные собаке Дианке, которые изображают уголок шахматовского сада под окном комнаты Блока, в которой он жил гимназистом и студентом. Стихотворение «Воспоминание о первых днях шахматовской весны 1896 года» не попало в «Вестник». Оно представляет собою уже настоящую элегию с тем мрачным настроением, которое налетает порою в эти ранние годы в предчувствии юношеских порывов и бурь. Минуя неудачные стихи «Вестника», представляющие собою лишь плохое подражание хорошим образцам, перехожу к прозе. Заслуживает внимания детская сказка «Летом», написанная под влиянием окружающей природы. Отрывок «Из летних воспоминаний» есть прямой отголосок шахматовских впечатлений.

Итак, все лучшее, написанное Блоком в детском и отроческом возрасте, носит явный след влияния Шахматова.

Блок очень любил это место. Перед отъездом в деревню из города, после гимназических экзаменов, он приходил в радужное и особенно шаловливое настроение. Да ведь и то сказать – сколько радостей давало ему пребывание в Шахматове: воля, поля, леса, походы за грибами, верховая езда, катание в тележке и, наконец, собаки, из которых самая любимая была Дианка. Один из ее щенков, черно-бурый Арапка, родившийся осенью, когда все еще были в сборе, составлял предмет бесконечных радостей и забав Блока и его двоюродных братьев. Впоследствии из него вышел огромный мохнатый пес. В Шахматове происходили и бесконечные игры с братьями Кублицкими – игры и мирные, и воинственные, хотя и без драк, начиная с игры в поезда и кончая подражаниями эпизодам из романа Майн Рида, Купера и др. в том же роде. Пробегая из сада во флигель, где жили братья, мимо окна, где бабушка Бекетова сидела за переводом или за шитьем, Блок останавливался на миг и спрашивал: «Бабушка, можешь ты сшить американский флаг?» – «Конечно, могу», – отвечала бабушка, и вынув из синего сундука, стоявшего в передней за дверью ее комнаты, синий, белый и кумачный кусок материи, в какие-нибудь полчаса соорудила по всем правилам искусства американский семизвездный флаг, который и подавала в окно своему внуку, окончательно убежавшему обратно с этой принадлежностью ка-

кой-то новой игры. Само собой разумеется, что Саша Блок был зачинщиком и изобретателем всех игр и шалостей младших братьев. Тут же между играми, вероятно, в дождливую погоду, писались стихи и проза для «Вестника» и сооружались летние номера журнала. До какой степени Блок любил Шахматово, видно, между прочим, из его анкеты, заполненной в июле 1897 года в Наугейме. Это был лист так называемых «Признаний» с печатными вопросами. Против вопроса: «Где бы вы хотели жить?» – Блок написал: «В Шахматове».

В отроческие годы Блок был превеселый мальчик. Веселился он и зимой, несмотря на гимназические уроки, которые его порою удручали, хотя прилежание его было довольно сомнительное. В конце года он обыкновенно совсем разлеживался, особенно в последних классах, но все же неизменно получал хорошие баллы из классических языков, так как был страстный классик. Особенно любил он латинский язык. Его ранние переводы из «Энеиды» и «Одиссеи» настолько хороши, что один очень компетентный переводчик, которому я их показала несколько лет тому назад, нашел, что блоковские гекзаметры лучше брюсовских, а это что-нибудь да значит, особенно в 15–16 лет. Греческий язык Блок полюбил не сразу, сначала он даже возненавидел его, как видно из письма его матери в Шахматово, отрывок из которого я намерена привести. Письмо написано из Петербурга 16 мая 1895 года. Блоку было, значит, 14½ лет. Мать сообщает сначала, что «Сашура» перешел в 6-ой класс без экзамена, так как у

него хорошие баллы по всем главным предметам, и через три дня можно ехать в Шахматово. «Можете себе представить, – пишет Ал. Андр., – как радуется и гордится „Блэк“<sup>61</sup> тому, что его перевели без экзамена! – Известие о том, что Забияка<sup>62</sup> пропал, несколько омрачило Сашуру, но в то же мгновение он узнал, что есть Диана и обрадовался вдвое». «Скажи цветку – прости, жалею // И на лилею нам укажи», – цитирует она раннего Пушкина и продолжает: «Тотчас он объявил, что он ее (Диану) будет звать Артемидкой, но тут вспомнил, что ненавидит греческий, и прокричал, что ничто в мире не заставит его изменить латыни ради греков. Крик, отчаянный гвалт, перекувыркивание и бессвязное лепетание – вот главные занятия этого мальчика в настоящее время. Таковым он, очевидно, и к вам явится. И вместе с тем похудел, побледнел и весь покрылся веснушками...»

Прибавлю от себя, что и в этот, и другие разы, когда Ал<ександра> Ан<дреевна> жаловалась, что «Сашура» имеет весной плохой вид, он всегда поправлялся на шахматовском воздухе, молоке и нашем обильном и очень вкусном столе.

Влияние на Блока бекетовской семьи было очень сильно. Разлученный силою обстоятельств с отцом, Блок с ним редко виделся и почти не знал этого странного человека, исполненного противоречий, весь облик которого носил столь яр-

---

<sup>61</sup> В то время Блок из шалости произносил свою фамилию таким образом.

<sup>62</sup> Собака.

ко выраженные черты демонизма. Конечно, отец не мог влиять на сына иначе, как кровно. В «Возмездии» строки, касающиеся их отношений, рисуют их с полной точностью...

Итак, Блок рос без отца в семье Бекетовых, где был только один мужчина – дед. И потому верно сказано в «Возмездии» (гл. 2):

Он был заботой женщин нежной  
От грубой жизни огражден.

Мать, дедушка, бабушка, тетки, вся бекетовская семья с ее литературностью, идеализмом, наивным отношением к жизни, замкнутостью тогда еще крепкого семейного начала, с налетом романтизма – все это влияло на Блока с раннего детства, все это он воспринял полностью в детские, отроческие и юношеские годы. Летом собиралась в Шахматове вся семья, составляя некую сгущенную атмосферу, особенно сильно влиявшую на Блока.

К духу семьи подходили и наиболее частые посетители Шахматова – родные бабушки Блока, Бекетовой. Из них очень важное значение для Блока имели Соловьевы, о которых я пишу выше, из остальных упомяну о знаменитой в семье «тете Соне». Это была старшая сестра бабушки Блока – С<офья> Гр<игорьевна> Карелина, которой было за 70 лет, когда ему было 18. Эта милая старушка отличалась необычайной бодростью, добротой и неувыдаемым интере-



сом к жизни. Она любила молодежь, которая платила ей тем же, а каждое лето приезжала к нам из своего Трубицына, находившегося в 60-ти верстах от Шахматова. Узнав Блока еще ребенком, она продолжала любить его и юношей, интересовалась его стихами, некоторые из которых ей нравились, а впоследствии полюбила его жену. Молодые Блоки с удовольствием слушали ее милую болтовню и рассказы о старине и друзьях ее Тютчевых и Боратынских, близких родных и потомках обоих поэтов.

Возвращаюсь к отроческим годам Блока.

В сезон 1894-95 года Блок впервые увидел игру драматических артистов. С этого времени родилась его страсть к театру, и у него явилось желание играть самому. Летом 1895 года в Шахматове была разыграна с двоюродными братьями Кублицкими сцена Кузьмы Пруткова «Спор греческих философов об изящном». В 16 лет мечты об актерской карьере овладели Блоком уже всерьез. Началось с декламации и пристрастия к Шекспиру. Летом 1897 года, после возвращения из Наугейма, где произошел роман с К. М. С<адовской>, Блок особенно тщательно изучал «Ромео и Юлию» и то и дело декламировал монолог Ромео в склепе: «О, недра смерти...» Насколько неотступно Блок думал о сцене, показывают его ответы в анкете, заполненной в Наугейме:

Мое любимое занятие? – *Театр.*

Чем я хотел бы быть? – *Артистом императ<орских> театров.*

Каким образом я желал бы умереть? – *На сцене от разрыва сердца.*

В следующее лето (1898 года) Блок задумал поставить в шахматовском саду при лунном свете сцену перед балконом. Эта затея, кончившаяся неудачей, подробно описана в моей книге «Ал. Блок и его мать». Для не читавших ее скажу вкратце, что сцена была вполне подготовлена, Ромео – Блок и Джульетта, не раз упоминавшаяся мною «тетя Липа», совершенно не подходившая к своей роли, оба в костюмах, заняли свои места: она на импровизированном балконе, он внизу, на лужайке, осененной деревьями; началась и самая сцена, но всему помешало появление на месте действия собаки Арапки, случайно зашедшей в сад. Настроение Ромео было нарушено, декламация прервана и раздосадованный артист бросил игру, уйдя из сада. На этом кончились шахматовские спектакли, но Шахматово было, так сказать, прологом к тем спектаклям, которые происходили в менделеевском Боблове: после знакомства Блока с Люб<овью> Дм<итриевной> в пору ее девического расцвета. Эти спектакли происходили летом 1898 и 99-го года, и Блок разучивал в Шахматове все свои роли. В романе Блока с Люб<овью> Дм<итриевной>, начавшемся в 1898 году и завершившемся браком 17(30) августа 1903-го года, Шахматове тоже сыграло немаловажную роль. Подробному разбору этого романа в связи со стихами я посвящу другую статью, а те

перь намечу лишь, главные его моменты, начав с того, что случайный визит Блока в соседнее Боблово, куда пригласила его весной при встрече на выставке мать Люб<ови> Дм<итриевны>, послужил началом романа, а спектакли в имении Менделеевых с частыми поездками Блока верхом на репетиции как нельзя более благоприятствовали развитию этого романа. Если бы встреча с Люб<овью> Дмитриевной произошла в городе, в обычной будничной обстановке и свидания с ней были бы редки, все сложилось бы иначе. Здесь же влияла и природа, и романтика шекспировской пьесы, и тот прекрасный образ, который создала Люб<овь> Дм<итриевна> в роли Офелии. Дело, конечно, не в игре, которая не могла быть сильна в такие юные годы, а в облике, который удивительно подходил к самому нежному и женственному из всех созданий Шекспира, и самый голос Люб<ови> Дм<итриевны>, в те юные годы «серебристо-утомленный», как назвал его позднее поэт, был как бы создан для роли Офелии, и трогательный вид ее в сцене безумия, и бесконечная женственность всего ее образа, – все это вместе производило неотразимое впечатление. Удивительно ли, что романтично настроенный и пылкий мальчик, каким был в то время поэт, до безумия влюбился в свою Офелию. О силе его впечатлений свидетельствуют многочисленные стихи, написанные прямо или косвенно то к самой Люб<ови> Дм<итриевне> в этой роли, то в виде песен Офелии. Можно себе представить, каким грезам предавался поэт, возвращаясь верхом

при звездах из Боблова в Шахматово на своем белом коне. Первые стихи, обращенные к Люб<ови> Дм<итриевне>, появились в это же лето 1898 года:

Она молода и прекрасна была  
И чистой мадонной осталась.

*(«Алконост», I том)*

Припевом каждого куплета этих стихов служит отчаянная строка:

Как сердце мое разрывалось!

Поэт не подозревал, что Офелия втайне тоже мечтает о своем Гамлете, и мучительно ревновал ее к вихрастому студенту Суму, репетитору ее братьев. (См. II-ой том «Дневника»).

Зачем дитя Офелия моя? —

вздыхает он в другом стихотворении, написанном в то же лето («Мусагет», 1911 г.).

Возвращаюсь к началу романа Блока с Люб<овью> Дм<итриевой>. Эта суровость, приводившая его в отчаяние, только разжигала его безнадежную страсть. Суровость была, разумеется, только щитом, скрывавшим истинные чувства Люб<ови> Дм<итриевны>, которая была застенчива,

дика и горда. А кроме того, как могла она выказать свои чувства, когда ее ни на минуту не оставляли вдвоем с поэтом? Кажущуюся холодность Люб<ови> Дм<итриевны> Блок принимал за чистую монету, временами он думал, что знакомство его с Менделеевыми прекратилось, и даже переставал к ним ходить. Какая-нибудь случайная встреча в театре или на вечере служила поводом к возобновлению знакомства. Опять начинались муки безнадежных стремлений и ревности – неизвестно к кому. Так шли годы. Летом Блок писал лирические стихи. В числе их было много чисто антологических, где неизменно фигурировала шахматовская природа. Некоторые из городских стихов тоже написаны под влиянием воспоминаний о Шахматове.

До 1900-го года включительно Блок не прерывал связи с К. М. С<адовской>. Они встречались в Петербурге после встречи в Наугейме. Подробности и фазы этого романа можно проследить по многим стихам, напечатанным в собрании стихотворений Блока и в томиках неизданных и не вошедших в собрание. Они по большей части обозначены инициалами К. М. С. Из них видно, как образ Люб<ови> Дм<итриевны> все сильнее и сильнее овладевал всем существом поэта и мало-помалу вытеснил из его сердца образ любовницы. След этого романа остался на всю жизнь, как мы знаем из цикла стихов «Через двенадцать лет», посвященного К. М. С, но чувство поэта угасло.

Тем временем Блок прошел два курса юридического фа-

культета, перешел на филологический и увлекся классической древностью и философией Платона, но любовные дела его не подвинулись ни на шаг. «Суровость» Люб<ови> Дм<итриевны> продолжалась. И вот под влиянием безнадежной любви и отвлеченной философии развивается мистика. Блок впадает в экстаз, почти в транс, создает культ Прекрасной Дамы и, придавая неземные черты любимой девушке, отождествляет ее с Душой Мира (см. II-ой том «Дневника»).

Прежде чем идти дальше, выскажу свои соображения относительно «суровости» Люб<ови> Дм<итриевны>. Некоторый еле заметный сдвиг в их отношениях можно заметить только через три года после их встречи. Но в течение этих трех лет – представьте себе положение молодой девушки, которая сама увлечена своим интересным и обаятельным поклонником, но не слышит от него ни слова любви и не видит, чтобы он искал случая увидеться с ней наедине. Кроме отвлеченных разговоров да выразительных взглядов он ничего не дает ей. Летом в Шахматове под влиянием уединения, отсутствия развлечений и университетских занятий чувство Блока развивалось еще сильнее. Все внимание семьи было сосредоточено на больном деде, который требовал постоянного присутствия дочерей. Бабушка, болезнь которой быстро шла к роковому концу, не теряла бодрости, но все реже и реже появлялась в семейном кругу. В 1900-м году братья Кублицкие с родителями уехали в Сибирь, где провели два

года. Юный Блок был совершенно предоставлен себе. Дома он изучал «Сократические диалоги» Платона, но большую часть времени проводил в уединенных прогулках верхом. В некоторых набросках «Возмездия» есть описание этих прогулок сначала в стихах, потом в прозе.

«...Высокий белый конь, почуя  
Прикосновение хлыста,  
Уже волнуясь и танцуя,  
Его выносит в ворота. <...>

Пропадая на целые дни – до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы, и со всех холмов, то в большем, то в меньшем удалении – высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом» и т. д. . . .

Но вот наступает 1901 г., которому Блок придавал особенно важное значение. В «Стихах о Прекрасной Даме», датированных этим годом, он разделил его на три отдела по месту действия и временам года. В посмертном издании «Алконоста» этот год обозначен так: «Стихи о Прекрасной Даме», I. С.-Петербург. Весна 1901 г. II. С. Шахматово. Лето и осень 1901 г. III. С.-Петербург. Осень и зима 1901 г. Этим отделам соответствуют в издании «Мусагета» 1916 г. следующие названия: I. Видения. II. Ворожба. III. Колдовство. «Стихи о Прекрасной Даме», как указано во всех изданиях, кроме самого первого («Гриф»), начинаются только с 1901-го г. Года

1898, 1899 и 1900 носят название «Ante Lucem». В них еще не вполне определилось то настроение, скажу больше – мировоззрение, которое выяснилось окончательно в «Стихах о Прекрасной Даме», где всецело царит Люб<овь> Дм<итриевна> в ее новом, только наполовину земном облике и аналогичная с ее обликом Она – существо неземное, но, по словам поэта (см. Дневник), ничем не дисгармонирующее с предметом его любви.

Возвращаясь к 1901-му году. Говоря языком, свойственным символистам того времени, *чаяния* и *откровения* начались уже в 1900-м г., на что указывают стихи «В полночь глухую рожденная» (25 дек. 1900. «Алконост») и в особенности «Ищу спасенья», которые кончаются строками:

Там сходишь Ты с далеких светлых гор.  
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.  
В Тебе – спасенье!

Что касается *весны* 1901-го г., то надо заметить, что Блок начинал чувствовать весну уже в январе, так что нечего удивляться, что первые стихи о Прек<расной> Даме помечены январем и февралем. Во II-ом томе Дневника Блок объясняет, что когда в конце января и в начале февраля он гулял к вечеру по Монетной «в совершенно особом состоянии», ему «явно явилась Она».

Лето 1901-го года Блок называет «мистическим». С конца мая до начала сентября он написал 34 стихотворения. II



отдел (Ворожба) характеризуется чувством глубокой связи поэта с природой, во всех явлениях которой он видит тайные знаки, как бы покровительствующие его любви. Показательно стихотворение 30 мая: «Они звучат, они ликут», которое кончается строками:

Звенит и буйствует природа,  
Я – соучастник ей во всем!

Поэт прислушивается к отдаленным песням и звукам. В стихах «Не жди последнего ответа» есть строки:

Он приклонил с вниманьем ухо,  
Он жадно внемлет, чутко ждет,  
И донеслось уже до слуха:  
Цветет, блаженствует, растет...

В стихотворении «Я жду призыва, ищу ответа» читаем:

Из отголосков далекой речи,  
С ночного неба, с полей дремотных,  
Все мнятся тайны грядущей встречи,  
Свиданий ясных, но мимолетных.

В это лето поэт уже чувствует, что между ним и любимой есть какая-то тайная связь.

За туманом, за лесами

Загорится – пропадет,  
Еду влажными полями —  
Снова издали мелькнет.  
Так блудящими огнями  
Поздней ночью, за рекой,  
Над печальными лугами  
Мы встречаемся с Тобой  
и т. д.

Поэт как бы притягивает любимую девушку магической силой своей упорной мысли о ней, эту игру и называет он ворожбой, и ему кажется, что и любимая ему отвечает.

Она представляется ему и как женщина, и как звезда.

Ты *горшишь* над высокой горою,  
Недоступна в Своем терему.  
Я примчуся вечерней порою,  
С упоеньем мечту обниму.  
Ты, заслышав меня издалека,  
Свой костер разведешь ввечеру.  
Стану, верный велениям Рока,  
Постигать огневую игру.

Несмотря на многие стихи этого лета, рисующие любимую девушку непорочной, святой, недоступной:

Она росла за дальними горами.  
Пустынный дол – ей родина была.

Никто из вас горящими глазами  
Ее не зрел – она одна росла.  
и т. д.  
Ты далека, как прежде, так и ныне...

и дальше:

Суровый хлад – твоя святая сила:  
Безбожный жар нейдет святым местам, —

несмотря на все это, все же чувствуется, что поэт не безнадежно смотрит вперед, и его мечты смелее. В стихотворении «Стою на царственном пути» он говорит:

Ступлю вперед – навстречу мрак.  
Ступлю назад – слепая мгла.  
А там – одна черта светла,  
И на черте – условный знак  
...  
Звезда – условный знак в пути,  
Но смутно теплятся огни,  
А за чертой – иные дни,  
И к утру, к утру – все найти!

Настроение Блока в это лето было отнюдь не мрачное и не безнадежное. В письме к тетке С. А. Кублицкой в Барнауле он пишет: «Лето прошло прекрасно для меня, я им ужасно доволен (в общем), да и погода была какая-то исключитель-

но лучезарная... Последнее время я далеко ездил верхом по окрестностям, даже в некоторые места мало знакомые...» В предыдущем письме он отвечает тетке на ее письмо с приглашением приехать погостить в Барнаул. Он объясняет, почему именно он не может приехать, и благодарит за приглашение. Во II-ом томе Дневника мы находим еще одно объяснение его отказа от этой поездки. На стр. 129-ой читаем: «Люб<овь> Дм<итриевна> проявляла иногда род внимания ко мне... Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие».

В это лето Блок виделся с Люб<овью> Дм<итриевой>. На стр. 130-й Дневника читаем: «Были блуждания на лошади вокруг Боблова (с исканием места *свершений*) – Ивлево, Церковный лес». На стр. 129-й Блок говорит: «Началось то, что „влюбленность“ стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо».

Чтобы хоть несколько уяснить двойственное отношение Блока к Люб<ови> Дм<итриевне>, укажу на его собственное объяснение этого странного явления во II-ом т. Дневника. Та, которая «явно явилась» ему во время весенних прогулок в городе, Она, – была существом неземным, высшим, чем-то вроде звезды, «в полночь глухую рожденная», а «живая оказывается Душой Мира, разлученной, плененной и тоскующей», которая стремится соединиться с высшим началом и в конце концов должна исчезнуть и улететь, оставив его одного на земле. Соединение с ней на рубеже жизни и смер-

ти и есть его высокое стремление, как видно из его стихов, написанных весной и летом 1901-го года. Еще в Петербурге написано стихотворение «Все бытие и сущее согласно», которое кончается словами:

Я только жду условного виденья,  
Чтоб отлететь в иную пустоту.

В шахматовском стихотворении:

Не жди последнего ответа,  
Его в сей жизни не найти... —

читаем:

Все ближе – чаянье сильнее,  
Но, ах! – волненья не снести...  
И вещей падает, немея,  
Заслышав близкий гул в пути.

Конец 1901-го года, т. е. III-й отдел, Блок назвал «Колдовством», а IV-й – зима 1901-2-го и весна 1902-го до первых чисел ноября – «Свершения». Я не буду долго останавливаться на этих отделах. Скажу только, что последующая за осенью 1901-го года зима и весна сильно сблизили влюбленных. Люб<овь> Дм<итриевна> поступила на драматические курсы Читау, и это было предлогом для частых и уеди-

ненных встреч Блока с Люб<овью> Дм<итриевной> на улице, проводов и разговоров. Встречались они и в церкви, как видно из многих стихов этого времени. И все же Блок не был уверен в том, что Люб<овь> Дм<итриевна> его любит и, обманутый ее сдержанностью, часто впадал в отчаяние.

Летом 1902-го года Блок написал в Шахматове 17 стихотворений, настроения которых разнообразны и часто мрачны. Таково первое шахматовское стихотворение:

Брожу в стенах монастыря  
Безрадостный и темный инок...

В это лето были в Шахматове вернувшиеся из Сибири двоюродные братья Блока с матерью. Но это не внесло ни радости, ни оживления. Не говоря уже о том, что мистически и мечтательно настроенный Блок не находил точек соприкосновения с братьями, – в Шахматове была тяжелая атмосфера. Дед и бабушка Блока доживали последние месяцы своей жизни. Дед постепенно слабел и наконец незаметно угас в ночь на 1-е июля. На одну из первых панихид в Шахматове приехала Люб<овь> Дм<итриевна> с матерью. Вероятно, под влиянием этой встречи написано стихотворение:

Я, отрок, зажигаю свечи,  
Огонь кадилый берегу...

которое кончается строфой:

Падет туманная завеса.  
Жених сойдет из алтаря,  
И от вершин зубчатых леса  
Забрезжит брачная заря.

Зубчатый лес, не раз упоминаемый Блоком в стихах, есть обозначение той горы, увенчанной лесом, в стороне Боблово, что видна была с самого высокого места дороги за шахматовской усадьбой, которое мы называли «горкой». Существует карандашный рисунок Блока, изображающий эту лесистую гору с едва намеченной окрестностью. Рисунок сделан в 1899-ом году и помечен датой 4-е июня. Сбоку подпись Блока «Боблово с горки?». Вопросительный знак, очевидно, выражает сомнение в том, действительно ли это бобловская гора, которую различал за другими холмами и лесами только его напряженный и зоркий глаз.

Пока тело деда было еще в Шахматове, откуда увозили его потом в Петербург, религиозно настроенный Блок был торжественно серьезен во время служения панихиды, но мысль о Люб<ови> Дм<итриевне> не покидала его в эти дни. 1-го июля, кроме стихов «На смерть деда», написано еще стихотворение «Пробивалась певучим потоком», а 5-го июля – в стихах «Не бойся умереть в пути» читаем:

Она и ты – один закон,  
Одно веленье Высшей Воли,

Ты не навеки обречен  
Отчаянной и смертной боли.

Единственное стихотворение этого лета, имеющее антологический характер, помечено датой 27-го авг. Это стихи:

Золотистою долиной  
Ты уходишь, нем и дик.

В это лето и бабушка Блока была близка к смерти. Она много дней проводила в постели, и даже ее веселость и оживление стали слабеть и меркнуть. Она умерла уже в городе 1(14) октября 1902-го года.

В январе 1903-го Блок сделался женихом Люб<ови> Дм<итриевны>. Первую половину лета этого года он провел с больной матерью в Наугейме, в Шахматове написал он только четыре стихотворения. Ему было не до стихов. Хлопоты о нужных для брака бумагах, о которых он с раздражением пишет отцу в письме из Шахматова от 25-го июля, а также пререкания с приходским попом, который делал всяческие затруднения и, что называется, «ломался», – портили настроение Блока и отвлекали его от обычных дум. Длинное стихотворение «Двойник» («Вот моя песня тебе, Коломбина») далеко не из веселых. Минуя описание свадьбы, о которой подробно говорится в биографии Блока, написанной мною, я прибавлю несколько слов о Сергее Соловьеве. Об его родителях и их значении в жизни Блока я уже гово-



рила. Желающих более основательно ознакомиться с этими замечательными людьми отсылаю к только что вышедшим воспоминаниям Андрея Белого под названием «На рубеже двух столетий». Сергей Соловьев был первый раз в Шахматове девятилетним ребенком. Это был прелестный мальчик с удивительными глазами, мечтательно и серьезно смотревшими на его смуглом личике, обрамленном длинными кудрями. Блоку было тогда 14 лет. Сергей приезжал на короткое время с отцом. Не по годам развитой, он был, однако, совершенный ребенок. Большую часть времени провел он с «Сашурой». Между прочим, они играли в обедню. Впоследствии Сергей Соловьев много раз приезжал в Шахматово. Будучи очень дружен с Андреем Белым, он показывал ему стихи Блока, которые Александра Андреевна посылала его матери. То впечатление, которое они произвели на самого Соловьева, на его родителей и на Андрея Белого, и было началом их распространения в Москве. Отсюда же стали они известны Брюсову, напечатавшему их в «Северных цветах», и издателю Сергею Кречетову («Гриф»), который издал первый сборник – «Стихи о Прекрасной Даме».

Во II-ом томе Дневника Блок упоминает об отношении к нему Сергея Соловьева. К мальчишескому обожанию к «Дон Жуану, выдавшему виды» (выражение Блока), присоединился восторг перед стихами Блока. Помню, как в Шахматове во время чтения стихов самим автором Сергей вскакивал с места, выкрикивая особенно понравившиеся ему места, и,

сверкая глазами, говорил: «Хочется что-то сделать!» Его живость, литературность и блестящий юмористический талант делали его посещения особенно приятными. Приехав в Шахматово за несколько дней до свадьбы Блока в качестве шафера, он вел себя серьезнее обыкновенного, так как был преисполнен сознания важности происходившего с Блоком. Люб<овь> Дм<итриевна> произвела на него очень сильное впечатление. В церкви и на обеде в Боблове после венчания он был в торжественном и вместе возбужденном состоянии и вскоре написал стихотворение, в котором Блок сравнивается с Орлом, а Люб<овь> Дм<итриевна> с голубицей<sup>63</sup>. Ранней весной 1904-го г., когда молодые Блоки приехали в Шахматово и поселились одни во флигеле, Сергей Соловьев приезжал к ним несколько раз из Москвы в промежутках между гимназическими экзаменами и, проведя в разговорах и чтении стихов очень веселый, но безалаберный день, уезжал обратно. Летом 1904-го года впервые посетил Шахматово Андрей Белый. Он познакомился с Блоком еще предыдущей зимой в Москве, но в Шахматове они подружились и сблизились. Описание обеих встреч можно прочесть в воспоминаниях А. Белого о Блоке, т. е. в его докладах, читанных после смерти поэта, и в нескольких номерах берлинского журнала «Эпопея». О самом Андрее Белом я говорить не буду, так

---

<sup>63</sup> Это четверостишие читается так: Раскрылась вечности страница. Змея бес- сильно умерла. И видел я, как голубица Взвилась во сретенье орла... (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 339).

как это слишком большая тема для настоящей статьи.

Весной и летом 1904-го г. Блок писал мало. В Шахматове написано всего три стихотворения: «Дали слепы, дни безгневны», «В час, когда пьянеют нарциссы» и «Вот он, ряд гробовых ступеней». Не берусь объяснить достоверно, к кому относится последнее стихотворение. Образ той, которая покоится в гробу, разумеется, вполне сходен с образом Люб<ови> Дм<итриевны>, но к которому из ее лиц относится оно, – сказать трудно. Это также не Она, так как здесь вообще нет больших букв.

Спи ты, нежная спутница дней,  
Залитых небывалым лучом...

По моему мнению, отнюдь не навязываемому читателям, в последнем стихотворении «Стихов о Прекрасной Даме» Блок хоронил те грезы, что были в этом периоде его жизни:

Я отпраздновал светлую смерть,  
Прикоснувшись к руке восковой.  
Остальное – бездонная твердь  
Схоронила во мгле голубой.

Быть может, он хоронил мечту о «Душе Мира»...

Во всяком случае по этим стихам, в которых описана хотя и «светлая», но все же смерть, не следует заключать, что Блок был в мрачном или хотя бы унылом настроении. Его

письма к матери из Шахматова весной этого года полны самого детского веселья и бодрости. Он очень занят хозяйством, в восторге от домашних зверей, в особенности поросят, подробно и местами юмористично описывает все, что он видит и делает в Шахматове, и т. д. Кто видел его, как я, в это лето, никогда не забудет этой светлой поры его жизни, его шалостей и веселой дружной работы с женой при устройстве своего дома и сада. В обоих было так много детского, и они составляли такую прекрасную пару, что все окружающие любовались на их молодое, безоблачное счастье. И, конечно, Люб<овь> Дм<итриевна> была теперь не Душа Мира, плененная, разлученная и т. д., не холодная богиня, не звезда, которая серебрилась вдали, а бесконечно любимая и милая Люба, с которой можно и подурачиться, и побегать, и подразнить ее, как видно из письма к матери 26-го апреля. Приблизительно в конце его читаем: «Ее превосходительство велела *продиктовать*: „Я совершенно поглупела и даже диктовать уж ничего не могу“ Она говорит, что все это я сочинил сам». Могу себе представить, какая была по этому случаю веселая перебранка: Люб<овь> Дм<итриевна>, может быть, даже немного надулась, а Блок, хохоча и шая, делал вид, что страшно ее боится.

Несмотря на события зимы 1904-1905-го г., лето 1905-го г. в Шахматове прошло приблизительно в том же настроении, как и предыдущее. Размолвка с Сер. Соловьевым и с Анд<реем> Белым, описанная мною (см. биографию Блока),

не оставила серьезных следов в жизни шахматовских обитателей. Но тут кончается период стихов о Прекрасной Даме. При разборе II-го тома стихов («Нечаянная Радость») я буду придерживаться другого метода в применении к шахматовским влияниям и воздействиям. Во втором томе Собрания стихотворений Блока Шахматово отразилось гораздо меньше, чем в первом, и все же есть о чем сказать и по поводу этого тома. Вступлением к нему служит городское стихотворение:

Ты в поля отошла без возврата.  
Да святится Имя Твое!

которое кончается строфой

О, исторгни ржавую душу!  
Со святыми меня упокой,  
Ты, Держащая море и сушу,  
Неподвижно тонкой Рукой!

Стихи написаны весной, значит после 9-ого января и всего того, что узнал и перечувствовал Блок в эту зиму. Они, конечно, относятся к Прекрасной Даме, чей культ создал Блок в своих мечтах, еще подкрепленный стихами Вл. Соловьева...

Ты пройдешь в золотой порфире —

говорится в тех же стихах. Вслед за ними идет отдел «Пузыри земли». Он состоит из 13 стихотворений. Первое, написанное в 1904-ом г. (5 апреля), может быть отнесено к шахматовским, остальные двенадцать написаны в 1905-ом г., частью в городе, частью в Шахматове. Все они, кроме одного<sup>64</sup>, которое, по непонятным для меня причинам, попало в этот отдел, навеяны впечатлениями шахматовской природы. Часть их написана зимой и ранней весной в городе, но все они полны свежестью деревенских настроений. Все эти «твари весенние», «болотные чертенята» и т. д. — отражение окрестных болот и лесов. Стихотворение «Золотисты лица купальниц» воспроизводит пейзаж известного места в дремучем лесу Праслово. Некоторые из этих стихов немного грустны, но ни одно из них не трагично. Большинство настроений светлое, как, например, стихотворение «Старушка и чертенята», посвященное Григорию Е., т. е. ежу, которого купили у деревенских ребят и поселили во флигеле молодые Блоки. История с этим ежом рассказана мною в книге «Александр Блок и его мать». Не думаю, чтобы нашелся в мире другой поэт, способный посвятить свои стихи такому зверьку. Есть стихи, посвященные любимой собаке, лошади, но ежу... на это способен был только Блок с его органической, нежной любовью к животным. Для того, чтобы понять

---

<sup>64</sup> «Я живу в отдаленном скиту».

его отношение к ним, надо было слышать, как он о них говорит, и видеть, как он их представляет. В Шахматове написано в этом отделе более пяти стихотворений. Два последние – оба осенние – написаны уже в городе, но настроения их шахматовские. Все остальное в этом томе, кроме некоторых «Разных стихотворений», не имеет никакого отношения к Шахматову, так как это «Ночная фиалка», «Город», «Снежная маска», «Фаина» и «Вольные мысли». В 1904-ом году помечены шахматовскими, т. е. летними датами, немногие и мало характерные стихотворения. В 1905-ом году шахматовских стихов гораздо больше – около 15-ти, в числе их «Влюбленность», прочитанная Блоком на одной из сред Вячеслава Иванова, когда хозяин и гости читали доклады на тему «Любовь», а также «Балаганчик»:

Вот открыт балаганчик  
Для веселых и славных детей, —

который послужил прототипом для пьесы «Балаганчик» и «Выхожу я в путь, открытый взорам».

В 1906-ом году из шахматовских отмечу два: «Прошли года, но ты все та же», и «Ангел-Хранитель» («Люблю тебя, Ангел-Хранитель во мгле»)… Это значительное стихотворение написано в третью годовщину дня свадьбы Блока. В нем есть уже трагические нотки. Стихотворение «Русь» («Ты и во сне необычайна»), попавшее впоследствии в книгу «Сти-

хи о России», написано в городе. Само собой разумеется, что если бы Блок не жил многие годы подряд в Шахматове, не изведал «осеннюю волю» и не узнал «в своей дремоте страны родимой нищету», он не мог бы написать этого замечательного стихотворения. Вот все, что можно отметить в этом томе, принимая во внимание краткость моей статьи. С 1906-го г. Блок начал писать для театра. Вслед за «Балаганчиком» был написан в Шахматове «Король на площади». В нем, разумеется, нет ничего от Шахматова, но «Песня Судьбы» написана не без его влияния. Весь первый акт с его главными персонажами есть отражение жизни в Шахматове. Разумеется, все преображено творческим вымыслом. «Песня Судьбы», как видно из писем к матери 1907-го года, написана в течение одного года. Она закончена в последних числах 1908-го года. 1-го мая уже Блок собирался читать ее на дому, «человекам пятнадцати». В этом году Блок почти все лето провел в городе, Люб<овь> Дм<итриевна> играла в провинции с труппой Мейерхольда. «Песня Судьбы», которой придавал автор большое значение, называя ее своим «любимым детищем», есть результат его настроений и переживаний 1906-го года. Это прежде всего протест против замкнутой жизни, слишком уединенной и удаленной от мира, протест, который кончился тем, что Блок ушел в мир от матери и поселился вдвоем с женой на отдельной квартире. Это переселение произошло совершенно мирно, но главной причиной его было действительно то, что Блок понял, «что мы од-



ни, на блаженном острове, отделенные от мира. Разве можно жить так одиноко и счастливо?» (слова Германа из 1-ой картины «Песни Судьбы»). Переселение Блоков из квартиры Кублицких на Лахтинскую произошло в сентябре 1906-го года, но, вероятно, оно подготовлялось еще предыдущим летом в Шахматове. Написание «Песни Судьбы» произошло уже после постановки «Балаганчика» и встречи с Н. Н. Волоховой. То и другое произошло в конце 1906-го года. Блок начал писать пьесу весной 1907-го года, когда роман с Волоховой был в полном разгаре и уже написана была «Снежная маска». В этой статье не место разбирать подробно всю пьесу, я скажу только о тех местах, где чувствуется влияние Шахматова. Герман – это, конечно, сам Блок, Елена – Люб<овь> Дм<итриевна>, Фаина – видоизмененная Волохова. Жизнь «в белом доме» в общих чертах есть точный снимок шахматовской жизни. Самая mise-enscene 1-го акта напоминает большой шахматовский дом на холме с дорогой, выходящей вниз, и открытым видом в эту сторону, не самый вид, а то, что он открыт, похоже на Шахматове. Молодой сад вокруг дома – есть сад, устроенный Блоками вокруг флигеля. Жизнь, близкая к природе, крайне уединенная, и близость отношений, в которых Елена при всей своей силе и жизненности – есть отражение Германа, отзвук его мыслей с глубокой верой в него, – все это и самый облик Елены приводит на память первые годы женитьбы Блока и, вместе с обстановкой 1-го акта, картину шахматовской жизни. В дальнейшем

Блок отступает от этих представлений, но его отношение к России, так ярко и полно выраженное в разговоре Германа с «другом» в 6-ой картине перед появлением Фаины в 7-ой, где прохожий с песней коробейника выводит Германа «до ближнего места», – все это родилось среди русской деревни, на почве которой созрело отношение Блока к России.

Припомним его слова из письма к матери по возвращении из Италии от 22-го июня 1909-го года: «А въехав в Россию я опять понял, что она такое, увидав утром на пашне трусящего под дождем на худой лошадке одинокого стражника». Россия – есть не государство, не нация, а некая лирическая величина, – говорит где-то Блок в другом месте. Это представление о России, неизменно связанное с народом, с картинами русской деревни и жизни русского крестьянства, могло возникнуть и окрепнуть только в Шахматове. Подтверждением и ярким выражением этого может служить стихотворение «Россия», напечатанное в третьем томе стихов Блока. Оно помечено 1908-ым годом. Не важно, где именно оно написано, но с первых строк уже чувствуется: Блок едет с Подсолнечной в Шахматово, и вот какие мысли в нем бродят во время пути:

Опять, как в годы золотые,  
Три стертых треплются шлеи,  
И вязнут спицы росписные  
В расхлябанные колеи...  
Россия, нищая Россия,

Мне избы серые твои,  
Твои мне песни ветровые —  
Как слезы первые любви!

К тем же настроениям и картинам, взлелеянным шахматовскими настроениями, относятся и другие стихи в отделе «Родина» третьего тома: «Осенний день» («Идем по жизни не спеша»), «Там неба осветленный край», «Задебренные лесом кручи», «Последнее напутствие»:

Нет... еще леса, поляны,  
И проселки, и шоссе,  
Наша русская дорога,  
Наши русские туманы,  
Наши шелесты в овсе...

и последнее стихотворение в отделе – «Коршун»:

Идут века, встает война,  
Встает мятеж, горят деревни,  
А ты все та ж, моя страна,  
В красе заплаканной и древней. —  
Доколе матери тужить?  
Доколе коршуну кружить?

Есть еще один ряд стихов Блока, который касается его отношений с женой, рисуя ее оригинальный облик – то женственно-нежный, с оттенком покорности, то вольный, гор-

дый и уверенный в своей силе. По своей обстановке, по всем подробностям эти стихи приводят на память Шахматово:

Мой любимый, мой князь, мой жених,  
Ты печален в цветистом лугу.  
Повиликой средь нив золотых  
Завилась я на том берегу.

Это написано в первый год женитьбы, а другое написано в 1907 г., в год романа Блока с Волоховой:

В густой траве пропадешь с головой,  
В тихий дом войдешь, не стучась...  
Обнимет рукой, оплетет косой  
И, статная, скажет: Здравствуй, князь.  
– Вот здесь у меня – куст белых роз.  
– Вот здесь вчера – повилика вилась.  
...  
Заплачет сердце по чужой стороне,  
Запросится в бой – зовет и манит...  
Только скажет: – Прощай. Вернись ко мне.  
И опять за горой колокольчик звенит.

Все люди, близкие Блокам, знали и видели, как удивительно относилась Люб<овь> Дм<итриевна> к роману мужа. Она страдала, но не унижалась ни до упреков, ни до жалоб, и, веря в себя, ждала его возврата. В конце концов она-таки ушла в свое любимое дело – на сцену. Но это было лишь времен-

ное отступление:

Тебя, Офелию мою,  
Увел далеко жизни холод...

И вот она вернулась и:

Как небо встало надо мною,  
А я не мог навстречу ей  
Пошевелить больной рукою,  
Сказать, что тосковал о ней...

Перехожу к дальнейшему. 1908-ой год был одним из важных в идейном и творческом развитии Блока. Он много пережил за предыдущий 1907-ой год, проведенный «у шлейфа черного», полный безумной и неразделенной страсти, от которой поэт искал забвения в вине. Затем наступило отрезвление и началась лютая тоска по жене, которая временно отошла от него. В 1908-ом году написано стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе». Там есть такие строки:

Летели дни, крутятся проклятым роєм...  
Вино и страсть терзали жизнь мою...  
И вспомнил я тебя пред аналоем,  
И звал тебя, как молодость свою...  
Я звал тебя, но ты не оглянулась,  
Я слезы лил, но ты не снизошла.  
Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты из дому ушла...

Но из следующей же страницы стихов мы узнаем, что:

Она, как прежде, захотела  
Вдохнуть дыхание свое  
В мое измученное тело,  
В мое холодное жильё.

После всех этих испытаний расширился круг мыслей и чувств поэта. В результате – ряд статей и докладов, объединенных одной мыслью о розни между русской интеллигенцией и народом. Мысли этих статей, вероятно, пришли Блоку во время его скитаний по родным лесам и полям и после разговоров с крестьянами, к которым он очень присматривался и прислушивался в то время. Тут, очевидно, и подсмотрел он ту усмешку мужика, о которой говорит в статье «Народ и интеллигенция», возбудившей так много споров и толков еще до напечатания. Эта статья, дважды прочитанная в виде докладов и трижды напечатанная, наиболее прошумела. В ней вопрос о пропасти между интеллигенцией и народом поставлен особенно остро. Она написана в 1908 году. Вот несколько характерных отрывков: «С екатерининских времен проснулось в русском интеллигенте народолюбие и с той поры не оскудевало <...> Может быть, наконец, *поняли даже душу народную*; но как поняли? Не значит ли понять все и полюбить все – даже враждебное <...> не значит ли это

*ничего* не понять и *ничего* не полюбить?

Это – со стороны „интеллигенции“. Нельзя сказать, чтобы она всегда сидела сложа руки. Волю, сердце и ум положила она на изучение народа.

А с другой стороны – та же все легкая усмешка, то же молчание „себе на уме“, та благодарность за „учение“ и извинение за свою „темноту“, в которых чувствуется „до поры до времени“. Страшная лень и страшный сон, как нам всегда казалось; или же медленное пробуждение великана, как нам все чаще начинает казаться. Пробуждение с какой-то усмешкой на устах. Интеллигенты не так смеются, несмотря на то, что знают, кажется, все виды смеха; но перед усмешкой мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слезы, на соловьевский хохот, – умрет мгновенно всякий наш смех; нам станет страшно и не по себе.

<...> По-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся, как к изменникам и перебежчикам».

Очень характерно для определения отношений Блока к России его предисловие (1918 г.) к брошюре, вышедшей под общим названием «Россия и интеллигенция» и содержащей семь статей на разные стороны одной и той же темы. Привожу отрывок:

«Тема моя, если можно так выразиться *музыкальная* (ко-

нечно, не в специальном значении этого слова). Отсюда и общее заглавие всех статей – „Россия и интеллигенция“.

Россия здесь – не государство, не национальное целое, не отечество, а некое соединение, постоянно меняющее свой внешний образ, текучее (как гераклитовский мир), и, однако, не изменяющееся в чем-то самом основном. Наиболее близко определяют это понятие слова: „народ“, „народная душа“, „стихия“, но каждое из них отдельно все-таки не исчерпывает всего музыкального смысла слова *Россия*.

Точно так же и слово „интеллигенция“ берется не в социологическом его значении; это – не класс, не политическая сила, не „всесловная группа“, а опять-таки особого рода соединение, которое, однако, существует в действительности и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с „народом“, со „стихией“; именно – в отношения борьбы».

В конце 1909 года умер отец Блока. Эта смерть имела большое значение как для жизни, так и для творчества поэта. Начну со стороны житейской. После отца осталось наследство, которое Блок разделил с сестрой Анжелиной. Большую долю этого наследства Александр Александрович истратил на Шахматово. Во-первых, он выплатил тетке Софье Андреевне третью часть стоимости Шахматова, которое мы оценили в 21 тысячу, и, таким образом, предоставил имение в полную собственность матери и меня.

Его тетка Софья Андреевна купила себе с помощью этих



семи тысяч другое имение – Сафоново – в 20 верстах от Шахматова, где и поселилась на постоянное житье со своим глухонемым сыном Андреем. Муж ее, Адам Феликсович, и старший сын, Феликс, приезжали в Сафоново летом, и вообще, когда представлялась возможность, в зависимости от службы и других занятий. Как только Блок вернулся из Варшавы после похорон отца, он начал строить планы о том, как отремонтировать пришедший в ветхость шахматовский дом и флигель. Мать его жила тогда еще в Ревеле, где муж ее получил полк в 1907 году. Ее нервная болезнь, начавшаяся вскоре после вступления во второй брак, приняла угрожающие формы. В марте месяце Франц Феликсович поместил ее в санаторию доктора Соловьева в Сокольниках близ Москвы, где она провела четыре месяца.

Ранней весной, в апреле 1910 года, Александр Александрович с женой уехали в Шахматово, где под присмотром одного из двух денщиков Франца Феликсовича уже начались первые работы по ремонту дома. Дом был обновлен и внутри и снаружи, что его очень украсило, не нарушив прежнего стиля, если не считать пристройки, которая и прежде была не в стиле самого дома. На этот ремонт Блок истратил около 4-х тысяч. Часть этой суммы он употребил на постройку дома для семьи нового приказчика Николая и перестройку конюшни. Куплены были также две новые лошади и кое-какая утварь. Все это очень занимало поэта. Он увлекался, во-первых, строительством, причем придумывал разные новости,

которые способствовали украшению и удобству. Подробно-сти можно прочесть в написанной мною биографии Блока. Распоряжаясь работами, Блок увлекался не только стройкой, но и разговорами с рабочими. Их было 30 человек: артель плотников, печники и маляры. Увлечение народом в противовес интеллигенции дошло до того, что Александр Александрович написал матери: «Все разные и каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интеллигента. Я разговариваю с ними очень много». В это же лето был нанят новый приказчик – рязанец Николай, грамотный, с претензиями на интеллигентность, который мечтал сделаться народным учителем и даже пописывал стишки, которые все собирался, да так и не решился показать Блоку. Он был немного садовник и потому называл табак, посаженный в саду ради красоты и запаха на затененных местах, не иначе, как *nicotiana*, был также чрезвычайно влюблен в свою молодую жену Арину, красивую и ловкую, но очень ленивую и грязную бабу. Сам он был щупленький, а она – здоровенная.

Люб<овь> Дм<итриевна> хозяйничала, т. е. распоряжалась сельскими и огородными работами. С Ариной, исполнявшей обязанности скотницы, она охотно разговаривала, но не думала учить ее, например, опрятности, а, главным образом, заставляла ее петь песни, что та и исполняла, сидя на гумне с Люб<овью> Дм<итриевой> под большой елью, – какую-то бесконечно длинную о переливами песню неопределенного мотива и ритма, требовавшую особенно сильного

дыхания. Песня была про какого-то Ваню, интересная, в ней было что-то степное, как справедливо заметила Люб<овь> Дм<итриевна>. Домашним хозяйством Люб<ови> Дм<итриевне> заниматься приходилось мало. Правда, она привезла с собой горничную Пашу, которая была и за кухарку, но Блоки довольствовались самым скромным меню: суп с вареным мясом, гречневая каша и крутые яйца, молоко, чай да кое-какие сладости, привезенные из города. Александр Александрович так увлекся своим опрощением и несложностью обихода, что был даже недоволен, когда я привезла свою прислугу Аннушку и начались настоящие «барские» обеды и завтраки.

Так шли дела в апреле и мае, но уже в июне Блок начал уставать от роли распорядителя и хозяина. Дело все усложнялось его же новыми выдумками, а рабочие тянули работу, которую надо было кончить до приезда Александры Андреевны, злоупотребляли щедростью и непрактичностью «простого» барина, бесконечно выпрашивая на чай и пропадая то в кабаке, то в отлучке.

Азарт Александра Александровича стал слабеть, дрязги с подрядчиком и возня с рабочими ему надоели, и в конце концов он написал матери: «Домостроительство есть весьма тяжелый кошмар, однако результаты способны загладить все перипетии ухаживания за тридцатую взрослыми детьми». Несмотря на все это, я, заставшая в Шахматове последнюю артель маляров, кончивших наружную окраску дома, еще на-

блюдала полный разгар увлечения обоих Блоков «народом». В артели было три Ивана. Старшего, подрядчика, довольно буржуазного и наиболее щеголеватого, Александр Александрович звал в разговоре с нами Жаном, среднего – Гансом, а младшего, в котором находили сходство с итальянским художником Филиппо Липпи, просто Ванюшкой. Филиппе Липпи был молод, строен и довольно миловиден и, вися на утлых лесах во время шпаклевки стен, с отчаянным видом запевал звонким тенором всегда одну и ту же песню: «Потеряла-а-а я-а колечко, потеряла-а-а я-а любовь, я по этому-у ко-олечку буду плакать де-ень и-и ночь...» Эта песня находила отклик в сердце нашей женской прислуги. Был еще подмастерье, пятнадцатилетний Аполлон, т. е. попросту Полоха или Полошка, столь неискушенный жизнью, что пел известную песню:

Ах зачем эта ночь  
Так была хороша?  
Не болела бы грудь,  
Не болела душа, —

таким образом:

Ах зачем эта ночь так была холодна?

По вечерам после работы маляры садились в кружок у короткого сарая, сохранившего свое название только по старой

традиции, и пели то хором, то в одиночку. Жан хорошо пел:

Когда б имел златые горы  
И реки, полные вина...

Пели также известную крепостную песню:

Ехал повар на чумичке,  
Две кастрюльки позади,  
Две собачки белы впереди.

Александр Александрович по обыкновению в русских ко-соворотках – белых, расшитых по борту, и красных, без шапки, в высоких сапогах, очень кудрявый, но с усталым, побледневшим лицом. Любовь Дмитриевна, сияя белизной и нежным румянцем, расхаживала то в сарафане, то в розовых или красных платьях с длинными шлейфами. И то, и другое очень шло к ее высокой, статной фигуре и удивительному цвету лица.

8 июля, в самую Казанскую, Любовь Дмитриевна съездила в Москву за Александрой Андреевной. Работы, кроме окраски дома, были закончены. Вскоре ушли и маляры, и казалось бы, шахматовская жизнь должна была пойти обычным чередом и даже лучше, чем в предыдущие годы, т. к. совместная жизнь с семьей тетки Блока Софьи Андреевны становилась очень тяжелой вследствие постоянных разногласий, доходивших даже до ссор, а теперь эта семья поселилась в сво-

ем имени, и мы виделись только тогда, когда бывали друг у друга в гостях. Но вышло иначе. Когда Александра Андреевна вернулась из санатории, стало ясно, что ее поправка очень поверхностна и ее нервная болезнь приняла хронический характер. Александр Александрович с нетерпением ждал приезда матери и, судя по тому, как принимали другие его работу и интересные его выдумки по обновлению шахматовского дома, ожидал, что и ей все должно понравиться и произвести на нее самое лучшее впечатление. Ему и в голову не приходило, что всякое нарушение привычных условий жизни и обихода нервных больных воспринимается ими очень болезненно. А между тем все в обновленном доме и в обиходе было непривычно для его матери. Ее больные нервы бесконечно страдали от этого, и она не могла радоваться тому, что радовало всех остальных. Вернувшись домой из надоевшей чужой санатории, к которой она только что привыкла, она не нашла того привычного, милого ей, с чем сжилась она с детства. Дух дома был несомненно другой, не тот, что был при наших родителях, и Александре Андреевне надо было известное время, чтобы привыкнуть к этому и сжиться с новой атмосферой. Кроме того, обострение ее болезни породило в ней несчастную способность видеть прежде всего недостатки и даже особенно замечать уродливые явления. Она сама говорила мне: «Если я смотрю на прекрасную розу, я прежде всего замечаю, что на одном из ее лепестков есть пятно». Так было во всем, что её окружало. Помню, как, вернувшись

из санатории, она вошла в дом усталая после долгого пути, ослабевшая и ошеломленная, осмотрелась с печальным видом и вместо того, чтобы сказать: «Как хорошо, красиво» — или что-нибудь в этом роде, опустила глаза вниз, на половицы нового пола, и сказала: «Отчего лес такой сучковатый?» Александр Александрович, конечно, был огорчен этой критикой. Он совершенно не понял состояния матери, что, конечно, естественно, но увидел, что ей что-то не нравится, что она недовольна его работой. И так продолжалось по крайней мере с неделю.

Александра Андреевна не воспринимала хороших сторон окружающего, но ее приводило в отчаяние, например, то, что новые рамы у окон туго закрывались и открывались, так что приходилось звать сына, чтобы с ними справиться. А он сердился и огорчался. Потом начались разногласия с Люб<овью> Дм<итриевной>. Ее понятия о хозяйстве были прямо противоположны понятиям Александры Андреевны. В некоторых случаях она была, вероятно, права, в других неправа, но малейшее замечание или возражение Александры Андреевны вызывало неудовольствие и протест. А бывали и такие вещи, которые просто неприятно поражали не только Александру Андреевну, но и меня. Так, например, Люб<овь> Дм<итриевна> захотела посадить вишневые деревья в той части сада, которая примыкала к дому. Для этого были вырваны с корнем все кусты белых роз на лужайке и *временно*, как она говорила, сложены в яму, где завалили их кор-

ни земель, а на опустевших лужайках были вырыты круглые ямы для посадки деревьев. Сколько я помню, розы погибли, а вишневые деревья так и не были посажены. Вид этих ям и вырванных розовых кустов, разумеется, произвел на Александру Андреевну самое удручающее впечатление, что выразилось главным образом на ее лице, т. к. она не всегда решалась высказывать свое мнение, заметив, что прежде, чем она успеет что-нибудь сказать по поводу новой затеи, Люб<овь> Дм<итриевна>, уже заранее ожидая с ее стороны неодобрения, приходила в волнение и, так сказать, внутренне становилась на дыбы. Эти конфликты совсем испортили их отношения, которые были очень хорошими во время пребывания Александры Андреевны в санатории. Люб<овь> Дм<итриевна> не раз ездила туда к ней и производила на больную самое лучшее впечатление. Теперь же все это изменилось. Вследствие всего этого Александр Александрович пришел в ужасное настроение и замкнулся в мрачном молчании. Он и без того был крайне утомлен и изнервлен той сложной ответственностью, которую он на себя взял, распорядившись ремонтом дома, а тяжелое состояние матери и отношения ее с Люб<овью> Дм<итриевой>, в которых он ничего не мог изменить, окончательно его расстроили. Он впал в тяжелую апатию. Александра Андреевна замкнулась в себе. Она большей частью сидела дома и занималась шитьем. Создалась невыносимая тяжелая атмосфера. Александра Андреевна видела, что ее болезненное состояние дурно влияет на сына, жесто-



ко страдала от враждебности Люб<ови> Дм<итриевны>, но ничего не могла с собой сделать. Кончилось это плохо. Не помню уже, в каком месяце этого лета, Александр Александрович написал прекрасное стихотворение «Посещение»<sup>65</sup>:

## Голос

То не ели, не тонкие ели  
На заказе подъемлют кресты,  
То в дали снеговой заалели  
Мои нежные, милый, персты.  
Унесенная белой метелью  
В глубину, в бездыханность мою, —  
Вот я вновь над твоею постелью  
Наклонилась, дышу, узнаю...

## Второй голос

Старый дом мой пронизан метелью,  
И остыл одинокий очаг.  
Я привык, чтоб над этой постелью  
Наклонялся лишь пристальный враг...<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> См. III-ий том стихов

<sup>66</sup> Стихотворение написано в сентябре 1910 г.

Прочтя эти стихи, которые, по обыкновению, принес показать ей сын, Александра Андреевна решила, что пристальный враг – это она, а потому ей лучше уйти из жизни, чтобы не мешать сыну. Не долго думая, она отравилась, т. е. приняла весь запас веронала, который привезла с собой из санатории на случай бессонницы. Когда веронал начал действовать, она позвала меня и все это мне объяснила. Я думала, что она умрет, но у нее только временно отнялись ноги и наступило состояние опьянения, напоминающее бред. Характерно, что в полусознательном состоянии она все время повторяла какую-то строчку Фета.

Разумеется, Александр Александрович объяснил матери, что пристальный враг – не она. Александра Андреевна успокоилась, но все-таки в Шахматове было невесело.

Осенью приезжал в Шахматово Евгений Павлович Иванов, который своим юмором и особым, глубоко благожелательным отношением и к Блокам, и к Александре Андреевне сумел не только разрядить тяжелую атмосферу, но и привести Александра Александровича в веселое настроение. После отъезда Евгения Павловича жизнь в Шахматове текла понемногу: не хорошо, но сносно. Блоки намеревались остаться в Шахматове всю зиму. Александр Александрович строил проекты о продаже дров с одного из участков шахматовского леса, хотел смотреть за всем этим сам, ради тепла заказал на окна очень дорогие задвигающиеся ставни с за-

совами, собирался еще рыть новый колодезь взамен старого, который был далеко от дома. Мы с Александрой Андреевной жили в этом году в деревне особенно долго: она боялась Ревеля, помня тяжелую предыдущую зиму. Мы уехали в первых числах октября, когда начались морозы. Александр Александрович писал матери очень часто. Мы оставили его в бодром и предприимчивом настроении, но вскоре после того, как мы уехали, он затосковал. Уже 22-го октября он написал матери: «Однако прожить здесь зиму нельзя, – мертвая тоска», а 31-го, бросив все планы о зимнем житье в деревне, уехал в Петербург, предварительно заехав в Москву, чтобы послушать лекцию Андрея Белого о Достоевском. Люб<овь> Дм<итриевна> уехала на второй день после мужа прямо в Петербург. Там очень скоро была найдена новая квартира на Большой Монетной, и произошло переселение. Таким образом, намерение Блока сделаться настоящим помещиком-хозяином разлетелось в прах. Он был совершенно не подготовлен к этому, да и вообще это было не в его духе.

Несмотря на трудные условия этого лета, оно прошло не бесследно для литературных дел и даже творчества Блока. Во время осеннего одиночества он начал составлять для печати сборник «Ночные часы», а кроме вышеупомянутого стихотворения «Посещение», еще в июне начал писать 3-ю главу «Возмездия» («Отец лежал в Долине роз»)<sup>67</sup>. То, что он начал поэму с середины и именно с этой темы, вполне по-

---

<sup>67</sup> Так в тексте. Должно быть: «Отец лежит в „Аллее роз“...» (III, 332).

нятно. Он был под свежим впечатлением смерти отца и всего того, что видел и испытал в Варшаве.

1910-й год был последний, который Блок провел в Шахматове целиком. После того он стал ездить туда на месяц, на шесть недель, а иногда и совсем не ездил. Он говорил, что там что-то такое завелось, т. е. что там что-то не ладно. Его удручало то, что он уже не чувствовал в Шахматове прежней беззаботности и безответственности: приказчик Николай, привыкнув видеть в нем хозяина, обращался к нему за распоряжениями и советами и донимал бесконечными разговорами, а он не хотел уже больше ни советовать, ни распоряжаться, а просто гулять, рубить деревья, иногда поставить забор или покосить – не ради хозяйства, а ради удовольствия, так как любил ручной труд и некуда было ему деть свою силу.

Весной 1911-го года Александр Александрович приезжал в Шахматово один (Люб<овь> Дм<итриевна> уехала на все лето за границу) и провел там шесть недель, присматривая за постройкой нового дома для семьи Николая. Он прожил в Шахматове до конца июня, после чего, устроив все дела в Петербурге, уехал в Бретань, где встретился с женой. В конце этого лета Франц Феликсович получил бригаду в Петербурге, и с осени Александра Андреевна с мужем с великой радостью оставила опостылевший Ревель и переехала в Петербург. Александр Александрович узнал об этом за границей и тоже очень обрадовался этому событию, тем более что

сначала Франц Феликсович получил назначение в Полтаву, так что мать и сын были бы очень далеко друг от друга.

В 1912-ом году Александр Александрович провел в Петербурге почти все лето. Он приезжал в Шахматове один, на короткое время, в городе писал «Розу и Крест» и ездил время от времени в Териоки, где играла Люб<овь> Дм<итриевна>, поступившая в труппу Мейерхольда. По окончании сезона в Териоках Блоки приехали в Шахматово и пробыли там около месяца. Уже было хорошее время. Но Блок ничего не писал в деревне. Он занимался только своей любимой работой – чисткой сада и прилегающей к нему дороги. На этот раз его никто уже не беспокоил по части забот о хозяйстве, так как за последние годы все окончательно убедились в том, что Александр Александрович не будет хозяйничать, и со всеми вопросами нужно обращаться к его матери, которая сама распоряжалась сельскими работами, тогда как я взяла на себя заботу о столе и часто работала в цветниках, в чем помогала мне и сестра. В таких случаях, когда Блок попадал в Шахматово в то время, когда надо было высаживать в цветники летники, выведенные в парниках, он очень охотно занимался этой работой, причем делал он гораздо скорее и лучше, чем учившийся в московском садоводстве Николай, у которого не было ни той ловкости рук, ни решительности движений, которыми отличался Блок, проявлявший талантливость во всем, что он делал.

В 1913-ом году Блоки провели весну в Петербурге, а 12-

го июня уехали за границу, снова на берег океана, на этот раз в Гетари, откуда ездили верхом и в Испанию. Вернувшись в Россию в прекрасном настроении, Блок приехал в начале августа в Шахматово, а в конце августа приехала и Люб<овь> Дм<итриевна>. Блоки прожили с нами до половины сентября; Александр Александрович много занимался рубкой кустов и деревьев, причем так расхотелся, что загубил совершенно зря красивую группу старой сирени, в чем, может быть, впоследствии и раскаялся. Отголоски последних шахматовских событий, в том числе и этой варварской рубки, можно проследить в интересных набросках «Ни сны, ни явь», которые появились уже после его смерти в «Записках мечтателей». Эти оригинальные отрывочные картины помечены датой 19-го марта 1921 года (1907, 1909 и новое). Большая часть их навеяна Шахматовым. Описание сенокоса за садом и внезапно раздавшейся песни есть буквальное воспроизведение действительности. Григорий Хрипунов пел известного «Бродягу», одну из популярнейших русских песен, проникнутых «тоской осторожной». Купец, чей луг косили, был владелец соседнего с Шахматовым имения – по фамилии Тябликов; характеристика и судьба его в общем верны. Федот – известный гудинский мужик, самый бедный из гудинцев. Но, разумеется, все события стилизованы и синтезированы ради общего впечатления. В этот синтез вошла и сирень. Она была точно такая, как описал ее Блок. Березовую рощу он действительно вырубил с помощью братьев Кублиц-

ких, только гораздо раньше, но она была не там, где срубленная сирень, а под садом, и точно: дом наш стал после этой рубки гораздо виднее с дороги и из оврага и стоял, «открытый всем ветрам и бурям». Даже урядник и велосипедист, которого Блок превратил в «политического» и «нелегального», ездили точно такими путями, как описано в этом отрывке; не забыты и осипшие собаки. Сцена с мужиками и богатыри – уже чистый вымысел, но картина навеяна теми же впечатлениями родимой деревенской глуши. А последний отрывок, проникнутый свойственным Блоку трагизмом и жутью, происходит в реальной обстановке известного места шахматовского сада.

«Ни сны, ни явь» нарушили течение моего рассказа. Возвращаюсь к 1913-ому году.

Пребывание Блока в Шахматове в этом году ознаменовалось какой-то стихийной жадной разрушения. Это выражалось в непрестанном желании еще что-то вырубить. Помнится, именно в это лето он вырубил в саду массу елей и проредил этим сад до такой степени, что он стал прозрачным и уже не составлял той сплошной массы деревьев, которая скрывала прежде от глаз прохожих то, что было в саду. Все эти вырубki Блок производил с известной целью – иногда разумной, иногда фантастической. И матери его, и мне они были не по душе: сад от них сильно проигрывал, но удержать Блока мы не могли.

Во время зимнего сезона 1913-14-го года произошла

встреча и знакомство Блока с артисткой Любовью Александровной Андреевой-Дельмас. В 1914-ом году он уехал в Шахматово только 8-го июня. (Любовь Дм<итриевна> играла в Труппе Зюнова, основавшейся к Куоккале). В деревне Александр Александрович занялся переводом новеллы Флора «St. Julien l'Hospitalier»<sup>68</sup>. Этот перевод остался в неотделанном виде и не был напечатан. Замечу кстати, что, кроме пьесы «Король на площади», Блок не написал в Шахматове ни одной большой вещи. «Возмездие» только начато было в Шахматове. Там писались только лирические стихи, правда, в довольно большом количестве.

Весть о войне застала Блока в Шахматове, где мы мирно жили втроем. Франц Феликсович, уехавший в Крым для лечения, вернулся в Петербург по случаю мобилизации и немедленно вызвал жену телеграммой. 19-го июля Александр Александрович с матерью уехали в город. Я осталась в деревне до конца лета. В конце августа Люб<овь> Дм<итриевна> уехала на фронт в качестве сестры милосердия, а 8-го октября уехал на войну Франц Феликсович. В 1915-ом году Александр Александрович провел в городе весь май и июнь, после чего приехал в Шахматово. Никакой литературной работой он не занимался, только гулял и работал на воздухе. Между прочим, нанял земельника, который под его руководством делал в саду насыпь для новых цветников. В конце лета приезжала на неделю Л. А. Дельмас. Александр Алексан-

---

<sup>68</sup> «Св. Юлиан-Гостеприимец» (*фр.*).



дрович совершал с ней длинные прогулки, а по вечерам она пела под аккомпанемент нашего старого фортепьяно. Весну и лето 1916-го года Александр Александрович провел в городе. Он очень интересовался шахматовскими делами и спрашивал в письмах к матери о результате садовых работ. 11-го мая он пишет: «Мама, я получил твое письмо и захотел в Шахматово; но, с другой стороны, я как будто начинаю писать. Боюсь сглазить». 4-го июня он пишет: «Мама, сейчас, наконец, окончена мною первая глава поэмы „Возмездие“. В течение одного неполного месяца Блок посредством многих исправлений и дополнений привел в окончательный вид эту главу, начатую весной 1911 года и продолженную в 1914-ом. 16-го июня он пишет, „Мама... не еду, потому что надеюсь (м. б. и тщетно) еще что-нибудь написать“».

Писать Блоку больше не пришлось. Начались хлопоты по случаю близкого призыва. Он уехал на Пинские болота в качестве табельщика одной из организаций Земгора. В Шахматово приехал только на один день незадолго до отъезда, который состоялся в конце июля. Этот единственный день был последний, который он провел в этом любимейшем уголке. Тогда он был, конечно, далек от этой мысли... В 1917-ом году мы с Александрой Андреевной последний раз приезжали в Шахматово. После этого туда уже нельзя было ездить, а вскоре дом был разграблен и сожжен соседними крестьянами – не со зла, а просто потому, что, взявшись беречь брошенную нами усадьбу, они понемногу разворовали все в до-

ме, а потом захотели скрыть следы воровства. После этого туда заглядывали только изредка жившие по соседству двоюродные братья Блока, Кублицкие. Сам он не хотел больше туда ездить. Если бы он захотел, он, быть может, и мог бы сохранить Шахматово, воспользовавшись своими связями и знакомствами, но он ничего для этого не сделал, считая, что не имеет на это никакого права. Потеря Шахматова была ему очень тяжела, конечно, не как потеря имущества, а как гибель этого милого его сердцу приюта, где протекли лучшие дни его жизни. Когда на вопрос Чуковского, жаль ль ему Шахматово, он ответил: «Туда ему и дорога», – это был, конечно, лишь способ отмахнуться от неприятного разговора и скрыть свои настоящие чувства. Когда мать заговаривала об этом вопросе, он говорил ей: «Зачем говорить о том, что больно?» Уж, конечно, не помещик, а просто человек и поэт говорили в нем в эти минуты.

Мне остается перечислить остальное из того, что написано Блоком под влиянием Шахматова. Это были те места в «Возмездии», которые касаются деревни. Уже в первой главе есть отрывок, картина, которую поэт мог наблюдать только в Шахматове:

Встань, выйди поутру на луг:  
На бледном небе ястреб кружит,  
Чертя за кругом плавный круг,  
Высматривая, где похуже  
Гнездо припрятано в кустах...

и т. д.

Этого ястреба уподобил поэт своему герою, которого он назвал сначала «незнакомец странный», затем сказал, что он «похож на Байрона» (слова, приписанные Достоевскому), а еще дальше назвал его «демоном». Во 2-ой главе, и в стихах, и в прозе, говорится о Шахматове и его окрестностях. Последнее, что написал Блок, уже совсем больной, на краю могилы, – были наброски в стихах для «Возмездия»:

Уж осень, хлеб обмолотили,  
И, к стенке прислонив цепи,  
Рязанцы к веялке сложили...

И в прозе: «Пропадая на целые дни – до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы...»

Стихи воспроизводят точнейшую картину из раннего детства Блока в Шахматове, проза – его прогулки верхом по окрестностям. И так – до последних дней, когда поэт мог работать и болезнь не сломила его окончательно, – он работал над поэмой, воспроизводя картины Шахматова, о котором он говорит, между прочим, в своей статье, посвященной памяти Леонида Андреева: «Я помню потрясение, которое я испытывал при чтении „Жизни Василия Фивейского“ в усадьбе, осенней дождливой ночью. Сейчас от этих родных мест, где я провел лучшие времена жизни, ничего не оста-

лось; может быть, только старые липы шумят...»

В Шахматове протекли «золотые годы» поэта, в более зрелые годы он ездил туда отдыхать от города, от интеллигентщины, приобщаться к природе и стихии и окунаться усталой душой в атмосферу тех же родимых мест, где он знал каждую травку, каждое дерево... Там было столько передумано и пережито в часы его одиноких прогулок еще с юных лет, когда он утопал в неясных мечтах и беспредметном созерцании. Отголоски дум более серьезных, созревших в этих местах, находим мы в Дневнике, где говорится об отношениях барина и мужика и с такой беспощадностью осуждается барин. Итак, Шахматово не только радовало, но и учило поэта.

*Ленинград, 1930 г.*